

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН*

4

ИЮЛЬ-АВГУСТ

"НАУКА"
МОСКВА – 2009

СОДЕРЖАНИЕ

А.А. Зализняк, В.Л. Янин (Москва). Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2008 г.	3
Е.В. Рахилина (Москва), Ли Су - Хён (Сеул). Семантика лексической множественности в русском языке	13
А.Б. Летучий (Москва). Типология лабильных глаголов	41
Т.Л. Попова-Боттино (Париж). Проблема размещения частицы <i>было</i> с точки зрения коммуникативного анализа	72
Л.Л. Касаткин (Москва). Особенности восприятия звуков речи, выступающих в разных фонетических позициях	87
И.Г. Добродомов (Москва). Историко-этимологические каламбуры и филологическая достоверность лексико-фразеологического материала.....	92
А.С. Самигуллина (Уфа). «Скрытая память» слова (на примере метафорических номинаций)	110
К.В. Бабеев (Москва). О происхождении личных местоимений в языках мира	119

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Ю.А. Ландер (Москва). <i>T. Stolz, S. Kettler, C. Stroh, A. Urdze. Split possession</i>	139
Л.С. Клейн (Санкт-Петербург). <i>Н.Л. Сухачев. Перспектива истории в индоевропеистике: К проблеме «индоевропейских древностей»</i>	143
К.Г. Красухин (Москва). <i>A. Erhart. Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft</i>	147
А.Е. Аникин (Новосибирск). <i>W. Smoczyński. Słownik etymologiczny języka litewskiego</i>	152
К.Г. Красухин (Москва). <i>Proceedings of the 18th annual UCLA Indo-European conference. Los Angeles, November 3–4, 2006</i>	157
Р.П. Усикова (Москва). <i>Л.Э. Калнынь, Т.В. Попова. Фонетика двух болгарских говоров, функционирующих в условиях разной языковой ситуации</i>	163
Л.Л. Шестакова (Москва). Словарь ключевых слов поэзии Георгия Иванова	166

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

Е.В. Вельмезова (Москва/Лозанна). Тридцатилетний юбилей Международной конференции по истории наук о языке (ICHOLS)	172
--	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин,
В.А. Виноградов (зам. главного редактора), Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков,
В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский,
Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский, А.М. Молдован,
Т.М. Николаева (главный редактор), В.А. Плунгян (отв. секретарь), Е.В. Рахилина

Зав. отделами: Н.В. Вострикова, М.М. Маковский, Г.В. Строкова
Зав. редакцией Н.В. Ганнус

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН,
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

© 2009 г. А. А. ЗАЛИЗНЯК, В. Л. ЯНИН

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ ИЗ НОВГОРОДСКИХ РАСКОПОК 2008 г.

Статья представляет собой предварительную публикацию берестяных грамот, найденных в Новгороде в археологическом сезоне 2008 г.

В 2007 году в Новгороде новых берестяных грамот не было, но в 2008 году новгородские раскопки принесли 12 новых грамот.

Археологические исследования в 2008 г. велись в Новгороде на 10 объектах, берестяные грамоты были найдены на трех из них: шурф на Михайловой улице — 1 (№ 962), Кремлевский раскоп — 7, Борисоглебский раскоп — 4. На Кремлевском раскопе (руководитель М. А. Родионова), расположенном к западу от Грановитой палаты, исследовались слои XIII–XV вв., в которых были обнаружены грамоты №№ 963–965, 968, 969, 971, 972. Борисоглебский раскоп (руководитель А. М. Степанов) расположен на Торговой стороне вблизи церкви Бориса и Глеба в Плотниках, здесь были вскрыты слои XIII–XV вв. и найдены грамоты №№ 966, 967, 970, 973.

Приводим новонайденные грамоты, за исключением совсем мелких обрывков.

Принципы записи текста и комментирования — такие же, как в предшествующих публикациях данной серии. Указанные при грамотах стратиграфические датировки носят предварительный характер.

Грамота № 962. Найдена не при раскопках, а в ходе археологического наблюдения за инженерными работами по реконструкции водопровода на северо-восточном углу современных улиц Никольской и Михайловой.

Это два фрагмента, образующие целый документ — большое письмо из восьми строк.

Хотя стратиграфической даты грамота не имеет, есть возможность уточнить ее датировку. Дело в том, что непосредственно под грамотой обнаружен клад серебряных монет новгородской чеканки («новгородок»), датируемых концом второй четверти XV в. (до 1447 г.).

Как заметил находчик грамоты С. В. Трояновский, упоминаемый в грамоте Софонтий может быть тем же лицом, которое фигурирует в берестяной грамоте № 466 первой половины XV в., найденной в непосредственной близости от перекрестка Никольской и Михайловой улиц.

{п}чоломъ быеть Олексеі {і} О заболотѣ . софонтею . тимоф[ѣ]ю . чю кесте приказали
 мнѣ . свою землю . нонѣ . ѡсподо подалъ кси пожни вашимъ здоровыѣмъ . положи . гра^{попъ молвить}
 моту по чому еси давалъ ^{олесеі} приказали ми старѣшии . и азъ давалъ . а нонѣ попъ повѣс^ѣ
 тутъ такъ д[а]валъ кси пожн[и в наим]ѣи і хто иметь тѣи пожни косить . и азъ
 тѣхъ поймаю да траву на воротъ взважю да ихъ веду в городъ нонѣ
 ѡсподо какъ О мнѣ са печалутеса : а азъ вамъ свои ѡсподе чоло^ѣ
 мъ быю . только ѡспо имете мене жаловать . Оѡтошлите ѡсподо {п} ко мнѣ
 грамотьку . до петрова дѣи . занежъ . ѡсподо сено косать ѡ петрове
 дни

Лишняя буква *n* в начале — вероятно, автор сперва хотел написать *поклонъ*; лишнее *n* также в {*n*} *ко мнѣ* (строка 7). В строке 3 в *и азъ давалъ* буква *а* была пропущена и втиснута потом. В строке 7 в *Оѡтошлите* буква *т* (перед *е*) переправлена из *о*. В предпоследней строке в слове *петрова* *е* в *не-* переправлено из *о*. В последней строке автор начал писать *днѣ*, но потом переделал последнюю букву в *и*.

Интересен способ передачи начального *о-*: для этого служат, как и во многих других грамотах, буквы *О* (широкое *о*) и *Ѡ* (очное *о*); но наряду с этим может использоваться и другой способ: пишется обычное узкое *о*, но со знаком тремы — двумя надстрочными точками (иногда тремой снабжается и широкое *о*).

Ять в части случаев записан как *е* (в том числе под ударением перед твердой согласной в слове *сено*). Специфических новгородских черт в грамоте нет; но стяжение гласных в презенсе (о котором см. ниже) — северновеликорусское.

Рассмотрим наиболее интересные точки текста.

Заболотьѣ (или мн. число *заболотьѣ*) — это либо просто место за болотами (ср. *заболотьѣ* и *заболотѣ* в [СРНГ, 9: 265]), либо название конкретной деревни.

Но написание {*i*} *О заболотьѣ* остается неоднозначным. Возможные версии: 1) *О заболотьѣ* (В. мн.) 'об участках за болотом' или 'о деревне Заболотьѣ'; 2) *О* вместо *Ѡ* (+ Р. ед.) — 'от деревни Заболотьѣ'. Что касается буквы *i* перед *О*, то это скорее всего ошибочное повторение предыдущего *i*.

Приказали свою землю — поручили управление ею. Олексей явно служит (в качестве управляющего) у двух феодалов — Софонтия и Тимофея.

Для фразы *нонѣ, осподо, подовалъ кси пожни вашимъ здоровьѣмъ* необходимо принять предположение А. А. Гиппиуса о том, что *кси* — это ошибка вместо *ксмъ*.

Подовалъ вместо *подавалъ* в принципе может быть результатом аканья (как уже отмечено, в грамоте нет новгородских признаков); но все же более вероятно, что это просто ошибочный повтор идущего раньше такого же *подо*: *осподо подовалъ*. Кроме того, форма *довать* могла возникать в окающих говорах под влиянием приставки *до-*; сходным образом в окающих северных говорах и рукописях появляются *начлегъ, начевать* — под влиянием приставки *на-*.

В отличие от современного языка, словоформа *под(а)валъ* относится здесь к совершенному виду — подобно современным *пораждал, поотдавал*; ср., например, что *кси, Осподине конѣ подавалъ ...* в грамоте № 446.

Вашимъ здоровьѣмъ — известная формула; ср., например, *земля ... сама ся окупить твоимъ здоровьѣмъ* в грамоте № 104. *Здоровье* — 'благополучие, сила, авторитет', то есть данная формула здесь практически означает 'с полномочиями от вас'.

Таким образом, управляющий говорит, что те земли, которые ему поручили, он раздал от имени своих господ.

Дальше в основном тексте (то есть без учета надстрочных приписок) идут два предложения, в которых неясно, кто «ты», а кто «я»: *положи грамоту по чому кси давалъ* 'предъяви грамоту, на основании которой ты давал'; *приказали ми старѣшии и азъ давалъ* 'приказали мне старшие (старосты), и я давал'. Непонятно, кто это говорит и как связать эти фразы с остальным текстом.

Надстрочные приписки разрешают эту проблему: над *положи* надписано *попъ молвить*, и тем самым понятно, что это поп требует от Олексея подтверждения его полномочий; над *приказали* надписано *олесеі*, то есть это Олексей ссылается на приказ старост.

В этом месте получил блестящее подтверждение осуществленный А. А. Гиппиусом анализ коммуникативной структуры берестяных грамот [Гиппиус 2004], в частности тот его тезис, что в этих грамотах без всякого предупреждения после речи автора может пойти речь другого лица. Ясно, что вначале автор грамоты (или писец, если автор писал не сам) поступил в точном соответствии с тезисом Гиппиуса — привел чужие слова без

всякого предупреждения о том, кто это говорит. И лишь позднее решил все же это для большей ясности уточнить.

Дальнейший текст Олексей (или писец) написал уже с указанием того, кто что говорит, прямо в тексте:

Повѣстуть 'говорит, повествует' — вряд ли просто пропуск буквы *к* в *повѣстукъ*; скорее это севернорусское стяжение с долгим гласным типа [рабѣта:т] 'работает', [тр'ѣбу:т] 'требуют'. Эта особенность представлена также ниже в слове *печалутеса* (вместо *печалуктеса*).

Воротъ в древнерусском и в современных говорах означает 'шея' (современное значение 'воротник' у этого слова вторичное); ср. перс. *gardan* 'шея' (из *varšana*).

Взвзяти — очень колоритный глагол, в котором приставка *вз-* передает движение снизу вверх (в данном случае от земли, где находится трава, к шее человека).

Да траву на воротъ взважю — явно как знак того, что они крали сено. Очевидно, украденное привязывали на шею пойманного вора. Яркое свидетельство о таком обычае, сохранившееся в литературном языке, — пословица *Брань на вороту не виснет*.

М. Н. Толстая нашла подтверждение этого в этнографической литературе — в работе М. Седовой «Быт томичей на крестьянском дворе» мы читаем: «Сурово наказывало общество и за воровство; вору вешали украденное на шею и водили по селу, чтобы всякий мог его ударить и плюнуть» [Седова 2003]. По свидетельству белградского профессора Л. Раденковича, в восточной Сербии обычай вешать на шею украденное сохранялся еще в XX в. (сообщено С. М. и М. Н. Толстыми). Широко распространено поверье, что вор после смерти будет носить все украденное на шее.

Какъ Ѡ мнѣ са печалутеса — судя по позиции первого *са*, слово *какъ* подверглось вторичной проклitze (см. [Зализняк 2008, § 0.2]), т. е. *какъ Ѡ мнѣ* — единая тактовая группа.

Са печалутеса — «двойное *са*», явление, характерное для позднерусского периода (см. [Зализняк 2008, § 4.13]). *О -луте* из *-лукте* см. выше.

Свои (в *свои Ѡсподо*) — ошибка (встречающаяся в грамотах и рукописях неоднократно) вместо *своеи*.

Словоформа *оспо* производит впечатление недописанной, особенно на фоне нескольких примеров полного написания *осподо*. Однако более вероятно другое объяснение, а именно, связь формы *оспо* с формой *оспе* 'господин!', регулярно употребляемой у Фенне в качестве обращения [Фенне, 196.5, 196.7, 197.1, 204.5].

Следует учитывать, что звательная форма *осподо* была энклитомом, т. е. в позднерусском имела ударение *осподо*. Это позволяет предложить следующую гипотезу о дальнейшей эволюции обращений 'господа!', 'господин!'. Как и многие другие частотные обращения, форма *осподо* могла усекается; ср. усечения и «сжатия» в случаях типа *-с* из *сударь*, [msjə] из *mon seigneur* и т. п. Утрата безударного конечного *-до* давала *оспо*. Внешнее совпадение конечного *о* этой формы с окончанием вокатива должно было породить отношение «полное *осподо* — краткое *оспо*», откуда обобщение «полное *оспод* — краткое *осп*». Тогда и при полных обращениях *осподи* и *осподине* можно ожидать аналогического *оспе*. Если эта гипотеза верна, то *оспо* в грамоте № 962 лежит у истоков того развития, которое через сто с лишним лет привело к *оспе* у Фенне.

Обѣтошлите — двойное выражение как *о*, так и *т*.

Из грамоты видно, что конфликт Олексей с попом — это спор о том, кто имеет право распоряжаться землей; власть попа явно выходит за рамки церковных дел. В конце письма Олексей просит господ, если они его «пожалуют», то есть решат спорный вопрос в его пользу, прислать об этом «грамотку» до Петрова дня — даты, когда по общерусской традиции начинали сенокос.

Последняя фраза (*занежь, ѡсподо, сено косать ѡ Петрове дни*) на первый взгляд звучит несколько странно — как если бы кто-то в тогдашней Руси мог не знать, когда

начинается сенокос. Наиболее правдоподобное решение (предложенное М. А. Даниэлем) здесь таково: автор хотел сказать «пришлите грамотку (подтверждающую мои права) до Петрова дня, потому что в Петров день поп осуществит свою угрозу», и это совершенно нормальная структура дискурса; но вместо «поп осуществит свою угрозу» он сказал просто «будут косить», справедливо считая, что эта эквивалентность адресатам ясна.

Итоговый перевод:

‘Челом бьет Олексей об участках за болотом (или: от Заболотья) Софонтию и Тимофею. Что [касается того, что] вы поручили мне свою землю, то я теперь пораздавал пожни от вашего имени. Поп говорит: «Предъяви грамоту, на основании которой ты давал». Олексей [говорит]: «Приказали мне старшие (старосты), и я давал». А теперь поп говорит так: «Ты давал пожни в наймы, а кто будет те пожни косить, тех я схвачу, да траву на шею привяжу и поведу в город (то есть в Новгород)». Как, господа, теперь обо мне позаботитесь? А я вам, своим господам, челом бью. Если, господа, меня пожалуете, то отошлите, господа, ко мне грамотку до Петрова дня, потому что, господа, сено косят на Петров день’.

№ 963. Кремлевский раскоп. Три фрагмента, образующие почти целый документ (недостает лишь начала последней строки).

Грамота датируется исключительно точно, поскольку она адресована архиепископу Симеону, который пребывал в этом сане с 1416 по 1421 г.

Осподину архи.єпискупу новъгоцкому влѣкѣ семену сѣ
ѣ . бѣи оуездъ . сиротѣ твои ошевѣски погостѣ ржевици . тебѣ
ломѣ . бѣютъ вси ѿ мала и до велика . оспода.рю . послали . єсμε осп
одине дѣака . олекѣсдра за[нежѣ] (о)[ѣцѣ] - - и дѣдѣ єго пѣлѣ . оу
сѣѣ . бѣи . в ошевѣ . и цѣо бѣи єси осподине . к сѣѣ бѣи . того дѣака
поставилъ
попомѣ . а с нимѣ . єсμε послали труфана ѿ погоста . занежѣ
цѣркѣвѣ . стоитъ бес пѣтъа . а другое осподине сѣѣ влѣко
престолѣ . в[о цѣр](кѣѣ) [ѿ] - - - - (-) какѣ осподине . о томѣ оукаже
(шѣ) - - - - - [ѣи *] п[рестолѣ гсѣине]

Два раза писавший пропустил слог: *новъгоцкому* вместо *новъгороцкому* и *ломѣ* вместо *челомѣ* (в последнем случае при переходе со строки на строку).

Перевод:

‘Господину архиепископу новгородскому владыке Семену крестьяне твои, Святой Богородицы уезд, Ошевский погост, ржевичи, тебе, господарю, челом бьют все от мала и до велика. Мы послали, господин, дьяка Олексадра, потому что отец [его (?)] и дед его пел у Святой Богородицы в Ошеве. И ты бы, господин, к Святой Богородице того дьяка поставил попом. А с ним мы послали от погоста Труфана, потому что церковь стоит без пения (= без службы). А другое [дело], господин святой владыка: престол в церкви от... Как, господин, о том укажешь? Освяти же престол, господин’.

Престолѣ во цѣр(кѣѣ) ѿ... — что случилось с престолом, из-за обрыва неясно, но нет сомнений, что он как-то был поврежден. Возможно, ржевичи его уже починили и просят владыку освятить новый.

Ошевский погост (ныне Ашево Псковской области) расположен в Пусторжевской волости Новгородской земли (отсюда наименование его жителей «ржевичами»), которая вместе с Великими Луками платила значительную дань Литве в обмен на защиту Литвой северо-западных рубежей Новгородского государства. Несмотря на предпринятую Витовтом реформу, объединившую в 1415 г. подвластных Литве православных епископов Полоцка, Чернигова, Луцка, Владимира Волынского, Холма, Турова и узурпировавших

право избрания киевского митрополита (избран ими был Григорий Цамблак) [НПЛ: 406], ржевичи сохраняли верность Новгороду и хиротонисанному в Москве архиепископу Симеону, как это явствует из грамоты № 963. Переход в прямое подданство Литве осуществился, однако, в 1435 г., когда новгородский архиепископ Евфимий II был рукоположен в Смоленске, что вызвало поход новгородцев на ржевичей: «Ржеву воеваше своих данников, а они не почаша дани давати новгородцем» [Пск. лет. 2: 132].

Грамота в основном составлена на наддиалектном древнерусском языке (так, в И. ед. используется окончание -ъ, слово 'все' имеет вид *вси*). Но небольшое число элементов древненовгородского диалекта в ней все же имеется: И. мн. *сиротѣ* (а не *сироты*), 1 мн. *ѣсме*, цоканье в *ржевици*; отметим еще Д. ед. *вѣдкѣ*, с *к*, а не *ц*. Характерны для новгородских грамот также имена *Олекъсандрѣ* (ср. к *Олоскадру* в грамоте № 528) и *Труфанѣ* (ср. *Труфане* в грамотах № 136 и 471). Слово *сиротѣ* 'крестьяне' характерно для берестяных грамот XIV века и один раз встретилось в грамоте конца XIV – 1-й четверти XV в. (№ 933). В XV в. этот термин вытесняется словом *крестьяне*.

Показательно слово *осподарь*: в XV веке слог -*спо-* здесь еще устойчиво сохраняется, инновационный вариант *государь* (*осударь*) появляется лишь в XVI в. Даже в 1607 г. у Фенне мы еще находим только формы с -*spo-*: *aspodar* (регулярно) и один раз *gospodar*.

Точность датировки этой грамоты дала редкую возможность испытать эффективность наших таблиц внестратиграфического датирования. Для грамоты № 963 таблицы дали следующий ответ: предпочтительно 1380–1420. Это значит, что таблицы выдержали испытание вполне удовлетворительно. И можно предполагать, что писавший был пожилым человеком, раз объективные характеристики его письма тяготеют ко времени несколько более раннему, чем момент написания грамоты.

№ 964. Кремлевский раскоп. Начало письма (3 строки).

Предварительная стратиграфическая оценка: конец XIV века.

Огнѹ . ѿлизарѹ . много челомѣ бѹ
послалѣ . ѿмѣ . Огне . к тобѣ . с ларишнѣ
(цѣмѣ) [:р̃]. клещевѣ . пошли . ѿсподине

В начале грамоты стоит весьма редкая формула: от первого лица «челом бью», но без указания автора; предполагается, что адресат сам поймет, от кого письмо.

Записи *Огнѹ*, *Огне* — сокращения для *осподину*, *осподине*, с идеограммой *гн* и начальным фонетическим дополнителем *О*, т. е. первой фонемой зашифрованного полного чтения; см. этом [НГБ-IX: 233–241]. В грамоте представлен тот относительно редкий вариант записи, в котором идеограмма *гн* стоит без титла. Уникальная особенность данной грамоты состоит в том, что здесь впервые в одном и том же тексте, причем просто в соседних строках, использована как сокращенная запись с идеограммой и фонетическим дополнителем, так и полная запись *ѿсподине*. Тем самым грамота оказывается идеальным свидетельством того, что записи типа *огнѣ*, *огне*, *огнѹ* читались именно как *осподинѣ*, -*е*, -*у* (а не *огосподинѣ* и т. д., как полагали прежде публикаторы и лексикографы). Если бы эта грамота была найдена двадцать лет назад, не понадобились бы те немалые умственные усилия, которые позволили прийти к тому же выводу на основании не столь прямых показаний.

Особо отметим, что в полной записи *ѿсподине* использована буква *ѿ*, которая является для данной грамоты обычной записью для [о] в начале слога (ср. *ларишнѣ*), а в записи с идеограммой использован другой знак для [о] — буква *О*.

Написание *послалѣ ѿмѣ* вместо *послалѣ ѿсмѣ* может, конечно, быть простым пропуском *с* по описке. Но не исключена и другая возможность — что перед нами близкий аналог польских форм прошедшего времени типа *posłałem* 'я послал' (где тоже утратилось

прежнее *s*). Совершенно аналогичный пример есть в Лаврентьевской летописи в «Поучении» Мономаха [Лавр., л. 83]: *что было надобѣ весь нарядъ и в дому своемъ, то ѿ тво-ришь емь*. Издатель решительно исправляет это *смь* на *есмь*, поясняя: «По явной описке вставляется -с-». Но после находки грамоты № 964 оснований для такой уверенности стало гораздо меньше. Следует ожидать дальнейших находок, чтобы выяснить, являются ли действительно оба эти примера описками или за ними стоит свойственное каким-то говорам диалектное развитие, сходное с польским.

Для поврежденного места на стыке 2-й и 3-й строк единственное решение, не предполагающее никаких ошибок и случайностей, — это *с Лариѡнь|цѣмь*. Уменьшительные имена с суффиксом *-ецъ* (типа *Ларионецъ*) для Новгорода весьма характерны.

Клещевъ — это 'лещей'. Древненовгородское слово *клещь* 'лещ' известно из берестяной грамоты № 169 (кон. XIV – нач. XV в.), где сказано: *Онтане послале Овдокиму два клеща да щука*. См. об этом слове [НГБ-VIII: 119–122] и [ДНД₂: 656].

Сколько же лещей послал наш автор? Сохранившийся в тексте уголок не может быть верхушкой от *ѣ* (= '4'), поскольку окончание *клещевъ* могло быть только в случае, если бы они были грамматически одушевленными, а в XIV веке до этого было еще далеко. Вначале было высказано предположение, что это *л̃* (= '30'); однако в грамоте *л* (как, впрочем, и *д*) пишется с плоским верхом. По мере изучения текста количество лещей увеличивалось (подрастало). Возникло предположение, что верхний уголок принадлежит букве *ѣ* (= '70'). Но в конце концов было установлено, что это верх от *ѣ̃* (= '100'). Так что Елизару было отправлено целых сто лещей.

Итоговый перевод:

'Господину Елизару челом бью. Я послал к тебе, господин, с Ларионцем 100 лещей. Пошли, господин, ...'

№ 965. Кремлевский раскоп. Конечная строка документа.

Предварительная стратиграфическая оценка: первая половина XIV века.

си полъжилъ . на ѣзи

Буквы *си* — явно конец от *еси*; *(е)си полъжилъ* — 'ты положил'.

ѣзь — рыболовный закол поперек реки, яз.

Какое из многих значений глагола *положити* здесь имелось в виду, из-за отсутствия контекста неясно. Возможно, речь шла о некоей сумме денег или количестве рыбы, которое адресат «положил» на данном заколе, то есть установил как плату за право пользования этим заколом.

№ 966. Борисоглебский раскоп. Семь строк — конечная часть документа, утратившего правый край.

Палеографически XIII век.

...[N]адо нико́му ж[ь] ...

(-) есмѣ :д: на милосвави :ѣ: гривини ѿ ма[р]иака во стро[к]... (по)ѣ

ложило есмѣ :а:диноу гривону . ѿ наш-ка нии пол(ожи)ѣ

ло есмѣ :ѣ: гривону

ѿ

ѿ

а :а: :и: аа

а аааа

авгдєззи

ко ель...

елико вер...

К сожалению, ни одна строка документа не сохранилась целиком.

Редкая особенность: после окончания собственно текста грамоты автор еще использовал свободное нижнее поле для пробы пера, записи разных цифр (в том числе ряда цифр от 1 до 8) и маленькой приписки (к сожалению, из-за обрыва нечитаемой).

Основной документ представлял собой некий реестр сумм, «положенных» на таком-то или от такого-то. Так, автор «положил» на Милославе 3 гривны, от Марьяка 1 гривну, от Наш-ка 6 гривен. К сожалению, точный смысл финансовой операции, называемой *положити*, как и в предыдущей грамоте, остается не вполне ясным.

Интересно написание *·а·диноу* 'одну'. Предположение о том, что *а* вместо *о* написано здесь в силу аканья, неправдоподобно, поскольку в Новгороде не акали, а счесть эту грамоту за иногороднюю нет оснований (в частности, в ней представлено характерное новгородское *и* вместо *ятя*). Решение состоит в том, что здесь *·а·* — это цифра '1', а *диноу* — это фонетический дополнительный (ср. выше, разбор грамоты № 964), только более длинный, чем обычно. Такие длинные дополнители изредка встречаются. Например, в Ферапонтовской кормчей 1540-х гг. (на л. 820 об. и далее) писец несколько раз записывает словоформу *вторóму* так: *ѡрóму*. Ср. также запись *огѣдиноу* = *осподину* в берестяной грамоте № 339 (2-я пол. XIV в.): здесь в начале стоит фонетический дополнительный *о-* (о котором см. выше), далее идеограмма *гѣ*, а за ней большой конечный фонетический дополнительный *-диноу* (ровно такой же, кстати, как в *·а·диноу*).

Отметим характерные написания *гривоноу* (ср. *грѣвону* в № 366), *гривоно* (ср. *гривоно* в № 349), *гривини* (ср. *гривѣни* в № 919); в последнем случае *-ви-* вместо *-въ-* — результат уподобления предшествующему и последующему слогу.

Отрезок ...[н]адо никомоу ж[ь] весьма похож на часть известной формулы *а боле не надобѣ никомоу же* 'а более ни у кого притязаний не должно быть'. Однако для превращения *надобѣ* в *надо* это, по-видимому, еще слишком раннее время, поэтому такая трактовка данного отрезка остается лишь гипотетической.

Писавший эту грамоту был менее аккуратен, чем большинство писцов, и допустил ряд описок; из-за этого в нескольких точках чтение остается ненадежным.

Милосвави вместо *Милослави* — предвосхищение *в* следующего слога.

Неизвестное доныне имя *Мариакъ* (*Марьякъ*) — очевидно, производное от того же корня, что известное из берестяных грамот имя *Марена* (представленного, в частности, в словах *марá* 'призрак, наваждение', *мáрит* 'душно', *мáрево*).

Во Стро[к]... — начало названия какого-то населенного пункта.

Имя *Наш-къ* надежно восстановить не удастся. Если допустить здесь *ш* вместо *щ*, то можно предположить имя *Нащекъ* (ср. вариант *Нащека* [Тупиков: 323] и фамилию *Нащекинъ*).

Странное *ниш* — возможно, описка вместо *ни* 'ныне' (ср. *ни* в № 788).

№ 967. Борисоглебский раскоп. Недописанное письмо из одной строки, сохранившееся в целости.

Предварительная стратиграфическая оценка: XIII век.

Ѡ тиуна ѡ те

Написание *ѡ те* — очевидно, вместо *Ѡ те*. Писавшему что-то не понравилось в этой точке, и он просто бросил начатое письмо — вероятно, взял другую бересту.

Тиун — в XI–XIII вв. княжеский или боярский слуга, участвовавший в управлении. В XIV–XVII вв. чиновник, занимающийся первичным разбором судебных дел и т. п., род управляющего или даже наместника. В материалах раскопок этот термин ранее встретился только в надписи на царе XII в. [ДНД₂: 342] и, возможно, также в берестяном фрагменте № 452.

На *Те* могло начинаться как христианское имя *Терентии*, так и дохристианские имена типа *Тѣшата*, *Тѣшила*, *Тертила*.

№ 968. Кремлевский раскоп. Левая часть одной из средних строк письма.

Предварительная стратиграфическая оценка: первая половина (возможно, начало) XIV века.

Отрезок -доу едва ли может быть концом от *правдоу*: слово *правда* в ту эпоху означало прежде всего правосудие, а не правду в современном смысле. Из разных вариантов реконструкции наиболее вероятным представляется (*оби*)доу — по прямой аналогии с грамотой № 725, где читается: *съка(ж)ита владычѣ мою обиду*.

Но самой интересной в этом маленьком фрагменте является словоформа *говори*. Она несомненно выступает здесь в том же значении, что и в современном языке, т. е. 'dicere'. В том же значении глагол *говорити* встретился и в нескольких других берестяных грамотах (№ 530, 131, 749, 373), но все они относятся к более позднему времени: самая ранняя из них (№ 530) датируется 1370-ми – 1380-ми гг.

Между тем древнейшие примеры глагола *говорити* обнаруживают другое значение: 'гомонить, галдеть, шуметь, роптать' — всегда о многих, о толпе. И то же со словом *говоръ*: оно означало 'шум, гомон, ропот' (издаваемый сразу многими, необязательно людьми).

Из «Повести временных лет»: *и в гора^х тѣ^х кличъ великъ и говоръ* (в рассказе о племенах Зауралья, заключенных в горе, — [Лавр., л. 85а]). Из Суздальской летописи: *и бы^с говоръ великъ акыи до нѣси ѿ множества людии ѿ радост(и) великия* [Лавр. под 1206 г., л. 142 об.]. Из Новгородской летописи: *и начаша людие говорити на воеводу Косняча...* [НПЛ (младший извод) под 1068 г., л. 89] — в значении 'роптать, шуметь'.

Сказанному по видимости противоречит, правда, например, такая запись в Уваровской летописи (рукопись XV в.) за 1149 год: *Нѣкоторые же мужи его, злии челоѡци, начаша емоу (князю Изяславу) вадити на Ростислава Юрьевича, глаголюще: «Подговорилъ люди на тя, берендичи и кыяны; а хотѣлъ сѣсти въ Киевѣ»* [Увар., л. 54 об.]. *Подговорилъ* здесь выступает в современном значении: человек (а не толпа) говорил и подговорил кого-то против определенного лица. Но все разъясняется, как только мы прочтем этот же пассаж в Лаврентьевской летописи где сказано: *«Ростиславъ Гюргевичъ подмолвилъ на тя люди...»*. Ясно, что Лаврентьевская летопись сохранила старое чтение, тогда как в Уваровской летописи переписчик XV века вместо старого *подмолвити* поставил уже свойственное его времени *подговорити*.

В словаре Срезневского содержится множество примеров со словами *говорити* и *говоръ* (без приставок и с приставками) в современном значении. Но ни один из них не старше конца XIV века.

Древнее значение глагола *говорить* отчасти сохранилось в северных говорах. В [СРНГ, 6: 256] находим: *говорѣть*, знач. 3. О птицах — петь, щебетать, каркать и т. п. «Если прилетные птицы весной не говорят, то будет еще холод, засиверка». Пинеж. (Арханг.). Также в онежских былинах в записях Гильфердинга: «Прилетали тут русские птицы, учили тут пети-говорити, как млад соловей щекотати».

Эволюция значения у слова *говорить* — от 'шуметь, гомонить' (о толпе) к 'dicere' — совершенно типовая. Глагол со значением 'dicere' может происходить из разных семантических источников, но этот — один из наиболее популярных. В славянской зоне можно указать не менее семи таких случаев. Старейший из них — *мълвити*. В старославянском *мльва* — 'ропот толпы, мятеж'. Затем (и довольно рано) наступает такое развитие значения, при котором в древнерусском языке это уже нормальный глагол для 'dicere'. Остальные примеры диалектные, но их много. В русских говорах глаголы *гомонѣть*, *галдѣть*, *гамѣть*, *шумѣть/шумнѣть* по данным СРНГ имеют среди прочего нейтральное значение: просто 'говорить что-то кому-нибудь'. Особенно яркий новейший пример — из речевой практики интернет-сообщества: *базарить* — от *базар*, для которого характерен именно хаотичный шум толпы. Но в словаре сленга мы уже видим слово *базарить* просто в значении 'говорить', без дополнительных уточнений.

Итак, крошечный обрывок бересты оказался ценным подарком для историков языка — это самый ранний в истории русского языка документ, где *говорити* означает 'говорить'.

У этой проблематики есть еще один небезынтересный аспект. И слово *говорити*, и слово *говоръ* встречается в «Слове о полку Игореве». Совершенно невероятно, чтобы литератор XVIII века знал о хронологической границе между старым и новым значением слова *говорити*, которая пролегла примерно между XIII и XIV веком. Так что если это он сочинял «Слово», то он легко мог «попасться» на этом самом обычном слове современного русского языка. Однако же автор «Слова» не «попался» — он безупречным образом использовал оба эти слова в древнем значении, а не в новом. В «Слове» *говоряхуть* не люди, а галки (*галици*) и *говоръ* был не людской, а галочий (*галичь*). В обоих случаях изображается звук голосов нерасчлененной массы (в данном случае птиц) — в точном соответствии с древним значением. (Заметим, что в переводах практически везде дается: «Галки свою речь говорили»; но это неточный, бессознательно модернизирующий перевод: точный смысл — «Галки своей речью гомонили».)

Это еще один из многих случаев, когда сверх уже известных признаков некоторый частный признак текста «Слова», не привлекавший ранее к себе внимания, оказывается проявлением древности.

№ 970. Борисоглебский раскоп. Запись в двух строках, составляющая, по-видимому, конец грамоты.

Предварительная стратиграфическая оценка: XIII век.

ПОДО ТВОЮ МИЛО
С

Завершающие письмо слова «Под твою милость», очевидно, означают, что некое дело должно быть решено по усмотрению адресата. Скорее всего, грамота содержала какую-то просьбу.

Слово *милость* недописано (либо перед нами сокращение несколько необычного типа).

№ 973. Борисоглебский раскоп. Одна строка (9 букв), составляющая, по-видимому, целый документ.

Предварительная стратиграфическая оценка: XIII век.

ГЕОНЕГОНЕ

Эту производящую загадочное впечатление запись, очевидно, следует читать [геон'огон'] и понимать как сочетание [геон' огон'] 'гееннский огонь', записанное так, как если бы это было единое слово.

В самом деле, слоги типа [н'о] в эту эпоху уже несомненно существовали и передавались на письме за неимением особой буквы для [о] просто с помощью буквы *е* (но изредка также через *о*, с потерей информации о мягкости). Так, в берестяных грамотах пишется: *Петръ*, *Смень*, *Федоръ* (изредка *Потръ*, *Смонъ*, *Фодоръ*), *Лентии*, *Демидъ*, равно как *меду* (многократно), *ко Цертоу 4*, *свекре 580*, *сотесывае* Твер. 5.

Геона — обычное древнерусское название геенны (с таким же переходом *е* в *о* в начале слога, как *Ольга*, *Олена* и т. п.). Часто встречается устойчивое сочетание *геоньскъ огнь* (или с обратным порядком слов). Притяжательное прилагательное *геонь* прямо не засвидетельствовано, но в пользу его реальности говорит то, что существует притяжательное прилагательное *адовъ* от близкого по значению слова *адъ* (и ад, и геенна в старых текстах часто персонифицируются).

Какова могла быть функция грамоты *геонегоне*? Об этом можно только строить предположения. Но это явно не простой текст, а запись магического характера, род малого «заговора», заклятия. Скорее всего это заклятие во вред некоему врагу. Нестандартный способ написания (в данном случае «сращенная» запись двух слов) мог быть в таких случаях одним из приемов, увеличивающим магическую силу написанного.

Заклятие такого рода встретилось среди берестяных грамот впервые.

Помимо грамот, в текущем сезоне был найден также (на Троицком раскопе, в слоях XI века, вероятно, первой половины) фрагмент двусторонней средней части деревянной церы (триптиха), с небольшими остатками воска. Но текста на нем не сохранилось.*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гиппиус 2004 — *А. А. Гиппиус*. К прагматике и коммуникативной организации берестяных грамот // НГБ-XI: 183–232.
- ДНД₂ — *А. А. Зализняк*. Древненовгородский диалект. Изд. 2-е. М., 2004.
- Зализняк 2008 — *А. А. Зализняк*. Древнерусские энклитики. М., 2008.
- Лавр. — Полное собрание русских летописей. Том первый. Лаврентьевская летопись. Вып. 1–3. Л., 1926–1928.
- НГБ-VIII — *В. Л. Янин, А. А. Зализняк*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951–1983 гг.). М., 1986.
- НГБ-IX — *В. Л. Янин, А. А. Зализняк*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.
- НГБ-XI — *В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1997–2000 гг.). М., 2004.
- НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.
- Пск. лет. 2 — Псковские летописи. Вып. 2. М., 1955.
- РГБ — Российская государственная библиотека в Москве (бывш. ГБЛ).
- Седова 2003 — *М. Седова*. Быт томичей на крестьянском дворе (программа курса). Томск, 2003.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–. М.; Л., 1965–.
- Тупиков — *Н. М. Тупиков*. Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб., 1903.
- Увар. (Уваровская летопись) — Московский летописный свод конца XV века. Полное собрание русских летописей. Т. XXV. М., 1949.
- Фенне — *Tönnies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian (Pskov, 1607)*. V. II. Copenhagen, 1970. (Ссылки даются на страницы оригинала.)
- Ферапонтовская кормчая — рукопись РГБ (сер. XVI в.), фонд 98, № 248.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 09-04-00177а) и Программы ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» (проект «Некнижная письменность средневековой Руси в общеславянском контексте: берестяные грамоты и эпиграфика»). Экспедиционные работы в Новгороде поддержаны проектом РГНФ № 08-01-18093е.

© 2009 г. Е.В. РАХИЛИНА, ЛИ СУ-ХЁН

СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧЕСКОЙ МНОЖЕСТВЕННОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

Статья содержит корпусное исследование русских генитивных конструкций со словами *куча*, *гора*, *ворох* и под. и подробное описание ограничений на их употребление. Показано, что эти конструкции образуют своего рода категорию «лексической множественности», которая существует наряду с грамматической и представляет собственную систему нетривиальных семантических противопоставлений в количественной зоне, различая множество объектов по качественным признакам, как например, разнородность составляющих объектов, их упорядоченность, оценочность и др.

1. ВВЕДЕНИЕ: ПОНЯТИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО КВАНТИФИКАТОРА

Квантификация – обширная область, которая выражается, в частности, значениями грамматической категории числа. Система русского числа, с его единственным грамматическим противопоставлением Sg–Pl производит впечатление очень простой, бедной и бесхитростной на фоне языков, в которых есть еще и двойственное, тройственное или паукальное значение этой категории. Но это впечатление меняется, как только мы принимаем в расчет квантификативную лексику, о которой и пойдет речь в настоящей статье.

Непосредственным объектом нашего исследования¹ были предметные имена, которые в исходном своем значении называют конкретные предметы, но в составе именной генитивной конструкции, сочетаясь с другим предметным именем, – обычно обозначающим множество объектов – претерпевают сдвиг значения, частично грамматикализуясь, и становятся количественными квантификаторами со значением неопределенно-большого количества, что-то вроде ‘очень много’, окрашенное субъективной оценкой.

Ярким примером количественного квантификатора может служить слово *гора* или слово *море*. В своем исходном значении оба они называют природные объекты; семантическая структура их в этом качестве, согласно традиционным представлениям, не содержит никаких аргументов, т.е. они не являются предикатами и сами заполняют аргументные места предикатов – бытийных, локативных и др., ср. *в море плескались волны*, *на горе стоял дом* и под. Однако генитивная конструкция, в которой эти имена могут выступать в качестве вершинных (ср.: *гора книг*, *море людей*), провоцирует

* Статья написана при частичной поддержке проекта ОИФН РАН “Конструкции и динамика текста” и (для Ли Су-Хён) фонда Korean Government (MOEHRD, Basic Research Promotion Fund, грант KRF-2007-327-A00872). На разных этапах исследования материал был представлен на ряде конференций и семинаров; мы благодарны всем участникам этих обсуждений, и прежде всего А.А. Гиппиусу, С. Дёнингхаус, В.А. Плунгяну, А.Д. Шмелеву. Особая благодарность – Ю.Д. Апресяну за детальные замечания к тексту настоящей статьи.

¹ Результаты получены на материале Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru) и наиболее полно отражены в [Ли Су-Хён 2005]; начальный этап исследования представлен в работе [Ли Су-Хён, Рахилина 2005], а частные его аспекты – в тезисах ICLC 2005 и FASL 13.

сдвиг их значения². В данном случае сдвиг состоит в том, что имя переходит в класс предикативных, или реляционных имен, имеющих собственный аргумент, который заполняется множеством. Тем самым, оно уже не обозначает предмета, а оценивает (причем завышенно) количество объектов в таком множестве.

Некоторые из интересующих нас имен – такие как *букет* – изначально имеют двойственную природу, обозначая конкретный предмет внешнего мира, представляющий собой множество объектов определенного рода (ср. *букет цветов*), поэтому они способны выступать в генитивной конструкции уже и в исходном значении. В таком случае маркером их перехода в класс квантификаторов является значительное расширение сочетаемости, ср. *букет цветов* – *букет проблем*, которое, как в случае с исходно нереляционными именами, сопровождается приобретением ими чисто количественной семантики с оценочным компонентом. Все это означает, что рассматриваемые нами имена втягиваются в процесс *г р а м м а т и к а л и з а ц и и*³: для каждого из них в этот момент начинается его постепенный выход из статуса обычной лексической единицы, и теоретически этот процесс может закончиться даже переходом в грамматический показатель.

Соответствующая группа лексики в русском языке составляет довольно обширную (хотя и малоизученную) область – по нашим оценкам, таких слов по крайней мере около трех десятков⁴, ср. следующий список, который будет служить материалом для этой статьи: *арсенал, батарея, бездна, букет, вагон, воз, ворох, гора, град, гряда, дождь, куча, лавина, лес, море, океан, охапка, поток, пропасть, прорва, река, россыпь, туча, фейерверк, фонтан, шквал*. К нему можно было бы добавить разве что числовые корреляты⁵ и несколько малоупотребительных лексем – таких как, например, *кладезь, галерея, караван, батарея* – в любом случае, общий перечень не превысит сорока единиц.

Замечание. О квантификаторах малого количества.

Насколько нам известно, русистами исследовались пока только квантификаторы большого количества – см. прежде всего [Мишулова 1968; Левонтина 2004; Перетятко 1972; Тихонова 1971; Doenninghaus 2001] – видимо, именно потому, что их в русском языке действительно много⁶: любой носитель языка без труда вспомнит с ходу несколько способов выражения преувели-

² Возможность семантического сдвига под действием контекстных условий давно описана в литературе; в формальной семантике она, в частности, известна под названием *coercion* (см. [Partee 1986; 2007], а также, например [Michaelis 2005]).

³ Подробнее см. след. раздел.

⁴ Есть и другая точка зрения. Так например, по данным [Ляшкевич 1985], таких слов в русском языке более 100, однако при таком подходе в список входят и имена множеств типа *армия, группа, полчище, рой, табун, толпа*, которые мы рассматриваем отдельно, считая, что им свойствен несколько другой механизм семантического сдвига, так как исходная семантика этих имен уже содержит идею множества и связанную с ним идею большого количества. Список в [Тихонова 1971] еще обширнее: 140 слов, но он включает все существительные, возможные в генитивной конструкции со значением 'много', в том числе и *множество, масса, тьма, уйма* и др., и даже наречия *много, немало* и др. Для наших задач такое расширение списка было бы неоправданно.

⁵ В ряде случаев интересующий нас семантический сдвиг свойствен не только форме единственного числа, но и форме множественного, ср.: *гора/горы проблем* – *туча/тучи брызг*, причем интересно, что числовые формы не всегда симметрично ведут себя при сдвиге значения: чаще всего квантификатором становится все-таки форма единственного числа (*лес/*леса рук*), хотя возможно и предпочтение множественного числа (*реки/*река слез*), ср. также раздел 5; подробнее см. [Ли Су-Хён 2005].

⁶ По мнению специалистов-фразеологов, 'большое количество' оказывается самым представительным таксоном в русском языке, см. [Баранов, Добровольский 2007].

ченного числа предметов. Список же слов, обозначающих малое или преуменьшенное количество, в русском очень короткий: *капля, капелька, крошка, кучка, горстка*⁷.

Самым частотным из них является слово *капля* и его диминутив *капелька*. На их примере видно, что синтаксическое поведение квантификаторов малого количества в русском языке может существенно отличаться от поведения квантификаторов большого количества: последние никогда не выступают под отрицанием (ср. пары типа: *видел горы мусора* – **не видел ни горы мусора*), тогда как для первых, наоборот, отрицательные контексты часто наиболее естественны, а «положительные» – могут быть и несвойственны вовсе, ср. (1–2), а также явно устаревшее (3):

- (1) *Он снова перевел взгляд на открытки – и увидел совсем иные изображения: на каждом из этих лиц вдруг прочел он несбывшуюся мечту, изначальную чистоту, ни капли грязи не приставало к ним, а лишь усталость, утомление надежды* (А. Битов. Преподаватель симметрии);
- (2) *Класс новых собственников создавался искусственно: путем дележа народной собственности, в создание которой они не внесли ни капельки своего труда* (В. Сафрончук. Россия вызывает огонь на себя // Советская Россия. 2003);
- (3) *Свиданье! Разбей этот кубок: в нем капля надежды таится* (А.А. Фет).

Эта асимметричность обусловлена функциональным различием: квантификатор большого количества, как мы увидим ниже, по большей части сопряжен с некоторым качественным (часто зрительным) образом множества, которое он обозначает, тогда как квантификатор малого количества часто используется для того, чтобы подчеркнуть полное отсутствие объекта – даже самой малой его части – как в (1–2), либо почти полное – за исключением той самой малой части – в этом случае используются конструкции, которые можно было бы назвать «квазиотрицательными» – с частицами *только, лишь* или *хоть / хотя бы*:

- (4) *Слушайте, – спросил я, – а вы случайно не буйный? – Что вы имеете в виду? – Я имею в виду, что, если у вас хоть капля разума сохранилась, не вздумайте на меня нападать* (В. Войнович. Москва 2042);
- (5) *Спектакли, как им и положено, уходят в небытие, оставляя после себя лишь горстку фотографий, противоречивые рецензии и сомнительные легенды* (В. Катанян. Лоскутное одеяло).

Выясняется, что *капля* и *капелька* фактически не встречаются вне отрицательных и квазиотрицательных контекстов, в их составе они оценивают количество вещества (1) или (метафорически) объем свойства или состояния (4); *горстка* и *кучка* предпочитают отрицательным квазиотрицательные контексты (5) и возможны в утвердительных предложениях, но в них сочетаются в основном с именами лиц, ср. *горстка / кучка / *капля людей, пассажиров, ловких дельцов* и др.

Если опираться на функциональную идею, о которой мы говорили выше, такое распределение вполне ожидаемо: вещества (и – метафорически – свойства и состояния) легко представить себе в отрицательных контекстах описанного рода, потому что квантификатор вводит в соответствующую ситуацию минимальный его квант (отсутствующий в ней – если отрицание пол-

⁷ В тот же ряд могут быть поставлены слова *единицы* и *крохи*. Правда, они употребляются безобъектно (*остались крохи*) и только в форме множественного числа; особенностью квантификатора *единицы* является его узкая сочетаемость: им «считаются» только люди, ср.: *пришли единицы*. В качестве коррелятов большого количества *единицы* имеет лексемы *десятки, сотни, тысячи* – но эти слова имеют исходным значением не предмет, а 'множество', и здесь не рассматриваются (см. сноску 3).

Помимо этого, в [Ляшкевич 1985: 108] указывается еще ряд слов со значением «неопределенно малого, незначительного количества»: *волночка, горка, грамм, искорка, искра, клочок, комочек, краешек, крупинка, крупца, кусочек, снопок, стайка, струйка, табунок, тень, уголок, цепочка, частица, обрывочки*. Однако круг сочетаемости у этих лексем слишком узок, многие из них используются лишь в окказиональном авторском употреблении, например, *волночка* или *снопок*, некоторые, как *стайка, табунок* происходят от названия групп (см. сноску 4), и в целом эти лексемы практически не применимы ни для счета людей, ни для счета абстрактных сущностей – за единичными исключениями, как *искра/крупца правды*, так что пока, по нашему мнению, они не могут считаться полноценными квантификаторами.

ное, как: *ни капли*, и присутствующий, если почти полное, как: *хоть каплю*). С дискретными предметами и живыми существами минимальный квант задан заранее и не нуждается в определении: это единичный объект – скажем, один человек, или одна фотография, как в (5), – не меньше и не больше. Поэтому те квантификаторы малого количества, которые «специализируются», например, на именах лиц, неестественны в отрицательных контекстах – разве что в квазиотрицательных с *хоть*, *лишь* и под., ср. (5).

Исследуемый нами лексический материал дает множество квазисинонимов, обозначающих большое количество. Действительно, если признать, что в квантификативном значении все эти десятки имен типа *море*, *лес*, *реки*, *вагон* и проч. обслуживают одну и ту же количественную зону и, вероятнее всего, имеют между собой какие-то, пусть не сразу видные, семантические различия, то 'большое количество' оказывается областью исключительного богатства противопоставлений. Пожалуй, ни одна из семантически «богатых» грамматических категорий, как, например, вид или наклонение, не смогла бы, если принять во внимание предлагаемый языковой материал, сравниться с количеством.

С другой стороны, говоря о таком сравнении, мы невольно ставим эти категории в неравные условия, ведь в собственно грамматической зоне количественных значений в языках мира засвидетельствовано совсем не много, и наша, назовем ее условно «**лексическая множественность**» их набор не расширяет: квантификаторы не могут выразить ни пятиричное, ни какое-то другое *n*-ричное число. Лексическая множественность дополняет количественную ситуацию *качественными* параметрами – и в этом смысле принципиально отличается от грамматической (и, наоборот, по-видимому, сходится с зонами вида, наклонения и остальных семантически наполненных категорий, которые также могут иметь дополнительные противопоставления, выражаемые квазиграмматическими средствами).

В настоящей работе мы хотели бы описать основные качественные параметры ситуаций множественности, свойственные русскому языку, и для некоторых из них оценить типологическую релевантность, обобщив дескриптивные результаты, полученные в [Ли Су-Хён 2005]. Для этого прежде всего нужно установить границы употреблений русских количественных квантификаторов и различия между квазисинонимами, а также степень грамматикализованности каждой конструкции. Мы начнем с проблем грамматикализации (раздел 2), потом обсудим семантику количественных значений (разделы 3 и 4) и исходя из этого установим значения лексической множественности в русском языке (раздел 5), а в Заключение (раздел 6) попробуем выйти за рамки русского языка с тем, чтобы обсудить его свойства в более широкой перспективе.

2. ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКСЕМ

Термин «грамматикализация» был впервые введен А. Мейе. Сущность грамматикализации – в узком смысле – состоит в том, что некоторое лексическое языковое выражение приобретает грамматическую функцию (из многочисленных работ на тему грамматикализации укажем [Heine, Kuteva 2002; Hopper, Traugott 2003], а также [Lee 2000] и обзоры в [Плунгян 2000; Майсак 2005]).

В ходе грамматикализации, т.е. появления новой грамматической функции, происходят два главных процесса: *сдвиг значения* и *декатегоризация* – это верно и для рассматриваемой нами именной генитивной конструкции: сначала в ней происходит декатегоризация (превращение из предметного имени в квантификатор) с частичной потерей (или «выветриванием») исходного лексического значения и одновременно *рекатегоризация* с появлением нового значения из универсального грамматического набора (подробнее см. [Плунгян 2000]), которым определяются новые ограничения, в том числе сочетаемость внутри конструкции.

Исследования показывают, что русские квантификаторы неравномерно распределены по степени грамматикализованности, так что оба крайних полюса этой шкалы

оказываются заняты. В самом деле, среди количественных квантификаторов имеются слова, тесно связанные исходным лексическим значением – примером здесь может служить имя *копна*. В квантификативных контекстах *копна* сохраняет идею конусообразной формы и особой структуры объекта, количество которого количественно оценивается. Но как квантификатор, *копна* применяется только к волосам, «похожим» на сено / солому (с которыми имя *копна* связано в исходном своем значении); *копна волос* ≈ ‘очень много (с точки зрения говорящего, может быть, больше, чем на самом деле) волос на голове человека, которые при этом имеют форму, сходную с формой стога сена / соломы’. Поскольку семантическая связь квантификатора и определяемого имени в данном случае фиксирована, т.е. произошла жесткая лексикализация этой конструкции, квантификатор *копна* м и н и м а л ь н о грамматикализован.

Понятно, что м а к с и м а л ь н а я степень грамматикализации квантификатора, напротив, предполагает практическое отсутствие лексических ограничений на его сочетаемость в генитивной конструкции. Именно так, по-видимому, в русском языке устроено слово *куча* – оно сочетается и с одушевленными именами, и с именами предметов, веществ, и с абстрактной лексикой (подробнее см. [Левонтина 2004; Ли Су-Хён 2005]), ср. также следующие примеры:

- (6) *Но почему вы не рассказали об этом в прошлый раз? Почему не назвали именно эти фамилии? Вы назвали кучу людей, – он вытащил из дела Саши узенький листок, Саша его раньше не видел* (А. Рыбаков. Дети Арбата);
- (7) <...> *взрослые серьезные люди только что ни с того ни с сего взяли и съели целую кучу мухоморов* (В. Пелевин. Музыка со столба);
- (8) *Мне один малый говорил, что там можно заработать кучу денег* (В. Аксенов. Звездный билет);
- (9) <...> *наговорив ей кучу глупостей о ее красоте и иных достоинствах* <...> (А. Кабаков. Последний герой).

Плохо сочетается данный квантификатор разве что с жидкостями, ср. ?? *куча воды, крови* и с состояниями, метафоризирующимися как жидкости (возможно: *море удовольствия*, но не: *куча удовольствия*). Согласно гипотезе [Ли Су-Хён 2005], это может объясняться семантическим конфликтом между гомогенностью жидкости и тем специальным акцентом на беспорядочности множества, который делает этот квантификатор. О роли компонента ‘беспорядочность’ в семантике лексем этой группы написано и в [Левонтина 2004]; по нашему мнению, косвенным подтверждением релевантности этого признака для данного квантификатора служит стилистическая маркированность *куча* по сравнению с нейтральными *много/множество/большое число/большое количество X*, которые свободно употребляются в официальной речи, ср.: *Большое число (*куча) участников войны удостоено правительственных наград*.

Схематически противопоставление по степени грамматикализованности можно представить в виде следующей шкалы:

Степень грамматикализованности:



Как видим, приведенная шкала отражает процесс грамматикализации, так сказать, «в слабом смысле» – т.е. не буквально, как превращение существительного с предметным значением в служебную морфему, а как его переход в другой функциональный класс – служебной или полуслужебной лексики. Имя *куча* успешно двигалось по этой шкале и почти достигло этого нового состояния, а имя *копна* «застряло» в самом ее

начале. Остальные квантификаторы – такие как *груда*, *гора*, *туча* и под. располагаются где-то в промежутке: все они имеют какие-то ограничения на сочетаемость, причем ключевым здесь оказывается возможность употребляться с именами лиц. Дело в том, что в основном эти квантификаторы, будучи сами исходно предметными именами, «считают» неодушевленные предметы – именно так устроены *груда*, *гора* и *туча*, ср. *груда мусора* / **людей*, *гора бумаг* / **милиционеров*, *туча стрел* / **солдат* (ср., однако, возможное *туча птиц*), ср. также примеры из НКРЯ:

(10) <...> светились несколько ламп в этой огромной люстре, и отсвечивала **гора** разноцветных **бутылок**, а в дальнем углу желтела пирамида лимонов и колбасы <...> (В. Аксенов. Апельсины из Марокко);

(11) Ветер гнал в море **тучи искр**, и они гасли в свинцовых водах (Р. Штильмарк. Наследник из Калькутты).

Однако наиболее грамматикализованные, а именно: *куча*, *бездна*, *лавина*, *море*, *океан*, *поток*, *река* допускают и сочетаемость с именами лиц (ср. *куча детей*, *бездна народу* и др.).

Замечание.

Квантификаторы, специально ориентированные на одушевленные объекты – *армия*, *полк*, *табун*, *стая* и под. (ср. здесь сноску 5), следует, по нашему мнению, выделять в особый класс: они образуются из названий групп, т.е. множеств, а не единичных физических объектов и в языковом отношении тоже ведут себя иначе. Показательным в этом отношении является имя *полчище* (*полчище врагов*, *полчища бюрократов*), которое крайне неохотно допускает сочетаемость с неодушевленными предметами, ср. **полчище бумаг* / *ручек* / *стрел*, ср. однако, *полчища вражеских танков* как множество квазидушевленных объектов.

Другим, более слабым «барьером» на пути грамматикализации, служат абстрактные имена – его «берут» практически все квантификаторы нашего списка за исключением *батарея*, *галерея*, *охранка* и, конечно, *копна*. Когнитивно этот барьер действительно легче, потому что здесь действуют регулярные метафоры – например, вопросы, проблемы, события отождествляются с множествами предметов – отсюда *гора проблем*, *груда дел* и др., эмоции – с жидкостями (*море радости*) и т.д. Однако «освоение» этой территории тоже происходит постепенно и неравномерно: есть и такие квантификаторы, которые пока принимают в качестве объекта всего одно-два слова с абстрактным значением – ср. *прорва времени*, *вагон проблем*.

Таким образом, мы можем установить следующие этапы грамматикализации как процесса семантического перехода от предметного имени к квантификатору:

- 1) образование окказиональной метафоры;
- 2) закрепление ее в определенном узком лексическом контексте в составе конструкции – в нашем случае – генитивной (= лексикализация);
- 3) постепенное – через отождествление предметных множеств с абстрактными – включение в сочетаемость абстрактной лексики;
- 4) дальнейшее расширение употребления конструкции, с охватом имен лиц – вплоть до снятия всех сочетаемостных ограничений;
- 5) одновременно – стирание, или выветривание исходного значения (англ. термин «bleaching»);
- 6) итог, или полная грамматикализация, т. е. превращение имени в полноценный квантификатор.

Этот итог, как было показано, пока не достигнут ни одной из лексем нашего списка: каждая находится на своем этапе и по-своему ограничена в сочетаемости. Понятно, что такие ограничения практически всегда связаны с «памятью» квантификатора об исходной лексеме, претерпевшей семантический сдвиг. Но проблема связи исходного и производного значений имеет два разных аспекта.

Первый. Условно его можно назвать «диахроническим»: он ставит для исследователя во главу угла исходное значение слова и предлагает установить, какова должна быть семантика имени-источника, чтобы интересующий нас семантический сдвиг стал возможен и возник количественный квантификатор?

Второй. Условно говоря, «синхронный»: исследователь обращает внимание только на то, что остается в семантике лексемы после того, как сдвиг произошел и часть исходного значения «стерлась»; его интересует полученная в результате система квантификаторов.

Первый вопрос более традиционный, по крайней мере в отношении нашего материала, начнем с него.

3. СЕМАНТИКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ: 'БОЛЬШЕ' ИЗ 'ВЫШЕ'?

Задача определения исходного значения для метафоры большого количества была в явном виде поставлена в [Lakoff, Johnson 1980] и отчасти решена: в знаменитой книге утверждалось, что для обозначения большого количества используется лексика, профилирующая вертикальное измерение (ср. *высокая температура, высокие показатели*), по формуле:

'ВЫШЕ' $\Rightarrow$ 'БОЛЬШЕ'.

Формула имеет следующий зрительный образ в качестве когнитивной интерпретации: если вещи класть друг на друга, то чем больше будет вертикальное измерение полученной совокупности, тем больше вещей она содержит. Считается, что это бесспорная и универсальная формула, действующая во всех языках. Действительно, наш список квантификаторов большого количества представляет для нее хороший материал из русского языка – это и *гора*, и *груда*, и *куча*, на различиях между которыми мы не будем пока подробно останавливаться, так как их семантика достаточно детально описана в [Левонтина 2004]⁸, а также знакомое нам *копна*, и в каком-то смысле, *фейерверк* и *фонтан*.

В то же время, на примере таких слов, как *россыпь*, *море*, *океан*, *лес* видно, что в русском языке действует и другое правило; в параллель с каноническим, его можно было бы сформулировать как

'ШИРЕ' $\Rightarrow$ 'БОЛЬШЕ'

и предложить для него соответствующий зрительный образ, вполне в духе Лакова-Джонсона: когда мы раскладываем вещи на обширной горизонтальной поверхности, то чем больше поверхности оказывается занято, тем большее количество вещей на ней находится.

Замечание.

В связи с обсуждением последней группы слов (*море*, *океан* и в особенности *лес*), мы хотели бы указать еще на один любопытный квантификатор, который, по свидетельству этимологов, видимо, должен описываться в этой группе. Речь идет о слове *уйма*. В современном русском языке оно утратило свою связь с предметным образом и возможно только как квантификатор большого количества, причем в самом широком множестве контекстов, от предметных, включая имена лиц, до абстрактных, ср.:

(12) *Но, кроме муниципальных чиновников, есть еще уйма государевых людей – губернаторы, полномочные представители, депутаты, премьер-министры, да и сам президент* (Р. Сагдиев. Игра в цивилизацию. Про учеников государственных // Известия, 2001.06.18);

(13) *И денег у них уйма* (А. Лившиц. Откуда берется инфляция // Известия, 2002.07.18);

(14) *На это уйдет уйма времени* (Л. Никитинский. Прощай, полицейский... // Московские новости, 2002.07.04);

⁸ Обсуждение этой группы см. также в разделе 5 настоящей статьи.

(15) *Думе приходится тратить уйму усилий для того, чтобы <...>* (А. Капков. Из крестьян в люмпены // Время МН, 2004.02.05).

Именно ввиду того, что исходное значение этого слова утеряно, мы не исследуем в настоящей работе его возможности как квантификатора. Между тем, и словарь Даля, и словарь Фасмера настаивают, что *уйма* – не заимствование, а производное от глагола *уймать / уять* (ср. *поймать*) со значением ‘убавлять, отбавлять, уменьшать, отделять часть’. По мнению авторов этих словарей, изначально *уйма* имело значение ‘огромное пространство, простор’; словарь Даля отмечает, что «иногда луга зовут *уймой*», а также диалектное (костромское) *уйма, уймище* как ‘дремучий огромный лес’ (*вертит, как леший в уйме; в уйме (= в лесу) не без зверя, в людях не без лиха*). Таким образом, рассмотренный выше подкласс, связанный с метафорой на базе обширного (бесконечного) пространства, по-видимому, следовало бы еще расширить – если учитывать не только синхронный, но и диахронический материал русского языка.

Новое правило порождения значений большого количества ‘ШИРЕ’ ⇒ ‘БОЛЬШЕ’ представлено нами так, что оно не противоречит классическому ‘ВЫШЕ’ ⇒ ‘БОЛЬШЕ’, а только дополняет его. Однако наш материал показывает, что в русском практически так же широко эксплуатируется и «обратная» предложенной Дж. Лаковым и М. Джонсоном формула, а именно:

‘НИЖЕ’ ⇒ ‘БОЛЬШЕ’,

ср. такие имена-квантификаторы, как *бездна, пропасть* или *прорва*.

Это интересный парадокс, требующий объяснения: трудность в том, что здесь не просто новая метафора (как ‘ШИРЕ’ ⇒ ‘БОЛЬШЕ’), а именно метафора, полностью противоречащая основной: согласно концепции Лакова-Джонсона, уменьшение вертикального размера должно коррелировать с **уменьшением**, а не с **увеличением** количества, т.е. по всем правилам, должно быть наоборот:

‘НИЖЕ’ ⇒ ‘МЕНЬШЕ’,

ср. здесь такие русские примеры, как: *низкая температура, низкие показатели*, а также: *заниженные* (‘уменьшенные’) *цифры, принизить значение*, т.е. ‘преуменьшить’ и т.п.

Тем не менее, наш материал показывает, что **наряду** с этим правилом каким-то образом существует совершенно противоположное. При этом русский язык отличается от английского, на материале которого формулировалось классическое правило Лакова-Джонсона, обилием парадоксальных примеров: во-первых, таких квантификаторов по крайней мере три, а во-вторых, один из них, а именно, *бездна*, достаточно продуктивен и, как мы уже говорили, продвинул по шкале грамматикализации. В частности, он возможен с именами лиц:

(16) *Что у нас в России целая бездна людей тем и занимаются, что всего яростнее и с особенным надоеданием, как мухи летом, нападают на чужую непрактичность, обвиняя в ней всех и каждого, кроме только себя* (Ф.М. Достоевский. Бесы).

И вообще, у этого имени стерт исходный пространственный признак ‘трехмерность’: как квантификатор оно совершенно свободно (и статистически преимущественно) сочетается с названиями абстрактных сущностей и даже «не любит» предметы⁹.

По сравнению с *бездна*, имя *пропасть* в качестве квантификатора выглядит устаревшим и малопродуктивным, при этом употребляется, напротив, практически только с конкретными именами, ср., с одной стороны: *бездна* (**пропасть*), *соблазна, глупости, мыслей*, а с другой – *пропасть* (??*бездна*) *вещей, книг, лошадей, долгов* и др., при

⁹ Обратим внимание, что в примере (16) люди рассматриваются в абстрактном смысле, т.е. не как конкретное, а как воображаемое, по сути дела не существующее в реальности множество. Если же речь идет о людях в реальной, предметной ситуации, то данная конструкция недопустима: **Смотри! На улице бездна людей* – при том что более абстрактное имя совокупности (*народ*) в таком контексте вполне приемлемо (*бездна народу*).

возможном *бездна* людей, народу (*пропасть* тоже возможно в такого рода контекстах с одушевленными именами, но выглядит в них устаревшим). Ср. также следующие примеры из НКРЯ:

- (17) *Мы еще не понимали, какие открылись бездны (*пропасть) бесчеловечности, злодейства, цинизма и лицемерия* (А. Бовин. XX век как жизнь. Воспоминания);
(18) *Кто-то им сказал, что в озере Юлемисте бездна (пропасть) рыбы* (В. Аксенов. Звездный билет).

Третье имя, *прорва*, устарело настолько, что в современном языке потеряло исходное значение и используется только как квантификатор со значением 'большое количество без пользы утраченных или исчезнувших предметов' – об этой его специфике, связанной с отрицательной оценкой¹⁰, свидетельствует и семантика сочетающихся с ним предикатов, ср.: *потратить / проиграть в карты / вложить <в безнадежное предприятие> прорву денег*, но не: *??накопить / ??заработать / ??собрать прорву денег*, ср.:

- (19) *А с главным, который сидит на Маяковской в «Моспроекте», я должен согласовывать все чертежи оформления, и это занимает прорву времени и нервов, так как он упрям* (Б. Левин. Иностранное тело. Автобиографическая проза).

Ср. также возможность замены других квантификаторов на *прорва* в контексте, так сказать, расформирования множества – траты денег (20) или раздачи ненужных советов (21), но не ситуации его формирования, создания – и в особенности в контексте прилагательного *целый* (22):

- (20) *Такая куча (/ прорва) денег выходит, а удовольствия никакого нет* (А.Я. Панаева. Воспоминания);
(21) *Море (/ прорва) ненужных советов – вот что такое наша власть* (Юз Алешковский. Рука);
(22) *Я вижу, денег у тебя целая куча (*прорва), – говорит Виктор* (В. Аксенов. Звездный билет).

В английском исходное, «вертикальное», правило пользуется очевидным преимуществом – в стандартном случае русское *бездна неприятностей* переводится на английский как 'куча' – *heap of troubles*. Между тем и в английском встречаются такие сочетания, как: *abyss of hopelessness* 'бездна отчаяния', *mine of information* 'рудник / шахта (полная) информации'. Ср. здесь похожие примеры из французского со словом *abîme* 'пропасть': *abîme de misère* 'крайняя степень нищеты', *abîme de science* 'кладезь премудрости', *abîme des temps* 'незапамятные, далекие времена'. Любопытно и то, что за пределами квантификативной предметной лексики – в области глаголов, источники метафоры увеличения также обнаруживаются не только в зоне роста вверх, но и распространения вширь и движения вниз: про цены действительно говорят (как и положено по формуле 'ВЫШЕ' ⇒ 'БОЛЬШЕ'), что они *выросли*, но про представления или знания – что они *расширились* и даже *углубились*.

Как же объяснить все эти «парадоксальные» примеры?

Наша гипотеза состоит в том, что обычное движение вниз в антропоцентричном пространстве, в отличие от движения вверх, – предельно. Оно ограничено – обычно

¹⁰ В свою очередь, отрицательная оценка, как известно, мотивирована, семантикой движения вниз (ср. *низкие истины*); в смягченной форме она проявляется и у количественных сочетаний с *пропасть*, но утрачена значительно более грамматикализированным *бездна*.

поверхностью земли, расстояние до которой невелико, тогда как пространство вверх по сравнению с ним бесконечно. В ситуации ограниченного расстояния, движение вниз действительно связано с **уменьшением** количества. Что же касается «парадоксальных» на первый взгляд примеров, то они представляют тот редкий случай, когда пространство **вниз** так же бесконечно, как вверх и вширь. В этом отношении показательно, что не-бесконечные емкости, даже и природные – как *яма* или *канава* – не переходят в класс квантификаторов, ср. **яма / *канава проблем*. При таком взгляде на материал, источником количественной метафоры выступает не вертикальное измерение как таковое, а свойство бесконечности, так что и в виде формулы общее правило должно выглядеть принципиально иначе, а именно: **‘БЕСКОНЕЧНО’ ⇒ ‘МНОГО’**. Такая формула охватывает все метафоры – и «вертикальные», как *горы книг*, и «горизонтальные», как *море цветов*, и, наконец, «направленные-вниз», как *бездна пороков*.

Еще более существенным для общей теории метафоры, однако, является следующее. Принимая такую точку зрения, мы отступаем от хрестоматийного принципа, гласящего, что метафоризация всегда происходит, так сказать, «от конкретного к абстрактному», т. е. что ее источником всегда должен быть **материальный физический мир**, воспринимаемый человеком в повседневном опыте с помощью органов чувств, – ср. [Lakoff, Johnson 1980; Lakoff 1987; Langacker 1987; Fauconnier 1997] и в целом подход, который называется ‘эволюционной классификацией’, – своеобразной разновидностью которой является «экспериенциальный реализм» (experiential realism) или «экспериенциализм» (experientialism), сужающий источники метафор до человеческого тела и его движений ([Lakoff 1987; Lakoff, Johnson 1999] – ‘embodiment’). Авторы этого подхода считают, что только физические свойства или физические предметы (а в особенности части человеческого тела) порождают зрительные образы, на базе которых построены все так называемые образные схемы (image schemes); абстрактные же сущности не могут служить метафорическим источником.

Понятно, что эту точку зрения невозможно доказать, не описав метафорические системы всех языков мира, но ее легко поставить под сомнение, обнаружив даже в одном языке противоречащие ей примеры. Можно считать, что это произошло: ‘бесконечность’, хоть и является в каком-то отношении физическим свойством и в некотором смысле имеет зрительные корреляты, все же одновременно достаточно абстрактна: например, ее невозможно буквально изобразить на картинке, даже очень схематической. Таким образом, вполне возможно, что человеческий язык и языковое сознание устроены не так примитивно, чтобы заимствовать образы лишь из одного материального мира: в качестве исходных им, видимо, доступны и сложные абстракции (такая точка зрения поддерживается французской лингвистической школой – см. работы (П. Кадьо, Д. Пайара, Ж.-Ж. Франкеля, К. Ванделуаза и др. – ср., например [Cadiot 1994; Franckel, Paillard 1997; Vandeloise 1994]).

4. ДРУГИЕ РЕГУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МЕТАФОРИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Наш материал обнаруживает еще два крупных источника метафоры большого количества. Первый, как и предыдущие, относится к статическим метафорам, т.е. таким, в которых идея большого количества возникает из постоянных свойств объектов внешнего мира, как правило, имеющих какие-то корреляты с их статичным зрительным образом; его мы рассмотрим в подразделе 4.1; второй источник связан с характером функционирования мобильных объектов, он порождает динамическую метафору, которая существенно отличается от более обычных статических (раздел 4.2).

4.1. Еще одна статическая метафора: источник – вместительность

Источником этой метафоры является конкретный класс неподвижных физических объектов, а именно, емкости большого размера. В целом данная метафора довольно

близка к «каноническому» представлению о большом количестве, особенно в тех случаях, когда она поддерживает идею вертикального измерения. Это верно для слов *воз* (ср.: *воз проблем*) и *охапка* (ср.: *охапка новостей*): и тяжело нагруженный воз, и большая охапка напоминают кучу, только, так сказать, снабженную «транспортным средством». По той же модели, что и *воз* организовано и технически более прогрессивное *вагон* (ср.: *вагон неприятностей*): если это верно, то можно предположить, что изначально в качестве источника метафоры под вагоном подразумевалась открытая (как и воз) грузовая платформа. С другой стороны, в той же группе следует рассматривать «закрытое» вместилище *арсенал* (*арсенал средств*)¹¹, еще менее каноническое *букет* (*букет болезней*) и – в ряде контекстов – *море* (*море слез*).

Гипотеза о том, что и арсенал, и букет являются кальками с французского (ср. франц. *bouquet de / arsenal de*) кажется правдоподобной, однако для нашего исследования факт заимствования ничего не меняет: во-первых, данные квантификаторы давно и хорошо освоены в русском языке и живут собственной жизнью. Во-вторых, если они действительно калькированы, значит, это доказывает, что в тот момент во французском они уже существовали как квантификаторы с не вполне стандартным источником метафоризации – и сам по себе этот факт вызывает интерес: ведь нам важны источники выражения большого количества как таковые, без различия языков.

Поэтому, помимо канонического перехода 'ВЫШЕ' ⇒ 'БОЛЬШЕ', в качестве когнитивного основания данной метафоры можно рассматривать и переход 'ВМЕСТИЛИЩЕ ⇒ МЕРА'. Ср. русскую конструкцию с генитивом меры типа *стакан воды*, *два воза песка* и др., в которой происходит сдвиг значения контейнера: он становится своеобразным квантификатором со значением примерного стандартного количества (подробнее о семантике и употреблении этой конструкции см. специальные исследования [Borschev, Partee 2004; Rakhilina 2003; Рахилина 2004]). Таким образом, в нашем случае речь может идти о концептуализации по модели:

'БОЛЬШОЕ ВМЕСТИЛИЩЕ' как 'БОЛЬШАЯ <ВЕРТИКАЛЬНАЯ> МЕРА', т.е. 'БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО'.

С этой точки зрения интересно, что среди корейских классификаторов много лексем со значением емкости¹², ср. *thong* 'бидон'; ('чтобы брать что-либо с собой или передавать кому-либо') *kkulemi* 'сверток'; ('чтобы измерять количество') *katani* 'мешок'; особенно интересны примеры корейских собирательных классификаторов, которые существенно пересекаются с представителями данной русской группы *byeong* '<бутылка', *sapal* '<миска', *paguni* '<корзина', *lyang* '<вагон', *cha* '<воз', а также *dabal* '<букет', *ungkhut* '<горсть', *jim* '<груз', *alum* '<охапка' и др., см. [Ли Су-Хён 2005: 100].

Еще несколько слов об особенностях квантификаторов данной группы.

По данным НКРЯ, слово *воз* как мало грамматикализованный квантификатор редко сочетается с абстрактными словами, и круг таких слов невелик, ср.: *новостей воз*, *воз угроз*, *воз реформ*, *воз спектаклей*, *целый воз добра*, *воз проблем* и как квантификатор, скорее, уходит из русского языка, хотя пока и встречается, ср.:

(23) ...*весь этот воз проблем отныне отягощает плечи нового вице-премьера правительства Владимира Яковлева* (С. Офитова. Яковлев получил «БМВ», кабинет и кучу проблем // Независимая газета. 2003).

Наоборот, слово *вагон* – пока попадает только в разговорных контекстах, ср.:

¹¹ Ср. также устаревшие *короб* (*короб новостей*) и *кладезь* (*кладезь премудрости*).

¹² По свидетельству [Aikhenvald 2000], это верно и для естественно-языковых классификаторов других языков.

(24) *За ним, еще недавно обласканным властью, вдруг обнаружился целый вагон преступлений...* (В. Шендерович. «Здесь было НТВ» и другие истории),

так что основной источник его письменных употреблений – не литературные тексты, а интернет. Устойчиво этот квантификатор выступает с абстрактным *время* и одушевленным *друзья* (*вагон времени*¹³, *вагон друзей*).

Слова *охапка* и *букет* метафоризируются в полном соответствии с теорией *embodiment* (= метафорического воплощения человеческого тела: [Lakoff, Johnson 1999]). Действительно, оба они называют собой множества, удерживаемые руками как контейнерами. При этом *охапка* тесно связано с исходным значением (множество легких предметов, прототипически веток, удерживаемых двумя руками – от плеча до кисти, ср. англ. *arm*) и крайне слабо грамматикализовано в качестве квантификатора; оно невозможно с именами лиц и редко с абстрактными именами, ср., однако:

(25) *Все выше и выше взбиралось оно на небо, суля, близкую весну и охапку надежд* (К. Д. Воробьев. Это мы, господи!..).

Слово *букет*, которое в качестве антропоцентричной емкости задействует кисть одной руки (*hand*), напротив, достаточно продуктивно как квантификатор и, хотя пока не сочетается с одушевленными именами, легко принимает абстрактные, причем с отрицательной оценкой (свойство, видимо, унаследованное при заимствовании от французского квантификатора, потому что русское *букет* как ‘пучок цветов’ имеет исключительно положительные коннотации), ср.:

(26) *<...> попали на нары следственного изолятора по обвинению в целом букете преступлений, в том числе умышленном убийстве* (С. Андреев. Преступность пошла на спад // Смена).

Арсенал менее продуктивно как квантификатор, сочетается только с абстрактной лексикой, особенно устойчиво со словом *средство*¹⁴:

(27) *Арсенал средств изложения неоригинален и беден* (М. Веллер. Ножик Сережи Довлатова).

Особого упоминания заслуживает здесь слово *море* (и близкое ему по способу употребления, но значительно менее продуктивное *океан*). Дело в том, что *море* как объект внешнего мира тоже является вместилищем и, по идее, должно попадать именно в данный класс. Действительно, в русском языке довольно много метафор с этой лексемой для обозначения большого количества; это касается прежде всего жидкостей, ср.: *море слез, крови, вина* как ‘много слез, крови или вина’, но такая метафора естественно распространяется и на эмоциональные состояния (ср.: *море удовольствия, радо-*

¹³ Еще более характерен инвертированный порядок слов, когда *вагон* выступает в предикативной позиции, ср. *До завтра времени еще было вагон* (А. Щербаков. Пах антилопы // Октябрь. № 12. 2002). Вообще говоря, в русском языке есть целый особый класс предикативных имен, способных иметь квантификативное употребление (ср. *дел у меня – смерть/беда*). Однако как показано в [Ли Су-Хён 2005], в действительности все они являются интенсификаторами, а не классификаторами большого количества. В этом отношении *вагон* им явно противопоставлен, и к тому же этот квантификатор вполне свободно может выступать и в препозиции – ср. *у нас вагон времени*, в отличие от: **у меня беда дел*. Отдельный интерес представляет возможность вариативности порядка слов (и, соответственно, синтаксической структуры) для квантификаторов нашего списка (см. об этом [Ли Су-Хён 2005]).

¹⁴ Обратим внимание, что поиск во французском Google дает 3000 примеров на соответствующее французское сочетание – по-видимому, служившим исходным для русского.

сти = 'много удовольствия, радости'), которые, как хорошо известно [Арутюнова 1976; Успенский 1979; Апресян 1995; Lakoff, Johnson 1980/2004] и мн. др.), метафоризируются как жидкости.

Однако одновременно исходное слово *море* (*океан*) имеет значение обширной поверхности, полученное в результате метонимического сдвига ВМЕСТИЛИЩЕ $\Rightarrow$ ЧАСТЬ ВМЕСТИЛИЩА (в нашем случае – его поверхность), ср. противопоставление 'вместилище' vs. 'поверхность' в парах: *плавать в море* ('вместилище') vs. *плыть по морю / паруса видны на море* ('поверхность'). Как показано в [Рахилина 2000а: гл. II, § 1], такая таксономическая двойственность этого имени приводит к образованию от него относительного прилагательного (*морской*), которое можно отнести сразу к двум семантическим типам. Во-первых, это тип прилагательных, семантически производных от *вместилищ* со значением 'нахождение внутри X': сочетание *морская рыба* = 'обитающая в море' семантически устроено так же, как *бочковые огурцы* = 'хранящиеся в бочке', или *комнатные растения* = 'растущие в комнате'. Во-вторых, это прилагательные, образованные от имен *пространства*, так что *морской ветер* интерпретируется так же, как *степной ветер* (т.е. как 'дующий с моря / из степи', а не как 'находящийся внутри вместилища', т.е. в море).

Таким образом, исходное *море* (*океан*), концептуализуясь как обширная поверхность, получает возможность для образования количественных метафор другого рода, по формуле 'ШИРЕ' $\Rightarrow$ 'БОЛЬШЕ', о которых мы говорили в предыдущем разделе. Именно к этому классу относятся квантификативные сочетания с именами множеств предметов – *море цветов, подарков, людей* и др., а на следующем этапе метафоризации, и абстрактных множеств – *море вопросов, дел, звуков* и др. Заметим, что как квантификаторы *море* и *океан* встречаются в статичных, а не динамических контекстах (свойственных *поток, река, лавина* – см. след. раздел), ср.:

(28) *Внизу было море окровавленных тел* (А. Кузнецов. Бабий Яр).

Действительно, такого рода употребления с локативной связкой основаны на статичной картине моря как бесконечной поверхности, которую трудно целиком охватить взглядом. Если мы подставим *море* в контекст глагола движения, предложение окажется мало приемлемым:

(29) *...вдохновенный общим сочувствием и вниманием, близостью молодых женщин, красотой ночи, увлеченный потоком собственных ощущений* (^{??}*морем ощущений*), он возвысился до красноречия, до поэзии (И.С. Тургенев. Рудин).

То же касается и другой метафоры *море* – 'большое количество как заполненное вместилище большого объема', представленной в сочетаниях с именами жидкостей; ср. естественное в статическом контексте *море крови* или *море пошлости*, но неприемлемое в динамическом:

(30) *Река (*море) крови текла между берегов, и все, что плыть могло, плыло в этой крови* (Г. Владимов. Генерал и его армия);

(31) *<...> рисуя жизнь медленным потоком (*морем) скучной пошлости <...>* (М. Горький. Жизнь Клима Самгина).

Прежде чем переходить к динамическим метафорам, обратим внимание на определенную симметрию типов, которая возникает в статической зоне между квантификаторами большого и малого количества. Как мы уже говорили, метафоризация имен с результирующим значением 'малое количество' в русском языке представлена довольно слабо – тем не менее, любопытно, что ее источниками оказывается не только (вполне ожидаемое) 'малое вертикальное измерение', ср. *кучка*, симметричное *куча*,

но и 'малое вместилище' – ср. *горстка*, семантически симметричное в этом отношении представителям последнего класса, таким как *воз* или *море*.

4.2. Динамическая метафора: источник – движущиеся массы

Эта группа очень представительна и при этом достаточно неожиданна по своей семантике: она включает имена с исходным значением движущихся масс: *град*, *дождь*, *шквал*, *лави́на*, *поток*, *река*, *туча*, *фейерверк*, *фонтан*. Сам по себе этот класс довольно интересен: говоря о движении, обычно обращают внимание на **метонимический** семантический сдвиг, при котором процесс движения превращается в цель или результат – ср. здесь так называемый эффект goal-bias (или ориентацию движения на конечную точку), ср. [Bourdín 1997; Ikegami 1987]. Но в наших примерах движение (правда, не движение вообще, а перемещение веществ и множеств) делает свой семантический вклад в **метафорическое** значение большого количества. Группа отчетливо распадается на три: прежде всего, в нее входят широкие направленные потоки: *река(и)*, *поток(и)*, *лави́на*, кроме того – движущиеся по воздуху и падающие массы: *град*, *дождь*, *ливень*, *шквал*, *туча*; особняком стоят *фонтан* и *фейерверк*, – в их семантике есть, как мы уже говорили, помимо движущейся составляющей, еще и вертикальность.

Подгруппа 1.

Представители первой подгруппы очень продуктивны в количественных контекстах и достаточно продвинуты по шкале грамматикализации – в частности, *река* и *поток* применяются не только к движущимся веществам, но и множествам (*реки людей*, *поток машин*), причем в том числе физически статичным, но подразумевающим, по выражению Р. Лангакера [Langacker 1991: 149–164], «абстрактное движение», ср. *реки / поток / лавина писем*, ср. также:

- (32) *Вместе с потоком серых шинелей, облепивших вагоны, свисавших с площадок, с крыш, с буферов и из окон, докатился и он до голубого с белым домика, снял обмотки с длинных и тощих ног, обмылся, отправился в город, на митинг* (М. Шагинян. Перемена).

Кроме того, они широко применяются к абстрактной лексике, ср.: *неуловимый поток чувств* (В. Быков. Сотников), *целая лавина неприятностей* (Ч. Абдуллаев. Символы распада). Наконец, все три квантификатора способны описывать одушевленные множества: *лави́на / река / поток людей*. И в то же время, они далеко не полностью грамматикализованы – показательно, например, что *поток* сочетается не только с прилагательными-интенсификаторами (*значительный*, *крупный*, *ужасный* и под.), но и с качественными прилагательными, связанными с параметрами реального движения (*медленный*, *ленивый*, *внезапный*, *бурный* и др.):

- (33) *Сон остановил медленный и ленивый поток его мыслей и мгновенно перенес его в другую эпоху, к другим людям, в другое место, куда перенесемся за ним и мы с читателем в следующей главе* (И.А. Гончаров. Обломов).

Точно так же, квантификативное *река / реки* часто по-прежнему сочетается с предикатами течения воды, как в: *на площадь хлынула река демонстрантов*, а *лави́на* – с описывающим камнепад глаголом *обрушиться*, как в: *на меня обрушивалась лавина обвинений* – ср., однако, пример, в котором у *лави́на* практически полностью теряются исходные свойства движения (в частности, направление вниз):

- (34) *Лавина осколков взметнулась во все стороны* (Е. Гуляковский. Чужие пространства).

Обычно в квантификативных контекстах *лавина*, в отличие от *река* и *поток* выступает скорее в письменной речи и (опять-таки в отличие от других квантификаторов) характеризует внезапно возникшее и растущее в наблюдаемый промежуток множество. При этом в противоположность *лавине*, *потоки* (и отчасти *реки*) кажутся более управляемыми, в частности, ввиду сохранения в них исходной идеи «русла» – ср. *поток машин направился / поток писем был перенаправлен* – ?? *лавина машин направилась / *лавина писем была перенаправлена*¹⁵.

Подгруппа 2.

Идея внезапно возникающих множеств оказывается довольно хорошо разработанной в русском языке и часто ассоциируется (как и в случае с *лавина*) с падением сверху вниз, ср. здесь характерный фразеологизм *свалиться на голову*, описывающий как раз внезапность. Действительно, если рассматривать в этой подгруппе и *лавину*, в ней будет целых шесть квантификаторов: *лавина*, *град*, *дождь*, *ливень*, *шквал*, *туча*.

Самый нейтральный среди них – *дождь* – даже в «агрессивном» контексте – как *дождь пуль* – этот квантификатор обозначает всего лишь много внезапно появляющихся летящих по направлению к наблюдателю объектов, тогда как для *град пуль* акцент делается на ту составляющую прямого значения, которая предполагает причинение урона и поражающую силу (см. [Мишурова 1968: 193]). Ср. также: *посыпался дождь / град вопросов*, но: *ведущий растерялся под градом / *дождем вопросов*. Таким образом, *дождь* передает нейтральное отношение к составляющим объектам, а *град* – более или менее негативное. Это объясняет тот факт, что *град*, по сравнению с *дождь*, менее естествен в контексте положительно оцениваемых ситуаций, ср.: *посыпался дождь цветов / *град цветов* и более естествен в контексте отрицательных: **дождь / град ударов*.

Что касается квантификатора *ливень*, то оценочно он нейтрален (как *дождь*) и до некоторой степени может быть уподоблен слову *лавина*, поскольку оба они сочетаются с предметами, которые движутся с большой скоростью за достаточно короткое время. Следовательно, в паре *дождь / ливень вопросов* в обоих случаях вопросов просто много, ничего не известно о том, насколько они неприятны слушателю, однако в случае с *дождь* они задаются скорее один за другим (ср. капли дождя), а в случае с *ливень* – сразу.

Аналогичный эффект, и даже в более сильной форме, возникает с квантификатором *шквал* (ср. *шквал вопросов*), который по этой причине, судя по примерам из корпуса, практически не употребляется с глаголами несовершенного вида в актуально-длительном или процессном значении, так как полностью лишен временной протяженности. Кроме того, *шквал* «добавляет» соответствующей ситуации обязательную звуковую составляющую: *шквал* – это не только внезапно, стремительно и очень много, но и шумно, ср. характерные контексты: *шквал (*дождь / *град / *ливень) аплодисментов, шквал ударов, требований* и др., например:

(35) *Шквал сильных ударов посыпался на отца* (Ф. Искандер. Авторитет).

Ср. невозможное **шквал цветов* (при допустимом *шквал звонков* или *писем* – письма в этом случае тоже как бы звучат: они содержат требования, обращения и проч.), а также частотное: *под шквалом снарядов / огня* (имеется в виду оружейная стрельба), как в (36):

(36) *Как на фронте не знаешь, не обрушится ли шквал снарядов, вот сейчас, через минуту, возле тебя <...>* (А. И. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг),

но не **под шквалом пуль*, которые оказываются в этой ситуации слишком тихими.

¹⁵ О дополнительных противопоставлениях внутри этой группы см. также раздел 5.

На шкале грамматикализации все эти квантификаторы занимают позицию, близкую к начальной стадии, – их сочетаемость распространилась на очень небольшой круг нестандартных предметов (как *цветы* в *дождь цветов*) и некоторые абстрактные объекты, но не преодолела барьера одушевленности: ни один из них не сочетается с именами лиц.

Несколько особняком стоит имя *туча*. В своем исходном значении это всегда конкретный предмет, причем горизонтально, а не вертикально перемещающийся, к тому же медленно (ср. такой характерный пример, как *по небу ползла туча*) – все прочие квантификаторы этой подгруппы обозначают не только физические предметы, движущиеся обязательно с высокой скоростью и сверху вниз, но и события, т.е. сопутствующие им явления природы.

Итак, *туча* – это медленно и горизонтально движущееся большое темное облако. Поэтому как квантификатор *туча* употребляется для обозначения большого количества людей – ср. *тучи людей, загромаждавшие проходы* (В. Шаламов. *Артист лопаты*) – на основе зрительного образа «темное большое скопление», имеющего отрицательную оценку, так как темный (черный) цвет ассоциируется с неприятностью, бедой и угрозой. Ср.: *тучи болтливых лодырей, не понимающих, что такое труд, что за ценность каждая человеческая жизнь, что за бесценное создание хлебное поле* (В. Астафьев. *Прокляты и убиты*), а также: *тучи красномордых карателей* (Юз Алешковский. *Рука*), но: **тучи благодарных поклонников / *почитателей таланта / *цветов* и под¹⁶. По-видимому, данный круг статических употреблений придется сближать с контекстами класса «ВЫШЕ ⇒ БОЛЬШЕ» (ср. *куча, гора*).

Однако для более подробной классификации метафорических значений этого слова надо учитывать его динамическую составляющую, отсутствующую в классических вертикальных метафорах. Дело в том, что, в развитие метафоры «большого темного скопления», *туча* (часто в сочетании с абстрактными словами) употребляется для обозначения *наступающих* (или наступивших), т.е. именно *движущихся*, неприятных событий, ср.:

(37) *Слава Богу, милая Мама совсем спокойна и героически переносит горе! Только и делал, что отписывался от тучи телеграмм* (М. Кураев. *Жребий* № 241).

Такие употребления явным образом сближаются с подгруппой *река – поток – лавина*, хотя по типу исходного значения (единичный конкретный предмет) ей совершенно чужды.

Помимо этого, во многих случаях квантификатор *туча* употребляется с предикатами, характерными для только что рассмотренных представителей подгруппы **вертикального** движения: говорят, например, *туча стрел обрушилась*, имея в виду резкое и быстрое движение вниз, причем по направлению к говорящему / наблюдателю. В этом случае *туча* метонимически применяется к множеству мелких легких предметов – частиц, образующих огромную массу в воздушной среде – *туча снежной крупы, туча песка, туча пара*, а также с летающими насекомыми или животными – *туча мух, туча комаров, туча пчел, туча птиц, летучих мышей*, ср. также:

(38) *Но нет уже в них того азарта и самоуверенности, и все реже и реже сбрасывают они на наши головы тучи листовок с призывами сдать и бросить надежды на идущего с севера Жукова* (В. Некрасов. *В окопах Сталинграда*).

¹⁶ Тот же зрительный образ прослеживается в нечисленных метафорических устойчивых оборотах, ср. отрицательную оценку в *Тучи уже сгустились над головой, вокруг одного за другим забирали друзей и сослуживцев* (Н.Я. Мандельштам. *Воспоминания*); *Однажды дед вернулся со службы много позднее обычного и был мрачнее тучи* (Н.Н. Моисеев. *Как далеко до завтрашнего дня*).

Эта масса подобна множеству капель, составляющих тучу как природный объект и **обрушивающихся** вниз в виде дождя, ливня, града или снега. Тем самым, квантификатор *туча* может рассматриваться и как представляющий вертикальное движение вниз¹⁷.

Следовательно, *туча* (которая в этом смысле напоминает квантификатор *море* – см. выше) представляет собой пример совмещения в одной лексеме нескольких – а именно, трех – типов метафор большого количества: статической (*туча народу*), горизонтальной динамической (*туча писем*) и вертикальной динамической (*туча стрел обрушилась*), так что полностью этот квантификатор не вписывается ни в одну из рассмотренных групп. Заметим, что это достаточно продуктивное количественное слово с довольно широкой сочетаемостью, хотя, как мы видели, все еще сохраняющее некоторые связи с исходным значением.

Подгруппа 3.

По своей исходной семантике *фонтан* и *фейерверк* можно считать квазиантонимами к падающим массам, о которых мы только что говорили: и в том, и в другом случае массы, соответственно, воды и огней поднимаются вверх из некоторой точки и рассыпаются вокруг. Обратим внимание, что стандартное вещество при этих именах не указывается, а однозначно реконструируется по умолчанию, но, как это обычно бывает с инкорпорированными объектами, в контексте уточняющих определений соответствующая генитивная конструкция возможна: *фонтан ледяной воды*, а также *фейерверк разноцветных огней*. На зрительном образе взлетающих масс основывается первичная стадия расширения сочетаемости, а именно, контексты с веществами нестандартного типа, ср. *фонтан земли, нефти, брызг* или:

- (39) *В лицо, в грудь, в живот ударила горячая и твердая, как бревно, взрывная волна, изжелта-красный фонтан огня взлетел над маленьким «виллисом» <...> (Г. Владимов. Генерал и его армия).*

Лексема *фейерверк* минует эту стадию, так как, ввиду слабой материализованности исходного *огонь / огни*, она вообще не сочетается с названиями физических материальных объектов (*??фейерверк брызг, *нефти, *цветов* и др.).

При дальнейшем сдвиге значения в квантификативную зону пространственный образ, предполагающий характерную форму, напрямую не отражается (хотя можно говорить об имплицитном присутствии вертикального измерения по типу «ВЫШЕ => БОЛЬШЕ»). Это говорит о некоторой степени грамматикализованности данных лексем, пусть и не очень высокой – в частности, они не применимы к живым существам. Основная сфера их квантитативных употреблений – абстрактная лексика, хотя для слова *фонтан* идея большого количества возможна уже и с нестандартными веществами, ср. прежде всего *фонтан крови*, напоминающее квантификативное *море крови*. При этом статическое *море крови* обозначает большое, с точки зрения говорящего, количество крови, образовавшееся в результате некоторого уже произошедшего результативного события, например, убийства. Динамическое *фонтан крови* обозначает большое количество крови, с большой скоростью брызжущей вверх из некоторой точки и таким образом, всегда (в отличие от неспецифицированного по этому признаку *море крови*) принадлежащей одному человеку. Ср.:

- (40) *<...> в груди Карлехара словно плотину прорвало, и фонтан (??море) алой крови выплеснулся наружу (А. Соболев, В. Шпаков. Мир наизнанку);*

¹⁷ Идея усматривать тут метонимический перенос была предложена нам А.А. Гиппиусом на нашем докладе в Институте русского языка им. В.В. Виноградова.

- (41) <...> *знаете ли, сколько выбыло у нас из строя под Бородином? – Было море (*фонтан) крови, одно скажу! – вспоминая картины Бородина, со вздохом ответил Базиль* (Г.П. Данилевский. Сожженная Москва)¹⁸.

Из абстрактных имен чаще всего *фонтан* употребляется со словом *красноречие*, как если бы речь стремительно «извергалась» изо рта говорящего на слушающих во все стороны, но также с именами *ругань*, *юмор*, *воспоминания*, *любовь*, тоже описывающими воздействие на окружающих, ср. еще *фонтан остроумия* (С. Гайдуков), *фонтан родительской любви* (Б. Акунин), *фонтан идей и открытий* (Г. Адамов) и др.

У *фейерверка* немножко иной исходный концепт, чем у *фонтана*: это не непрерывный поток жидкости вверх, а отдельные вспышки, огни, рассыпающиеся в стороны. Поэтому хотя в целом как квантификаторы они очень похожи – например, оба предпочитают абстрактные имена – есть и различия. Во-первых, *фейерверк* не допускает сочетаний с веществами, в том числе жидкостями (**фейерверк металла*, **фейерверк крови*), во-вторых, для этой лексемы важно разнообразие «считаемых» объектов, безразличное для *фонтана* – в квантификативной конструкции *фейерверк*, как и *букет* (см. 4.1) означает ‘много разнообразных объектов / явлений / действий’. Ср.:

- (42) *В целом же, как утверждает переводчик, текст являет собой «фейерверк каламбуров, ребусов, загадок, аллитераций и аллюзий, милых или рискованных шуток, часть которых неизбежно гибнет при переводе»* (Дж. Барт. Химера. Заблудившись в комнате смеха);
(42') *Но в балете, среди фейерверка иных движений, она не так поразительна* (А.С. Грин. Блистающий мир).

Но в отличие от квантификатора *букет*, *фейерверк* окрашен положительно, так что недопустимо ни **фейерверк* (в отличие от *букет*) *преступлений*, ни **фейерверк* (*букет*) *болезней*, ни **фейерверк* (*букет*) *неприятностей*.

* * *

На этом мы закончим обсуждение первого, «диахронического», вопроса о природе наших метафор (см. раздел 2). Из разделов 3 и 4 мы получили представление о том, какова должна быть семантика имени, чтобы из него хотя бы теоретически мог возникнуть количественный квантификатор. Оказывается, по крайней мере в русском языке, это имя должно:

- либо содержать в себе идею бесконечности («вширь», как *море*, *лес*, *россыпь*, «вниз» – как *бездна*, *пропасть*, *прорва* или «вверх» – как названия природных вертикальных объектов – *гора*, *куча* и под.);
- либо обозначать вместилище (как *воз*, *вагон*);

¹⁸ Оценивая степень грамматикализованности слова *фонтан* по сравнению с довольно продвинутым в этом отношении словом *море*, заметим, что в корпусе не обнаружено ни одного примера его сочетания со словами *слезы* и *пот* – жидкостями малого количества, между тем как с более грамматикализированным *море* эти лексемы сочетаются, образуя устойчивые гиперболы. Ср. реализацию той же гиперболы (типологически релевантной, как показано в [Рахилина 2007]) в сочетаниях *плавать в поту / слезах* (метафоры большого количества). Единственным исключением оказалось название фонтана (ср. пример НКРЯ: *Знаменитый «Фонтан слез» в Бахчисарайском дворце тоже не походил на фонтан*), но оно, конечно, представляет не квантификативную, а обычную именную генитивную конструкцию.

- либо называть динамические (движущиеся потоком, падающие или вздымающиеся вверх) массы (как *река, лавина* или *фонтан*)¹⁹.

Второй вопрос был совсем другого свойства – «синхронный»: что «остается» в семантике квазиграмматикализованных лексем после того, как сдвиг произошел и часть исходного значения «стерлась»? Другими словами – какие параметры качественной множественности релевантны для данного языка? Об этом – в следующем разделе, но тоже на базе материала двух предшествующих.

5. ЗНАЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ МНОЖЕСТВЕННОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Итак: какие параметры качественной множественности оказались релевантны для русского языка?

Мы видели, что в русской картине мира выделяются некоторые особые, значимые для языка множества объектов, которые обладают специальными свойствами. Конечно, диахронически эти свойства объясняются исходной семантикой лексем, которые их называют, но ведь значение этих лексем изменилось и часть его «выветрилась» – значит, то что осталось, действительно важно для говорящих. Так какие же в русском выделяются «важные» множества и чем они отличаются качественно?

(1) Дейктичность.

Прежде, чем перейти к обсуждению их перечня, обратим внимание на важное общее свойство этой семантической зоны: лексическая множественность часто, в отличие от множественности грамматической, имеет **дейктическую** природу. Это значит, что в подавляющем большинстве множеств с «качественными» (а не количественными) параметрами отражают местонахождение в пространстве говорящего (или наблюдателя) и для них – чем менее они грамматикализованы, тем в большей степени – значимы дейктические противопоставления.

Действительно, множества, которые концептуализуются как «вертикальные» по принципу «ВЫШЕ $\Rightarrow$ БОЛЬШЕ» (*гора, куча* и др.), как и другие вертикально ориентированные объекты²⁰, представлены так, что наблюдатель стоит в их нижней точке (у подножия) и смотрит снизу вверх. Понятно, что в случае с *бездна* и *пропасть* (разновидность «бесконечной» метафоры: «НИЖЕ $\Rightarrow$ БОЛЬШЕ») наблюдатель смотрит, наоборот, сверху вниз. Но дейктическая составляющая существенна и для варианта «ШИРЕ $\Rightarrow$ БОЛЬШЕ» (*море, лес, океан*): соответствующие конструкции тоже определяют точку наблюдения, откуда можно видеть подобное большое количество, распределенное в горизонтальном пространстве. Наблюдатель здесь находится у края заполненного «считаемыми» объектами пространства, но немного выше его, чтобы глаза могли охватить множество – как оратор перед толпой на трибуне (ср. *море людей* или *море флагов*). Специального возвышения не нужно, если это *море цветов* – например, на лугу, потому что цветы и так ниже человеческого роста, то же для *лес рук* (сидящих за партами учеников – внизу перед учителем). Любопытно, что поскольку этот подкласс метафоры «БЕСКОНЕЧНО $\Rightarrow$ МНОГО» наименее грамматикализован, даже для самого частотного квантификатора *море* возможны чисто дейктические запре-

¹⁹ На самом деле есть еще одна возможность, которая реализована в малопродуктивной группе «последовательностей»: *галерея (образов), караван (историй); батарея (бутылок)*. Источниками метафоры для них служат сложные физические объекты: множества, которые упорядочены как последовательности – ср. портретную галерею, в которой портреты развешены по очереди, караван верблюдов, в котором животные располагаются друг за другом или ряд пушек. Все эти квантификаторы имеют очень узкую сочетаемость и тем самым, фактически лексикализованы – например, круг переносных употреблений *батарея* ограничен устойчивым сочетанием *батарея бутылок*. Поэтому как действующие показатели лексической множественности они пока не представляют интереса.

²⁰ Подробнее о дейктической составляющей в семантике вертикальных объектов (проявляющейся при определении их размера) см. [Рахилина 2000а].

ты на употребление. Так, следующий пример рисует множество как раз в той перспективе, которую мы только что описали – и вполне приемлем:

- (43) *На стол подавался традиционный набор блюд. Всегда было сациви и море пирожков – маленьких-маленьких, с капустой, с мясом* (Е. Михалков-Кончаловский. Гуталин и пылесос как средства борьбы со стрессом // Здоровье, 1997.12.15).

Здесь речь идет о множестве пирожков, которые говорящий видит на столе, но если бы эти пирожки были уже съедены, возможность квантификатора *море* стала бы сомнительна, ср.: ...**съели море пирожков* – при допустимом: *съели кучу* (или – стилистически более маркировано – *прорву*) *пирожков*.

Понятно, что дейктическая составляющая особенно важна для тех множеств, которые представляются движущимися: в большинстве своем они движутся к наблюдателю. В частности, так устроены все «падающие» множества *град*, *дождь*, *туча*, *лавина*, *шквал*, ср. *на нас посыпался град вопросов* – ?? *мы ответили на них градом встречных предложений*. Учитывая принцип важности конечной точки (*goal-bias* – ср. 4.2), по-видимому, такая ситуация, когда говорящий стоит в конце пути, и, следовательно, движение осуществляется по направлению к нему, и в языке в целом является самым частотным. Поэтому среди горизонтально движущихся множеств таких большинство, ср. *поток*, *туча*. Это известный тип «*come*»-движения, противопоставленный типу «*go*» (от наблюдателя) – см. подробнее [Fillmore 1983; 2000], ср. также [Апресян 1986/1995]. По-видимому, тип «*go*» никак не представлен в квантификаторах: можно было бы ожидать, что его реализуют *фонтан* и *фейерверк* – но, как выясняется, они так моделируют ситуацию множества-потока (направленного вверх или в стороны), что этот поток направлен на говорящего, а не исходит от него, ср.:

- (44) *Фандорин терпеливо кутался в красный плащ, ждал, пока ослабнет фонтан родительской любви* (Б. Акунин. Внеклассное чтение);
(45) – *Опять из тебя забил фонтан идей и открытий, кацо, – слышался в дверях голос зоолога* (Г. Адамов. Тайна двух океанов);
(46) *Антон проводил их долгим взглядом, и вдруг фонтан ярких воспоминаний заставил его зажмуриться, качнуться, оперевшись лбом о кулак* (В. Сорокин. Норма).

Действительно, Фандорин почувствовал на себе родительскую любовь, а не распространял свою, зоолог услышал, т.е. воспринял от кого-то другого новые идеи, Антон испытал возникшие откуда-то воспоминания (а не заставил кого-то их испытать) и под. Ср. также неестественность в первом лице: ?? *я почувствовал, как из меня забил фонтан идей...* Таким образом, эти квантификаторы тоже дейктичны, но, как и в случае «падающих» множеств, представляют тип «*come*», а не «*go*».

Зато среди квантификаторов есть не отмеченная у Филлмора ориентация *мимо* говорящего – и вот именно она в нашем случае противопоставлена типу «*come*». Такая ориентация свойственна квантификатору *река / реки* (и может быть, редкому *караван* – см. сноску 19). Получается, что *река / реки* отличается от близкого ему *поток / потоки* именно значением дейктического признака: *поток(и)* – это множество объектов, направленное к наблюдателю, а *река / реки* – *мимо* него. Поэтому с адресованными кому-то объектами мы употребляем квантификатор *поток*, а не *река / реки*, ср.: *поток(и) / *река (реки) писем, телефонных звонков, поздравлений, обращений в Думу, посетителей, пациентов, денег* (ср. также устойчивый термин *денежные потоки*, но не **денежные реки*). С другой стороны, «безадресное» *реки трудового энтузиазма* не допускает замены на *потоки*. Кроме того, квантификатор *поток / потоки* неприемлем в контексте глаголов с невыраженной семантикой направленного на конечную

точку движения, а *река* / *реки* в таких контекстах вполне допустимо: *река* / **поток* *виднелась, тянулась*, ср. также следующие примеры:

- (47) *Широкая, метров двести, река* (**поток*) *цветов и травы пересекала лес* (В. Солоухин. Владимирские проселки);
(48) *Если плод ее выживет, и рост ее потомства пойдет естественным порядком, только представьте себе, какая ужасная река* (**поток*) *страдания вытечет из ее тела* (М. Арцыбашев. У последней черты).

И наоборот, в сочетании с глаголом *идти*, который, как известно, в русском языке по умолчанию обозначает движение к конечному пункту, а не от него (подробнее см. [Рахилина 2000а; 2000б]), используется квантификатор *поток*, а не *река*: *поток* / **река* *машин идет*.

Таким образом, вся та лексическая множественность, которая, в значении большого количества, производна либо от названий крупных пространственных объектов, либо от названий движущихся масс большого объема, при неполной грамматикализации дейктична, т.е. сохраняет в своей семантике идею говорящего / наблюдателя и его места в пространстве рядом с этим множеством. Вместе с тем, статические квантификаторы, связанные с идеей вместилища (*охапка, воз, вагон, букет* и под.), не дейктичны, точно так же статичны и не дейктичны квантификаторы малого количества – *капля, крошка, горстка* и др.

(2) Оценочность.

В свое время дейктический компонент было принято относить к прагматике, а не семантике, сейчас это различие не важно, в особенности для нашей задачи: важно, что данное противопоставление, во-первых, действительно формирует концепт особого типа множества, значимого для говорящих, а во-вторых, влияет на правила употребления (сочетаемость) данного квантификатора.

Ту же роль играет и оценка: есть **положительно** окрашенные и **отрицательно** окрашенные множества, это противопоставление лексически маркировано. Например, квантификатор *фейерверк*, как мы видели, хотя и имеет очень узкую сочетаемость, предполагает только положительную оценку, а квантификатор *букет* – только отрицательную: *букет недугов, инфекций, неприятностей*, но не: **букет радостей, надежд, ожиданий*. Даже если сочетающиеся с *букет* имена сами по себе нейтральны, как в примере (49), в конструкции с *букет* у них возникает негативный оттенок:

- (49) *Уж больно он крут, неуживчив, властолюбив, зато такой замечательный для политика букет* *качеств – лицемерие, цинизм, вероломство* (Г. Трошев. Моя война).

Отрицательная оценка в семантике показателей лексической множественности распространена: она свойственна и имени *град* (в противоположность *дождь* – см. выше раздел 4.2, подгруппа 2), и имени *груда* (*груда мусора, обломков, объедков...*)²¹, которое способно «превратить» в негативно окрашенные самые ценные вещи, ср. *груды золота и бриллиантов, груда дорогих туфель*, ср. также мало приемлемое ??*груда дорогих моему сердцу фотографий*. Кроме того, отрицательную оценку имеет, как мы помним, и квантификатор *туча*, ср. здесь такие пары, как: *туча народу – *туча близких друзей, туча дел – *туча надежд*.

(3) Разнородность.

Другое важное свойство квантификатора *туча* – что он описывает не дискретное и поэтому гомогенное множество (народу, проблем, дел – и проч.). Это интересно, потому что в русском языке маркируются еще и **разнородные** множества, причем несколь-

²¹ О природе отрицательной оценки в семантике *груда* см. ниже.

кими лексемами: *букет*, *фейерверк*, *арсенал*, так что *букет* – это множество разнородно «плохих» объектов, а *фейерверк* – разнородно «хороших», ср. *фейерверк шуток* ≈ 'множество шуток разных типов' / **букет шуток*. Например, очевидно, что в (50) предполагается не вообще множество преступлений (которые, заметим, являются отрицательными событиями), а именно множество разнородных преступлений, среди которых – убийство:

- (50) <...> попали на нары следственного изолятора по обвинению в целом *букете* преступлений, в том числе умышленном убийстве (С. Андреев. Преступность пошла на спад // Смена).

Понятно, что *букет* и *фейерверк* не взаимозаменяемы по причине разной оценки, но и нейтральное *арсенал* не может конкурировать ни с одним из них, хотя тоже описывает разнородное множество: *арсенал средств* – это негомогенное множество, образованное разными типами средств. Дело в том, что *букет* предполагает разнообразие объектов, представленное актуально, в данный момент, что же касается *арсенала*, то это особый тип множества – множество-запас, то есть множество заранее собранных для какой-то цели объектов, причем разнородных, ср. (51):

- (51) Такой *букет* (**арсенал*) выражений одновременно на одном лице мне видеть не приходилось (А. Лазарчук. Все, способные держать оружие...).

Квантификатор *арсенал* можно было бы употребить, если бы разнообразные выражения на лице оказались специально подготовленными для какой-либо цели, допустим, актер выступал бы на сцене и продемонстрировал бы полный арсенал выражений лица, которые он использует. Но тогда *арсенал выражений лица* демонстрировался бы последовательно и контролируемо – по воле актера. Здесь же все эти условия нарушены, есть только идея разнообразия и отрицательной оценки, свойственные квантификатору *букет*, так что *букет выражений* может быть на лице и одновременно, и бессознательно. Таким образом, с некоторой долей условности можно было бы говорить о дополнительном свойстве – **презумптивности** множества, реализуемом в русском языке только одной квантификативной лексемой – *арсенал*.

(4) Ненужность.

И положительная/отрицательная оценка, и разнородность, и даже презумптивность – это свойства множеств в целом, но так, сказать, «прозрачные», т. е. легко переносящиеся на объекты, их составляющие. «Прозрачным» можно считать и свойство **ненужности** множества – и, соответственно, его элементов. В русском языке оно маркировано двумя квантификаторами: *груда* и *прорва*. *Груда* имеет статичную «материальную» семантику – как *куча* и *гора*. Однако в отличие от них, называет ненужные, неиспользуемые объекты, существующие в большом количестве (отсюда и отрицательная оценка, свойственная этому квантификатору!), ср. запрет на употребление *груда* в примере (52):

- (52) *Гора* (**груда*) *серо-зеленого металла, авианосец «Киев»*, в это время медленно и бесшумно проходила мимо мыса Херсонес в гавань Севастополя (В. Аксенов. Остров Крым).

Сочетание *груда серо-зеленого металла* применительно к кораблю (*авианосец «Киев»*) могло бы быть использовано только в контексте, предполагающем полную бесполезность этого авианосца, его нерабочее состояние, в котором он не может, конечно, войти в гавань.

Что касается имени *прорва*, то оно динамично в том смысле, что результативно и обозначает множество зря потраченных объектов – обычно уже отсутствующих в материальном мире. Разная природа (статическая и динамическая) препятствует взаимо-

замене *груда* и *прорва* в следующих квантификативных контекстах, ср., с одной стороны, (53–54), а с другой – (55):

- (53) *В него нужно погрузиться, как если бы вы погрузили лицо в груду (*прорву) мокрых от дождя листьев* (К. Паустовский. Золотая роза);
(54) *Полковник достал из-под груды (*прорвы) газет стопку папиросной бумаги* (А. Дмитриев. Воскобоев и Елизавета);
(55) *Поди, на эту самую корейскую войну идет такая прорва (*груда) народных денег, что это непостижимо человеческому уму!* (В. Пьецух. Рассказы).

(5) «Непрозрачные свойства» элементов множеств: вертикальность и вес объектов.

Но бывают и другие, «непрозрачные» свойства, касающиеся только объектов, но не объемлющих их множеств или только множеств, но не составляющих их объектов. Примеры первого, релевантные для русского языка, это **вертикальность** предметов, собранных вместе. Множество такого рода в русском языке описывает квантификатор *лес* из группы «ШИРЕ» ⇒ «БОЛЬШЕ». Так же как и в случае *море людей* или *россыпи драгоценностей*, *лес* называет совокупность (неодушевленных) объектов, покрывающую собой большую плоскость, – но обязательно вертикальных, выше человека (ср. *лес флагов, лес рук, мачт* – **лес крови, денег* и др., а также: **лес людей, цветов*).

Другое важное свойство объектов – их вес. Лексически отмечена в русском языке особая **легкость** элементов, составляющих множества, и, наоборот, их **тяжеловесность**. Первое кодируется квантификатором *ворох*, с которым сочетаются имена, обозначающие легкие и тонкие или маленькие предметы, такие, как *лист, перо, бумага, газета, документ* и др. (ср. [Левонтина 2004: 503; Ли Су-Хён 2005]). Признак легкости этот квантификатор сохраняет при расширении своего значения на область абстрактных объектов – допускаются только те, которые воспринимаются как «летающие в воздухе», ср. прежде всего наиболее частотные *ворох новостей, информации*, но также *ворох воспоминаний, впечатлений, загадок, проблем, советов*.

Квантификатор *груда*, наоборот, кодирует тяжелые предметы – *груда металла, груда книг, мебели, кирпича* и проч.; ср. [Левонтина 2004: 502]: «В современном языке слово *груда* наиболее свободно употребляется, когда речь идет о достаточно однородных предметах, средних размеров, более или менее компактных и скорее сплюснутых, достаточно тяжелых, чтобы своим весом поддерживать неподвижность возвышения. Иные форма, вес, размер и т.п. затрудняют использование этого слова; ср. неправильное **груда воздушных шариков*».

Понятно, что легкие по весу предметы с точки зрения говорящего могут представляться тяжелыми. Так, только что упомянутые в связи с квантификатором *ворох* перья или листья в нормальной ситуации легкие, но в намокшем состоянии они могут стать и тяжелыми, ср. <...> *как если бы вы погрузили лицо в груду мокрых от дождя листьев* <...> (К. Паустовский. Золотая роза). Ср. также очень типичную корреляцию физической тяжести и образа трудной работы – в контексте большого количества бумаг, которые нужно прочесть и изучить:

- (56) *Вот только я одного не могу понять, зачем меня заставляют читать такую груду бумаг?* (О. Кабанова. Рената Литвинова: «Это очень тяжелый труд – рассказывать истории» // Известия. 2001. 22 августа).

(6) «Непрозрачные свойства» множеств: упорядоченность – неупорядоченность – последовательность – внезапность возникновения – повторяемость ситуации.

Пример непрозрачного свойства второго типа – касающегося именно устройства множества, а не его элементов – свойство **упорядоченности / неупорядоченности** множества, тоже важное в системе русских квантификаторов. Неупорядоченные множества описываются квантификаторами *копна, ворох, куча, груда* и в гораздо меньшей

степени – *гора*. Роль, которую играет этот семантический признак в их значении – различна. Например, для слабо грамматикализованного *гора* сохраняется идея конусообразной формы (*гора мусора*) – ср. также [Левонтина 2004: 501–502], у более грамматикализованного *куча* этот признак может вовсе исчезнуть, ср. *куча (*гора) народу*; для *груда* идея вертикальной формы в целом сохраняется, но так как идея беспорядочности совмещается с ненужностью, сама форма «портится». Так, *гора тарелок*, скорее всего, должна интерпретироваться как много тарелок, поставленных одна на другую, стопкой, а *груда тарелок* – большое количество грязных тарелок или осколков от тарелок.

Что касается *копна* и *ворох*, то, близкие по исходному значению, они в этом отношении ведут себя похоже – с той лишь разницей, что *копна* строго лексикализировано и сочетается с одним-единственным именем *волосы* (см. раздел 2): и *копна волос*, и *ворох бумаг* передают идею неупорядоченности, хаоса, однако для них важна направленность от центра в разные стороны (ср. исходное *ворошить*), в противовес конической форме возвышения у *гора* [Левонтина 2004: 503]. В контекстах с абстрактными именами – типа *новости* или *воспоминания* – конкретный зрительный образ практически стирается, однако некоторый «след» идеи беспорядочности как одновременности разнородной информации, конечно, остается.

Наоборот, квантификаторы *галерея*, *караван*, *батарея*, о которых мы упоминали в сноске 19, упорядочивают множества поэлементно и представляли бы хороший класс-антипод, если бы не были так малопродуктивны. К той же группе примыкает и динамический квантификатор *дождь* – как показано в 4.2, в некоторых своих контекстах он демонстрирует большую упорядоченность, чем его квазисинонимы *ливень* и *шквал*, предполагая скорее **последовательность** событий, чем их одновременность – ср. *дождь вопросов* vs. *ливень / шквал вопросов*.

Тем самым, если в статических квантификаторах неупорядоченность коррелирует с так сказать, пространственной одновременностью, т.е. сосредоточенностью элементов множества на одном и том же малом пространстве (отсюда более-менее коническая форма как в *гора*, *куча* и *груда* или концентрация вокруг центра в *ворох*), в динамических квантификаторах неупорядоченность трансформируется во временную одновременность. Интересно, что и статическая, и динамическая ситуации противопоставлены при этом одному и тому же: последовательности предметов или событий, которая воплощает порядок и совмещает пространство и время.

К дополнительным свойствам динамического неупорядоченного множества можно отнести резкость, неожиданность, **внезапность** его **возникновения** – как *шквал*, в отличие от *дождя* или *ливня*, ср. *шквал огня* или *шквал аплодисментов*, а также *шквал* – в противоположность *дождь / ливень вопросов*. Другое яркое свойство – стремительный рост множества в процессе его функционирования – как *лавина*, в отличие, например, от *потока* – ср., например:

- (57) *И тогда на меня обрушивалась лавина (?поток) обвинений, под тяжестью и неопровержимостью которых я должен был бы тотчас провалиться сквозь землю* (Б. Левин. Иностранное тело. Автобиографическая проза).

И еще одно свойство множеств, кодируемое лексически: поверхностно оно выражается противопоставлением единственного – множественного числа квантификатора (*моря* – *море*, *поток* – *потоки* и др.). Как нам кажется, число в таких случаях служит не новым квантификатором, так сказать, того же уровня, а маркирует **повторяемость** самой ситуации множественности; эта гипотеза естественна с точки зрения семантики категории числа и поддерживается примерами, где именно число явно коррелирует с итеративностью / неитеративностью глагола:

- (58) *Я только не знаю, по пути ли нам? Вы моря_{мн.ч} крови проливать (/ пролить) хотите, а я, Михаил Александрович, не люблю кровь* (М. Алданов. Истоки).

(59) Я только не знаю, по пути ли нам? Вы *море*_{ед.ч} крови пролить (*проливать) хотите...

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в русском языке сформировалась категория лексической множественности, которая описывает **качественные** параметры множеств. Выражают ее количественные слова – квантификаторы; все они образованы с помощью семантического сдвига одного и того же типа: вершинное предметное имя в контексте именной генитивной конструкции теряет часть своих исходных свойств и приобретает количественное значение. Разные квантификаторы грамматикализованы в разной степени, т.е. продолжают двигаться или остановились на разных ступенях этого процесса, так сказать, «смены своего имиджа» (см. раздел 2). Сильнее всех грамматикализовано имя *куча*, в самой слабой форме – имя *копна*. Важным критерием при определении «продвинутых» в этом отношении классификаторов может служить сочетаемость с одушевленными именами, несвойственная именам этой группы в исходном значении – ему удовлетворяют *бездна*, *лавина*, *море*, *поток*, *река*, *туча*. Семантическими источниками для квантификаторов в русском языке служат следующие группы имен (разделы 3–4):

- вертикальные природные объекты (как *гора*);
- бесконечные поверхности (как *море*);
- «бесконечные» емкости (как *бездна*);
- контейнеры (как *воз*);
- последовательности (как *батарея*),

а также движущиеся массы –

- в горизонтальной плоскости (как *река*);
- вертикально вверх (как *фонтан*);
- падающие (как *дождь*).

Представители этих таксономических классов способны, претерпев семантический сдвиг, обозначать множество с некоторым набором свойств. Основываясь на материале раздела 5, релевантными для формирования таких «качественных» множеств для русского языка оказываются следующие характеризующие их параметры:

- местоположение говорящего / наблюдателя;
- положительная / отрицательная оценка;
- гомогенность / разнородность;
- идея презумптивного множества, или множества-запаса;
- ненужность (актуальная или результативная);
- упорядоченность / неупорядоченность элементов – одновременность событий;
- вертикальность составляющих множество объектов;
- физический вес объектов множества;
- внезапность возникновения множества;
- количественный рост элементов множества в процессе функционирования;
- единичная / повторяющаяся ситуация множественности.

Именно эти параметры, как мы показали, противопоставляют лексические квантификаторы, каждый из которых, тем самым, содержит в своей семантике классифицирующий компонент, «выбирая» для себя множество с определенными параметрами.

В этом смысле рассмотренные нами квантификаторы сближаются с **классификаторами**. Классификаторы – это особые вспомогательные элементы в ряде языков мира; обычно они сопровождают счет – и обязательны в соответствующих конструкциях – и одновременно классифицируют лексику. Эти слова можно уподобить русским *штука* или *пара*, ср.: *восемь штук яиц* или *две пары брюк*; ср. также *восемь душ детей*. Особенно характерны классификаторы для языков Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока – китайского, японского, вьетнамского, тайского и др., а в индоевропейских языках они практически отсутствуют (подробнее см. [Corbett 1991; Aikhenvald 2000] и др.). Вопрос о семантической общности источников для классификаторов и лексиче-

ских квантификаторов требует отдельного особого исследования – и у него, видимо, есть перспективы, поскольку, как мы наблюдали на примере корейского и русского языков (см. замечание в разделе 4.1), идея контейнера эксплуатируется и в зоне квантификаторов, и в зоне лексических квантификаторов. Однако в основу такого исследования должны быть положены работы по сопоставительной семантике количественных квантификаторов, а их пока нет: нельзя сказать, богата или, наоборот, бедна представленная в данной работе русская система по отношению к другим языкам мира, а главное – насколько универсальны те классы семантических источников, или, как их еще называют, доноров, которыми пользуется русский язык при грамматикализации. В частности, пока не изучен и класс количественных квантификаторов в языках с классификаторами. На эту тему мы предприняли небольшое предварительное исследование соответствующего корейского материала, результаты которого сообщим здесь кратко – как фон к изложенным фактам русского языка.

Согласно нашим данным, в русском языке семантическая зона квантификаторов разработана гораздо подробнее, чем в корейском: в русском, как мы видели, донорами могут служить десятки слов, в корейском же их единицы, причем грамматикализованы они в более слабой степени.

Если брать зону большого количества, то и в том, и в другом языке в соответствующем списке фигурируют слова со значением ‘куча’ (*temi: chayk-temi* ‘куча книг’, *pic-temi* ‘куча долгов’) и ‘море’ (*pata: sulphum-uy pata* ‘море горя’), но корейское ‘куча’ в основном используется для «счета» денег, кроме того (в отличие от русского) *temi* способно сочетаться, правда, в ярко метафорических контекстах, с названиями огня и даже воды. Корейский квантификатор ‘море’ довольно близок к русскому, если судить по его сочетаемости: как и в русском, он применим к огню, цветам, любви, информации, фантазии, но, в отличие от русского, также и к шуму, темноте, истине. Число квантификаторов со значением малого количества в корейском и русском вполне сопоставимо и заведомо не превышает десятка, однако здесь никаких семантических пересечений нет. Если в русском наиболее продуктивны *горсть / горстка, капля / капелька, крошка, кучка*, то в корейском – квантификаторы со значением ‘гной глаза’ (*nwunkkor*), ‘ноготь’ (*sonthop*), ‘хвост мыши’ (*cwikkoli*), ‘пыль’ (*thikkul*).

Вместе с тем, и в том, и в другом языке для квантификаторов малого количества высока роль отрицательных контекстов, ср. русск. *ни капли, ни крошки* или «квазиотрицательное» *хоть горстку, лишь капельку* и под., тогда как для квантификаторов большого количества они неестественны, ср. **ни бездны проблем* или ?? *одну только лавину людей* (см. замечание в разделе 1). В этом отношении любопытно, что корейское *thikkul* ‘пыль’ в отрицательных контекстах выступает в значении малого количества, а в положительных – в значении большого количества (которое, правда, используется в текстах определенной тематики, в частности, религиозной) – значение малого количества возникает за счет мельчайшего размера частиц пыли, а значение большого количества – из идеи бесчисленного множества таких частиц, ср. (60–61):

(60) *na-eykey-nun thikkul mankhum-uy huymang-to epsessta*
я-EXPR-NOM пыль как-REL надежда-даже нет:PAST:ASSERT
‘У меня не было ни малейшей надежды’ (букв.: ‘даже как пыль’)

(61) *ney hwuson-un ttang-uy thikkul mankhum pwulena*
твои потомки-NOM земля-GEN пыль как расширяться:CONJ
tongsenampwuk-ulo nelli phecilkesita
четыре:стороны-DIR шире распространяться:FUT:ASSERT
‘твои потомки будут процветать, распространяясь во всем мире’
(букв. ...распространяться шире на четыре стороны, множась как пыль)

Справедливости ради нужно отметить, что в последнем случае *thikkul* ‘пыль’ употребляется в наречной, а не определительной функции, но наречная функция и вооб-

ще характерна для корейских квантификаторов. Например, если корейскому квантификатору со значением 'море' свойственны только определительные конструкции, соответствующие русским генитивным, – как в *море огня*, то квантификатор со значением 'хвост мыши' выступает как в определительных, так и в наречных конструкциях, а корейский квантификатор 'ноготь' – только в наречной.

Распространенность наречной функции в корейском заставила нас задуматься о ее русском аналоге. Видимо, ближайшим аналогом здесь является постпозитивная предикативность, ср. употребления типа: *Молока надоили – пропасть!* Такого рода постпозитивные конструкции можно было бы квалифицировать как «количественную топиализацию» – обратим внимание, что в русском она возможна далеко не со всеми квантификаторами, ср.: *проблем – бездна, вещей – груда, дел – куча / море / прорва / туча*, но: *Трагический случай породил лавину разговоров* ⇒ ?? *Разговоров породил – лавину*. В то же время, синтаксически количественная топиализация отличается от корейского варианта тем, что в корейском речь идет о наречной функции, которая русским квантификаторам, «помнящим» свое именное прошлое, в общем, чужда. Хотя в русском есть и свои наречные квантификаторы, но фразеологические, ср., например, для малого количества, *с гулькин нос* или *кот наплакал*.

Как кажется, данный небольшой сопоставительный фрагмент дает представление и о дальнейшей программе действий, которая могла бы быть предпринята в плане типологического обследования лексических квантификаторов в языках мира на базе описанной системы русского языка, и о степени сложности задач на этом пути, и о том, насколько захватывающе интересны могут быть результаты выполнения такой программы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1986 – Ю.Д. Апресян. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 28. 1986 (перепечатано в [Апресян 1995]).
- Апресян 1995 – Ю.Д. Апресян. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Ю.Д. Апресян. Избранные труды. Т. II: Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Арутюнова 1976 – Н.Д. Арутюнова. Предложение и его смысл. М.: Наука, 1976.
- Баранов, Добровольский 2007 – А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский. Аспекты теории фразеологии. М., 2007.
- Левонтина 2004 – И.Б. Левонтина. Словарные статьи *куча, гора, груда, ворох и кипа* // Ю.Д. Апресян (ред.). Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004.
- Ли Су-Хён 2005 – Ли Су-Хён. Когнитивный анализ русских конструкций с именными квантификаторами: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2005.
- Ли Су-Хён, Рахилина 2005 – Ли Су-Хён, Е.В. Рахилина. Количественные квантификаторы в русском и корейском: моря и капли // Н.Д. Арутюнова (ред.). Квантификативный аспект языка. М., 2005.
- Ляшкевич 1985 – А.И. Ляшкевич. Именные сочетания со значением метафорического количества. Минск, 1985.
- Майсак 2005 – Т.А. Майсак. Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции. М., 2005.
- Мишулова 1968 – Г.И. Мишулова. Существительные с количественным значением в современном русском языке: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1968.
- Перетяцько 1972 – Т.П. Перетяцько. Лексические средства обозначения неопределенно-большого количества предметов: Дис. ... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1972.
- Плунгян 2000 – В.А. Плунгян. Общая морфология: Введение в проблематику. М., 2000.
- Рахилина 2000а – Е.В. Рахилина. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М., 2000.
- Рахилина 2000б – Е.В. Рахилина. «Стой, кто идет?» // Слово в тексте и в словаре: Сб. статей к 70-летию акад. Ю.Д. Апресяна. М., 2000.

- Рахилина 2004 – *Е.В. Рахилина*. Контейнер и содержимое в русском языке: наивная топология // Языковые значения: Методы исследования и принципы описания (памяти О.Н. Селиверстовой). М., 2004.
- Рахилина 2007 – *Е.В. Рахилина*. Типы метафорических употреблений глаголов плавания // Т.А. Майсак, Е.В. Рахилина (ред.). Глаголы движения в воде: лексическая типология. М., 2007.
- Тихонова 1971 – *М.Ю. Тихонова*. Лексико-фразеологическая микросистема 'много' в современном русском языке: Дис. ... канд. филол. наук. Самарканд, 1971.
- Успенский 1979 – *В.А. Успенский*. О вещных коннотациях абстрактных существительных // Семиотика и информатика. 1979. Вып. 11 (перепечатано в: Семиотика и информатика. 1997. Вып. 35).
- Aikhenvald 2000 – *A.Y. Aikhenvald*. Classifiers: a typology of noun categorization devices. Oxford, 2000.
- Borschev, Partee 2004 – *V.B. Borschev, B.H. Partee*. Genitives, types, and sorts // Ji-Yung Kim, Y.A. Lander, B.H. Partee (eds.). Possessives and beyond: semantics and syntax. Amherst (MA), 2004.
- Bourdin 1997 – *Ph. Bourdin*. On goal-bias across languages: modal, configurational and orientational parameters // B. Palek (ed.). Proceedings of LP'96. Typology: prototypes, item orderings and universals. Prague, 1997.
- Cadiot 1994 – *P. Cadiot*. Représentations d'objets et sémantique lexicale: qu'est-ce qu'une boîte? // French language studies. № 4. 1994.
- Corbett 1991 – *G.G. Corbett*. Gender. Cambridge, 1991.
- Dönninghaus 2001 – *S. Dönninghaus*. Море людей и пропасть цветов. Метафоры неопределенного количества // А. Киклевич (ред.). Количественность и градуальность в естественном языке. München, 2001.
- ICLC 2005 – *Lee Su Hyoun, E.V. Rakhilina*. MORE IS UP? More kinds of more: Evidence from Russian and Korean // IX-th International cognitive linguistic conference. Seoul, 2005.
- Fauconnier 1997 – *G. Fauconnier*. Mappings in thought and language. Cambridge, 1997.
- FASL 2005 – *Lee Su Hyoun*. The nominal quantitative construction in Russian // Formal approaches to Slavic linguistics. 13. Ann Arbor (MI), 2005.
- Fillmore 1983 – *Ch.J. Fillmore*. How to know whether you're coming or going // G. Rauh (ed.). Essays on deixis. Tübingen, 1983.
- Franckel, Paillard 1997 – *J.-J. Franckel, D. Paillard*. Les emplois temporels des prépositions: le cas du *sur* // A. Borillo et al. (eds.). Variations sur la référence verbale, 199–211 (Cahiers Chronos 3). 1997.
- Heine, Kuteva 2002 – *B. Heine, T. Kuteva*. World lexicon of grammaticalization. Cambridge, 2002.
- Hopper, Traugott 2003 – *P. Hopper, E. Traugott*. Grammaticalization. Cambridge, 1993.
- Ikegami 1987 – *Y. Ikegami*. 'Source' vs. 'goal': A case of linguistic dissymmetry // R. Dirven, G. Raden (eds.). Concepts of case. Tübingen, 1987.
- Lakoff 1987 – *G. Lakoff*. Women, fire and dangerous things: What categories reveal about the mind. Chicago, 1987.
- Lakoff, Johnson 1980 – *G. Lakoff, M. Johnson*. Metaphors we live by. Chicago, 1980. [русск. пер.: Дж. Лакофф, М. Джонсон. Метафоры, которыми мы живем. М., 2004].
- Lakoff, Johnson 1999 – *G. Lakoff, M. Johnson*. Philosophy in the flesh: the embodied mind and its challenge to western thought. New York, 1999.
- Langacker 1987 – *R. Langacker*. Foundations of cognitive grammar. V. 1: Theoretical prerequisites. Stanford, 1987.
- Langacker 1991 – *R. Langacker*. Concept, image and symbol: The cognitive basis of grammar. B., 1991.
- Lee 2000 – *H.S. Lee*. The understanding of grammaticalization theory // Cognitive linguistics. Seoul, 2000.
- Michaelis 2006 – *L.A. Michaelis*. Construction grammar // K. Brown (ed.). The encyclopedia of language and linguistics. 2-e ed. V. 3. Oxford, 2006.
- Partee 1986 – *B. Partee*. Noun phrase interpretation and type-shifting principles // J. Groenendijk, D. de Jongh, M. Stokhof (eds.). Studies in discourse representation theory and the theory of generalized quantifiers. Dordrecht, 1986.
- Partee 2007 – *B. Partee*. Compositionality and coercion in semantics: The dynamics of adjective meaning // G. Bouma et al. (eds.). Cognitive foundations of interpretation. Amsterdam, 2007.
- Rakhilina 2003 – *E.V. Rakhilina*. The case for Russian genitive case reopened // W. Browne et al. (eds.). Formal approaches to Slavic linguistics: The Amherst meeting 2002. Ann Arbor, 2003.
- Vandeloise 1994 – *C. Vandeloise*. Methodology and analyses of the preposition // Cognitive linguistics. 1994. № 5.2.

© 2009 г. А.Б. ЛЕТУЧИЙ

ТИПОЛОГИЯ ЛАБИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ

В статье предлагается типология лабильных глаголов (т.е. глаголов, способных выступать как переходные или как непереходные без изменения формы). Рассматриваются деривативная, синтаксическая и семантическая классификации лабильных глаголов, и там, где это возможно, формулируются закономерности распределения лабильных глаголов по языкам различных ареалов и отмечается связь лабильности с другими особенностями грамматики языков (в частности, с системой показателей актантной деривации и типом маркирования актантов глагола). Наиболее подробно рассматриваются взаимоотношения лабильных глаголов с показателями каузатива и дскаузатива. Наконец, выдвигается и иллюстрируется примерами гипотеза о функции лабильности в языковой системе: предлагается считать, что лабильность служит для объединения сходных значений в рамках одной глагольной лексемы.

ВВЕДЕНИЕ

В данной статье излагаются основные параметры типологии лабильных глаголов — глаголов, способных выступать как переходные или как непереходные без изменения формы: ср., например, англ. *break* 'ломать(ся)'¹. Лабильные глаголы еще с работы [Чикобава 1942] включены в круг явлений, связанных с переходностью, однако исследованы гораздо слабее, чем каузатив или декаузатив. В частности, единственным монографическим исследованием является диссертация [Полинская 1986], учитывающая только материал эргативных языков. Следовательно, необходимо построение типологии лабильных глаголов.

В своей работе мы рассмотрим несколько аспектов типологии лабильности. Во-первых, как мы покажем, лабильные глаголы весьма неоднородны, поэтому необходима классификация по разным основаниям (мы укажем три таких основания).

Во-вторых, существенно, каким образом лабильность взаимодействует с другими грамматическими характеристиками того или иного языка, лучше описанными в типологической перспективе. Мы попытаемся ответить на вопрос, для каких языков наиболее характерна развитая лабильность.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАБИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ

Прежде всего, покажем, на какие классы делятся лабильные глаголы в языках мира. Мы рассмотрим классификацию лабильных глаголов по семантическому соотношению между употреблениями, по семантическому классу глагола и по синтаксическим свойствам употреблений.

1.1. Деривативная классификация

Наиболее естественной кажется классификация лабильных глаголов на основаниях семантического соотношения между употреблениями. Мы называем ее деривативной, поскольку при классификации за основу берется соответствующая маркированная ак-

¹ Исследование проведено при поддержке гранта РГНФ 08-04-00191а.

тантная деривация (например, каузатив или рефлексив): выделяются следующие типы²:

1. каузативный: древнегреч. *bainō* 'идти/вести', лезгинский (нахско-дагестанский) *q'in* 'умереть/убить', франц. *casser* 'разбить(ся)'³;
2. рефлексивный: хваршинский (нахско-дагестанский) *esanho* 'мыть(ся), умыть(ся)';
3. реципрокальный: эст. *suudlema* 'целовать(ся)';
4. конверсивный: болг. *харесвам* 'любить/нравиться';
5. пассивный: кабийский (берберский) *mDl* 'погребать/быть погребенным', бамана (манде) *sègin* 'вернуться/быть возвращенным'.

Их типологическая частотность иллюстрируется следующей иерархией:

каузативный > рефлексивный, конверсивный > реципрокальный > пассивный

Несложно видеть, что классификация действительно изоморфна классификации залогов и актантных дериваций, выражающихся в том или ином языке с помощью показателей, где также выделяются маркированные каузатив, рефлексив, реципрок и пассив. Тем интереснее два различия между классификациями дериваций и лабильных глаголов:

- особо выделяется конверсивный тип лабильности
- пассивный тип лабильности распространен значительно слабее маркированного пассива.

Конверсивный тип (см. о понятии конверсива в [Мельчук 1995]) выделяется потому, что некоторые глаголы: например, болгарского *харесвам* 'любить/нравиться', французского *agréer* 'принимать/нравиться' или английского *smell* 'пахнуть/нюхать' – сложно отнести к какому-либо другому типу. В отличие от каузативной лабильности, ни один из членов этих пар не является каузативом от другого. Основное отличие состоит в том, что оба употребления имеют два семантических актанта – экспериенцер и стимул.

С другой стороны, нельзя здесь говорить и о пассивном типе, поскольку ситуация не включает прототипического агенса или пациенса (прототипический пассив, как известно, образуется именно от глаголов, имеющих агентивный и пациенсивный актанты).

Интересен вопрос о собственно пассивном типе лабильности: он наблюдается, в основном, в языках Африки и в немногочисленных языках других ареалов. В работах [Haspelmath 1993a] и [Daniel et al. (в печати)] отсутствие таких глаголов объясняется с помощью понятия *агентивно-ориентированного компонента*.

Агентивно-ориентированные компоненты семантики глагола – это, согласно определению [Haspelmath 1993a], такие компоненты, которые требуют участия в ситуации агенса. Например, ситуации 'мыть' или 'бить' немыслимы без агенса, поскольку подразумевают определенные движения рук субъекта. М. Хаспельмат считает, что такие компоненты объясняют в равной мере отсутствие декаузативов типа *мыться* 'быть

² В статье мы не рассматриваем так называемую А-лабильность в терминах [Кибрик и др. 2000] (тип *S = A* в терминах [Dixon 2000]), при которой в обоих употреблениях субъектом является агенс, а пациенс присутствует только в переходном употреблении: например, *Маша ест кашу / Маша сейчас ест*, прочие соотношения переходного и непереходного употреблений мы рассматриваем как лабильность.

³ В данной работе мы не рассматриваем вопрос об исходности непереходного или переходного употребления для каузативно-лабильных глаголов. Скажем лишь, что встречаются оба типа случаев: ср. исходное *непереходное* употребление для русского глагола *оттаивать*, в разговорной речи употребляющегося как лабильный (*Мясо оттаяло / Я оттаиваю мясо*), и исходное *переходное* для французского глагола *casser* 'разбить(ся)' (см. [Greimas 1992; 2001]).

помытым' или лабильности типа 'мыть/быть помытым'. В действительности применимость этого понятия различна для разных типов оппозиций.

Действительно, невозможность декаузативации типа **мыться* 'быть помытым' хорошо объясняется тем, что глагол *мыть* включает агентивно-ориентированные компоненты. Декаузатив – это деривация, создающая из глагола с субъектом-агентом производный, обозначающий безагентный вариант той же ситуации. Естественно, если ситуация по смыслу не допускает такого варианта, деривация с ней несовместима.

Сложнее обстоит дело с парами, где маркирован каузативный глагол. Представим себе, что существует некоторый непродеривированный глагол со значением 'быть помытым', 'мыться кем-л.' с субъектом-пациентом и агентом, выраженным периферийной именной группой. Смысл каузативации не требует отсутствия агента у исходного глагола: иначе было бы невозможно образование каузатива от глаголов типа 'бежать' или 'убивать', что явно не так. Следовательно, вполне можно представить себе каузатив типа 'заставить быть помытым кем-л./собой' (т.е. 'помыть', аналогично каузативам типа 'рассердить кого-л.' от непродеривированных глаголов со значением типа 'рассердиться на кого-л.'). Не вполне ясно, почему такие каузативы не образуются – потому ли, что каузатив обычно не сочетается с такого рода исходными глаголами (что требует дополнительного объяснения) или же просто потому, что непродеривированных глаголов типа 'быть помытым' просто нет. Более вероятным кажется второе: тогда отсутствие пар типа 'быть помытым/помыть (каузатив)' обусловлено свойствами глагольного словаря, а не каузативной деривации. Заметим, что от пассивных дериватов каузативы иногда образуются: ср. кирг. (тюркский) *шыюй* 'перевязывать' – *шыюйюл* 'быть перевязанным' – *шыюйюлт* 'перевязывать', то есть на образование каузатива от пассивного деривата языковая система не налагает абсолютного запрета – хотя типологически это явление редко.

И наконец, с о в с е м не срабатывает объяснение М. Хаспельмата в случае лабильности. Действительно, если допустить, что немаркированные "декаузативы" (т.е. декаузативно-лабильные глаголы) имеют те же ограничения на сочетаемость, что и маркированные, легко объяснить, почему не существует к а у з а т и в н о - л а б и л ь н ы х глаголов типа 'мыть/быть помытым'. Но наличие глаголов типа *kiss* 'целовать(ся)' или *wash* 'мыть(ся)' показывает, что лабильность не исчерпывается каузативным типом – в языках мира мы находим немаркированные реципроки типа *kiss* и рефлексивы типа *wash* в непереходных употреблениях. Почему же так редко встречаются немаркированные пассивы – почему в английском языке нет, например, глагола типа *put* 'класть/быть положенным'?

Сложность состоит в том, что в случае лабильных глаголов невозможно по формальным основаниям отделить декаузативную лабильность от пассивной, как мы отделяем сегментный маркер каузатива от маркера пассива. Формально все лабильные глаголы в каждом языке идентичны и, строго говоря, невозможно априори решить, являются два из них (например, *kiss* и *break*) разными явлениями или одним и тем же.

Поэтому считать лабильность немаркированной параллелью к декаузативу неточно: лабильность – скорее параллель к системе маркеров актантной деривации в целом. Следовательно, лабильность типа 'убить/быть убитым' вполне могла бы существовать как немаркированный пассив – параллель к *маркированному пассиву* типа русского *быть убитым*. Тем самым, редкость пассивного типа лабильности выводится не из свойств инхоативно-каузативных семантических пар, описанных М. Хаспельматом, а из общих свойств *немаркированных дериваций*. К возможному объяснению мы перейдем в части "Мотивация лабильности".

Ниже мы кратко рассмотрим каждый из деривативных типов.

1.1.1. Каузативный тип

Каузативный тип лабильности наиболее распространен в языках мира. Он присутствует практически во всех ареалах, где есть лабильные глаголы, в том числе в таких, как Америка, где их в целом немного.

Почти во всех случаях каузативный тип является основным для языка. Он затрагивает наибольшее количество глаголов: ср., например, такие языки, как олутек (мише-соке, америндские), сикуани (гуахибские, америндские) (*paĩkota* 'просыпаться/будить'), французский (*casser* 'разбить(ся)'), русский (*лить: лить воду / вода льет из крана*) и другие европейские, нахско-дагестанские (авар. *бекизе* 'разбивать(ся)'), абхазо-адыгские, папуасские (см. пример (3) из языка харачуу) и пр.:

Адыгейский⁴ (абхазо-адыгский):

- (1) a. *se wəne-m sə-qe-na-ɸ*
 я дом-ERG 1SG.S-DIR-ОСТАВИТЬ-PST
 'Я остался дома';
- b. *sabəj-əm žegwəwe-xe-r wəne-m qə-r-jə-na-ɸ*
 ребенок-ERG игрушка-PL-ABS дом-ERG DIR-LOC-3SG.A-ОСТАВИТЬ-PST
 'Ребенок оставил игрушки дома'.

Олутек (мише-соке):

- (2) a. *0 = jik-pa* *seme* *tuk*
 B3(ABS)=become_dirty-INCOMPL very one
 'Он очень сильно пачкается';
- b. *?i = jik-pe* *kay + an*
 A3(ERG)=make_dirty-INCOMPL food
 'Он пачкает еду' [Zavala 2000: 78].

Харачуу (новокаледонский, австронезийский):

- (3) a. *kwii bechâ*
 веревка развязаться
 'Веревка развязывается';
- b. *pă bechâ kwii gè nâ*
 я развязать веревка POSS 1SG
 'Я развязываю свои веревки' (т.е. 'Я высвобождаюсь') [Moysse-Faurie 1995].

Тем не менее, встречаются и исключения. В берберском кабийском языке встречаются, в основном, пассивно-лабильные глаголы. В языке-изоляте Южной Америки трумай встречается лабильность каузативного, пассивного и рефлексивного типа, причем ни один из типов нельзя однозначно назвать основным (америндские языки явно отдают предпочтение каузативному типу). В алюторском языке среди лабильных глаголов преобладают рефлексивные (см. (8)), а в чукотском рефлексивный и декаузативный типы распространены примерно одинаково (см. [Инэнликэй, Недялков 1967]).

Особым подтипом языков, где преобладают другие классы, являются системы с продуктивным немаркированным реципроком и рефлексивом (например, шокшинский эрзянский (финно-угорский)⁵, инуит (эскимосско-алеутский), о которых мы скажем ниже.

⁴ Хакасские и адыгейские данные собраны автором, а также другими участниками хакасских (2001–2002) и адыгейских (2003–2007) экспедиций РГГУ. Арабские данные получены в ходе работы с материалами арабских газет в сети Интернет.

⁵ Данные шокшинского эрзянского языка взяты из доклада В.А. Иванова и Е.В. Федько «Особенности выражения рефлексивной ситуации и синтаксическое поведение рефлексивов в шокшинском диалекте эрзянского языка» на Третьей конференции типологии и грамматике для молодых исследователей (СПб., 2006).

Некоторое отличие лабильных каузативных глаголов от маркированных каузативов заключается в способности к лабильности глаголов типа глагола *sáxas* 'кидать, падать споткнувшись' в арчинском языке нахско-дагестанской семьи (аналогичный случай представляет глагол юто-ацтекского языка пипил *ixkwera* 'выбрасывать, сбрасывать, проливать', тоже имеющий переходное употребление с агентивным компонентом семантики: *i:xkwer-ki* 'это просыпалось', *k-i:xkwer-ki* 'он это просыпал', 'он это кинул') [Campbell 1985].

Еще более необычен глагол *kwi'ra* 'бить, жалить; падать' в юто-ацтекском языке чемехуви (см. [Press 1980]), поскольку его переходное и непереходное употребления нетривиально соотносятся семантически.

Однако гораздо более существенным является свойство, которое можно назвать *расщепленной характеристикой партиципантов*. Поскольку каузативная деривация предполагает добавление к ситуации дополнительного участника или подситуации (см. [Pylkkänen 2002; Лютикова и др. 2006] и др. о формальном представлении каузативных ситуаций), по умолчанию считается, что семантические свойства (в частности, семантическая роль) исходного субъекта не должны меняться, например:

Хакасский (тюркский):

- (4) a. svet üs-š'e
свет гаснуть-PRS
'Свет гаснет';
- b. paba-m svet üz-ir-š'e
отец-1SG свет гаснуть-CAUS-PRS
'Мой отец гасит свет'.
- (5) a. pala vino is-ken
ребенок вино пить-PST
'Ребенок выпил вино';
- b. îže-zy pala-zy-na vino is-t(y)r-gen
мать-3SG ребенок-3SG-DAT вино пить-CAUS-PST
'Мать заставила ребенка выпить вино'.

Каузатив не меняет способ участия субъекта в исходной, вложенной ситуации: например, в (4) субъект является пациентивным и в исходной, и в каузативной конструкции. Напротив, в (5) агентивный субъект исходного глагола и в каузативной конструкции сознательно совершает действия, которые называются 'пить вино' (несмотря на то, что желания их совершать у него нет).

Однако русские глаголы типа *лить*, *катить*, французский *descendre* 'спускаться' и др. нарушают данное правило. Ср., например:

Русский:

- (6) a. Я лью воду в кастрюлю.
b. Из трубы льёт вода.
c. Из крана в кастрюлю льётся вода.
d. ??? Из крана в кастрюлю льёт вода.

Пару употреблений лабильного глагола *лить* составляют (6a) и (6b). Непереходное употребление, по суждениям носителей, употребляется при сильном и неконтролируемом (часто даже неожиданном для наблюдателя) движении воды. В подобных ситуациях вода утрачивает одну из характеристик прототипического пациенса: ее движение не контролируется извне, участник ситуации автономен от внешних сил. С другой сто-

роны, (6с) и (6d) показывают, что при контролируемом движении воды возвратный дериват *литься* не может быть заменен немаркированным *лить*.

Аналогичным образом, *катить* при непереходном употреблении обозначает только агентивное движение человека на транспортном средстве или самого транспортного средства. С другой стороны, употребление с пациентивным субъектом типа *по дороге катит мяч* неграмматично. То же самое верно для французского глагола *descendre*.

Следовательно, при непереходном употреблении глаголов типа *лить* субъект является все же несколько менее пациентивный, чем объект при переходном употреблении. Это необычное соотношение употреблений обусловлено упорядочиванием актантов: при переходном, но не при непереходном употреблении имеется более агентивный актант, оказывающий на пациенс воздействие. При непереходном употреблении, где внешняя сила отсутствует, часть агентивных свойств (а именно, автономность) принимает единственный актант.

Кроме того, данное явление связано с общей мотивацией лабильности: одна из возможных мотиваций лабильности глагола – сходство синтаксических субъектов двух употреблений: оба употребления глагола *лить* имеют автономный субъект – в отличие от глагола *литься*, субъект которого – прототипический пациенс.

1.1.2. Рефлексивный тип

Рефлексивный тип распространен существенно меньше, чем каузативный. В частности, в отличие от каузативного, распределение рефлексивного подтипа нельзя жестко сформулировать в терминах ареалов. Ареала, где в большинстве или во всех языках имелись бы рефлексивно-лабильные глаголы, не существует.

Тем не менее и этот тип глаголов присутствует во многих разноструктурных языках, таких, как английский, некоторые нахско-дагестанские⁶, алюторский, шокшинский эрзянский, инуит:

Хваршинский (нахско-дагестанский):

(7) a. da esan.ho

я.ABS мыть.ITER

‘Я моюсь’;

b. de esan.ho litoaba

я.ERG мыть.ITER рука.PL

‘Я мою руки’ [Имнайшвили 1963].

Алюторский (чукотско-камчатский):

(8) a. ʏəmmə tə-tivla-tkən

я.NOM 1SG.S-выбивать_палкой-IPF

‘Я отряхиваюсь (палкой)’;

b. ʏəm-nan tə-tivla-tkə-n

nalʏə-n

я-ERG 1SG.A-выбивать_палкой-IPF-3SG.P шкура-ABS

‘Я выбиваю палкой шкуру’ [Кибрик и др. 2000].

⁶ Рефлексивная лабильность в нахско-дагестанских языках составляет проблему для гипотезы В. Дроссарда [Drossard 1998], согласно которой А-лабильность редка в эргативных языках, тогда как Р-лабильность (лабильность, сохраняющая пациентивный аргумент в обоих употреблениях, например, *The cup broke* ‘Чашка разбилась’ / *I broke the cup* ‘Я разбил чашку’) в таких языках частотна. Если считать рефлексивную лабильность подклассом А-лабильности, то данный подкласс довольно частотен в эргативных языках.

Инуит (эскимосско-алеутский):

- (9) a. *taku-vaa*
видеть-3SG + 3SG
'Он его видит';
b. *taku-vuq*
видеть-3SG
'Он себя видит' [Bok-Bennema 1991].

Особый подтип представлен в языках инуит и шокшинском эрзянском: хотя рефлексив в примере (9) не обозначается особым маркером, глагол в рефлексивном и переходном употреблении различается типом личного показателя (ср. показатель третьего лица агенса и пациенса в (9a) и показатель третьего лица субъекта непереходного глагола в (9b)).

С другой стороны, рефлексивные глаголы не встречаются в языках Центральной и Южной Европы (славянских, романских, греческом), языках Америки и Африки.

Давно отмечена типологическая семантическая и формальная близость показателей рефлексива и реципрока (так, в [Nedjalkov 2007: 17] рефлексивно-реципрокальная полисемия причисляется к главным типам полисемии показателей взаимности). Однако рефлексивная лабильность присутствует в некоторых языках, где реципрокального подтипа нет. Прежде всего, это некоторые нахско-дагестанские языки: вероятно, рефлексивное значение лабильного глагола в них вторично по сравнению с имперсональным ('Мать моет (нечто)' → 'Мать моет себя'). Однако та же имперсональная конструкция не получает реципрокального прочтения. Точно так же обстоит дело в языке-изоляте Южной Америки трумай: опущение агенса может в нем иметь рефлексивное, но не взаимное прочтение:

Трумай (изолят):

- (10) a. *hai-ts Atawaka tīchī*
я-ERG Атавака испугать
'Я испугал Атаваку';

- b. *Atawaka tīchī*
Атавака испугать
'Атавака сам себя испугал' [Guirardello 1999: 344], аналогичный пример во множественном числе не имеет значения 'Они друг друга испугали'.

Такое различие между показателями дериваций и системами лабильных глаголов связано, видимо, с тем, что при лабильности рефлексив не является отправной точкой для реципрока. Скорее рефлексивное значение само по себе является результатом переосмысления имперсонального (так, предложение (9b) может также значить 'Он видит (он зрячий)'). В то же время имперсональные предложения обычно не переосмысляются как реципрокальные.

Как правило, класс рефлексивно-лабильных глаголов весьма узок и ограничивается выделенными в работе [Kemmer 1980] так называемыми глаголами «ухода за телом» (ср. англ. *comb* 'причесывать(ся)', *wash* 'мыть(ся)', *shave* 'брить(ся)'). Это правило нарушается только в языках типа инуит и шокшинского эрзянского, где за каждое прочтение отвечает свой тип аффиксов. Языки такого типа позволяют сформулировать следующее правило:

чем большую систему разграничения употреблений лабильного глагола имеет язык, тем вероятнее развитая лабильность⁷.

⁷ Впрочем, это лишь тенденция, которая соблюдается не стопроцентно. К примеру, языки Южной Америки, часто имеющие «переходный» и «непереходный» типы спряжения, не склонны к лабильности.

Сразу отметим, что в эргативных языках пассивный тип лабильности, по-видимому, отсутствует. То, что можно было бы считать случаями пассивной лабильности типа 'Человек убил собаку'/'Собака была убита', на самом деле, как показано в [Haspelmath 1993b; Kibrik 1996], таковой часто не является: так, в годоберинском, лезгинском и других нахско-дагестанских языках переходные глаголы допускают опущение агенса с обобщенно-личным значением типа 'Его убили'. При этом глагол остается переходным, то есть о лабильности говорить нельзя. Напротив, в аккузативных языках пассивную лабильность выделить гораздо легче. Если при употреблении типа 'Собака была убита' пациент является синтаксическим субъектом, речь идет о непереходном употреблении.

В частности, в языке бамана семьи манде имеется большой класс пассивно-лабильных глаголов:

Бамана (манде)

- (12) a. syémà yé sòlimaden-w sègin só
 ответственный инициированный-PL вернуть дом
 'Ответственный (человек) вернул инициированных домой';
- b. sòlimadén-w sègin-na só syémà f'ε
 инициированный вернуться-COMPL дом ответственный PP
 'Инициированные были возвращены домой ответственным лицом'
 [Vydrine 1994].

Пример (12b) показывает, что при пассиве в бамана допускается выражение агенса с помощью послеложной группы.

Однако куда более распространены лабильные глаголы, которые в непереходном употреблении являются к в а з и п а с с и в а м и. От собственно пассивов их отличает невозможность выражения агенса в предложениях типа (13b), в противоположность (14):

Берберский кабийский:

- (13) a. mDl-n t ukSar
 погребать-3PL.M его внизу
 'Они погребли его внизу';
- b. ugi-n ad y-mDl ukSar
 отказываться-3PL.M IRREAL 3SG-погребать внизу
 'Они не хотели, чтобы он был погребен внизу' [Chaker 1983: 294].

- (14) y-Tw-aDfr s wuŠn
 3SG-PASS-преследовать от шакал
 'Его преследовал шакал' (букв. 'Он был преследуем шакалом') [Chaker 1983: 312].

Другой близкий к пассивному подтип – стативно-лабильные глаголы, которые в непереходном употреблении являются стативными. Естественным образом, в этом употреблении агент отсутствует, поскольку результирующее состояние им уже не контролируется.

Сонгай (нило-сахарский?):

taka 'создавать (о Боге) / быть созданным (Богом)';
husu 'быть проклятым / проклинать'.

Большинство лабильных глаголов языка харачуу тоже являются рефлексивно- или стативно-лабильными.

Сказанное выше позволяет сформулировать следующую тенденцию:

Пассивно-лабильные глаголы встречаются в языках с бедной глагольной морфологией.

Действительно, все упомянутые африканские языки, а также харачуу, не обладают развитыми системами морфологических показателей.

Данное правило неверно для стативно-лабильных глаголов позиции типа 'висеть / вешать': данный тип лабильности встречается в языках самых разных типов при глаголах **положения в пространстве** типа 'висеть/вешать': ср. исп. *colgar* 'висеть/вешать'.

1.2. Семантическая классификация

Как мы показали, деривативная классификация фиксирует соотношение между употреблениями глагола. Однако не менее важна классификация по семантике лабильных глаголов как таковых, по семантическим классам глаголов.

Наиболее склонны к лабильности следующие классы глаголов⁸:

i. фазовые глаголы

ii. глаголы движения

а) агентивные

б) пациентивные

iii. глаголы звукопроизводства

iv. прототипически переходные глаголы (напр., глаголы деструкции)⁹

В литературе, как правило, рассматривался именно класс (iv). Это связано с тем, что вообще при изучении проблем, связанных с переходностью, наибольшее внимание привлекает класс прототипически переходных глаголов. Тем не менее, численно лабильные глаголы этого класса не превосходят остальные. Впрочем, имеются системы, где этот класс является основным: как будет показано ниже, это прежде всего кавказские языки с эргативной конструкцией предложения.

Глаголы движения – основной класс лабильных глаголов в русском (см. [Летучий 2006a]) и древнегреческом языках, также они часто бывают лабильными во французском (*monter* 'поднимать(ся)', *descendre* 'спускаться(ся)'). В других языках присутствуют отдельные представители этого типа.

Глаголы звукопроизводства лабильны, например, в русском и французском языках:

(15) а. *Грянул марш*;

б. *Оркестр грянул туш*.

Французский:

(16) а. *Ce mot sonne bien à l'oreille* 'Это слово звучит приятно';

б. *Le curé a sonné le tocsin* 'Священник ударил в набат'.

Можно заметить, что данные типы преимущественно разбивают на более мелкие подклассы **каузативно-лабильные глаголы**. Безусловно, это не случайно: все остальные деривативные классы более компактны и плохо поддаются делению на

⁸ Отдельно стоит упомянуть глаголы приобретения свойства, в частности, цвета и размера: ср. франц. *grandir* 'увеличивать/расти', *rougir* 'краснеть/краснеть'. Они лабильны во многих европейских языках (французский, испанский), а также в современном иврите. Необычным является то, что зачастую их лабильность связана с их формальными свойствами: словообразовательным типом и производностью от прилагательных.

⁹ Семантическую переходность мы понимаем в духе работ [Hopper, Thompson 1980; Næss 2007]. Это несколько групп семантических характеристик: например, степень контроля субъекта над ситуацией, степень затронутости пациенса или аспектуальные свойства глагола, – которые в тех или иных языках коррелируют с переходной или непереходной моделью управления глаголов и их групп.

подтипы. Однако в случае с глаголами движения и фазовыми глаголами существуют сложности при отнесении к деривативному типу.

Как было показано выше, свойства исходного субъекта не должны меняться при каузативации. Следовательно, глаголы движения типа русского катить (*Машина катит по улице – Мальчик катит мяч по улице*) или французского *descendre* 'спускать(ся)' не совсем подпадают под каузативный тип: в непереходном употреблении субъект движения (например, *машина* при глаголе *катить*) близок по свойствам к агенсу, а в переходном соответствующий ему объект-каузируемый может быть пациентивен. Скорее они попадают в группу автокаузативных дериватов, выделенных в работах Э.Ш. Генюшене [Geniušienė 1987].

Еще сильнее отклоняются от прототипа каузативности фазовые глаголы: в частности, употребления переходных фазовых глаголов типа *Самолет начал падение* явно не обозначают каузацию некоторой ситуации. Более того, в отличие от канонических каузативов, такие употребления имеют пациентивный субъект.

Лабильность фазовых глаголов подробно обсуждается в [Летучий 2005]¹⁰. Фазовые лабильные глаголы характерны, прежде всего, для европейских языков: ср. франц. *commencer* 'начинать(ся)', исп. *comenzar* 'начинать(ся)', румын. *începe* 'начинать(ся)', нем. *anfangen* 'начинать(ся)', серб. *почети* 'начать(ся)', лабильные фазовые глаголы болгарского языка *започвам* 'начинать(ся)', *продължавам* 'продолжать(ся)', *завършвам* 'кончать(ся)'. Однако они встречаются и в других ареалах. В частности, в арабском языке лабильны глаголы *bada'a* и *ibtada'a* 'начинать(ся)'. Даже в тюркских языках, практически не имеющих лабильных глаголов, встречаются лабильные фазовые глаголы.

Семантическая классификация необходима в тех случаях, когда сведений о деривативном типе для описания некоторой системы недостаточно. К примеру, говоря о лабильности в древнегреческом языке, необходимо упомянуть лабильность глаголов движения: ср. *ballō* 'бросать/бросаться, впадать', *bainō* 'идти/вести, заставить идти', *ekregnumi* 'вырывать/вырываться, устремляться', *helaunō* 'гнать/отправляться, доходить до', *аυβ* 'вести/идти (с войском)', *kineō* 'двигать/сниматься с лагеря'. При этом данная система не поддается описанию в терминах деривативных типов: часть из ее лабильных глаголов имеют вторичное непереходное употребление, как *ekregnumi* 'вырывать/вырываться, устремляться', и похожи на немаркированные рефлексивы и автокаузативы. Часть, как, например *baino* 'идти/вести', представляют каузативный тип. Наиболее существенна в данном случае именно характеристика семантического класса.

Как видно на примере фазовых глаголов, глаголов движения и глаголов звукопроизводства, зачастую лабильными являются именно глаголы, отклоняющиеся от прототипа переходности. Это связано с тем, что у таких глаголов, как, например, глаголы движения или фазовые глаголы субъекты двух употреблений близки по своим свойствам: либо они оба неагентивны (ср. фазовые глаголы), либо оба агентивны (ср. глаголы движения типа *погнать*). Лабильность, как мы покажем ниже, часто свойственна глаголам с близкими между собой по свойствам актантами.

1.3. Синтаксическая классификация

Наконец, лабильные глаголы различаются по синтаксическим свойствам употреблений, а именно, по количеству актантов и переходности.

¹⁰ Безусловно, фазовые глаголы представляют собой сложный случай, поскольку их употребления не соотносятся между собой как члены канонической пары 'Р'/'каузатив от Р'. Однако мы считаем возможным включить фазовые глаголы в число лабильных на формальных основаниях, если они имеют непереходное одновалентное употребление типа *Строительство началось* и переходное с объектом в аккумулятиве типа *Рабочие начали строительство*.

Прежде всего, отметим, что определение лабильных глаголов, дававшееся в типологических исследованиях, отличается от того, которое обычно используется в описательных работах (например, по языкам Кавказа [Чикобава 1942; Бокарев 1949; Рогавва, Керашева 1966: 98–99]). Последние, как правило, фиксируют внимание на различии употребления глаголов по переходности. Напротив, первые (а именно на эти работы, например [Haspelmath 1993a; Лютикова 2002], и др. нам бы хотелось опираться) исследуют определенный (чаще всего декаузативный) тип лабильности, не включая в рассмотрение пары типа ‘есть (что-либо)’/‘есть, питаться’.

Различие между данными определениями состоит в том, что из второго из них прямо не следует тип синтаксического различия между употреблениями.

Во-первых, оба употребления могут иметь одинаковую синтаксическую переходность. Даже в работе [Haspelmath 1993a] в число инхоативно-каузативных пар включается пара ‘учить (изучать)’/‘обучать’. Ясно, что очень во многих языках ее члены не различаются по переходности, ср., например:

- (17) а. *Я учу английский* (некаузативный переходный глагол);
 б. *Я учу школьников английскому* (каузативный переходный глагол).

Пара употреблений в (17), несомненно, напоминает употребления лабильного глагола в том смысле, что различие между (17а) и (17б), являющимся семантически каузативом от него, никак не маркируется.

Сходные характеристики имеют болгарский глагол *уча* ‘учить’, а также французский *apprendre* ‘учить’. Оба они являются переходными во всех употреблениях, но похожи на лабильные глаголы в том смысле, что только в одном из употреблений присутствует каузатор. Можно сказать, что они являются лабильными в смысле валентности (добавления дополнительного участника-каузатора), но не в смысле переходности. В целом этот тип развит в болгарском и в древнегреческом языках.

С другой стороны, более редок, но также существует тип, при котором оба употребления глагола непереходны: ср., например:

Турецкий:

- (18) а. *ders başl-ıyor*
 урок начинать(ся)-PRS
 ‘Урок начинается’;
 б. *öğretmen ders-e başl-ıyor*
 учитель урок-DAT начинать-PRS
 ‘Учитель начинает урок’ [Щека 1999].

Как кажется, нет веских оснований отделять случаи типа (17) или (18) от канонической лабильности. Ключевым является объединение в рамках одной лексемы ситуаций, различающихся по количеству и свойствам актантов: например, двухвалентного и трехвалентного в (17), одновалентного и двухвалентного в (18). Выбор модели управления каждого из употреблений в конкретном языке – особая проблема.

В частности, такое расширение понятия лабильности до некоторых непрототипических случаев позволило бы включить турецкий пример в ряд лабильных фазовых глаголов (см. о них в [Летучий 2005]):

Французский: *commencer* ‘начать(ся)’;
 Английский: *finish* ‘закончить(ся)’ и т.д.

Существуют и обратные случаи. У некоторых глаголов употребления различаются по переходности, но не по валентности: ср., например, болгарский глагол *харесвам* ‘любить/нравиться’ и румынский *place* ‘любить/нравиться’:

Болгарский:

- (19) а. Тази момиче не **ме** харесва
 этот.F.SG девушка не я.ACC любить/нравиться.3SG.PRS
 'Эта девушка меня не любит';
- б. Тази момиче не **ми** харесва
 этот.F.SG девушка не я.DAT любить/нравиться.3SG.PRS
 'Эта девушка мне не нравится'.

Румынский:

- (20) а. lui Marin îi place cartea
 DAT Марин CL-PRON-DAT нравится книга
 'Марину нравится книга';
- б. toți au plăcut-o **pe** **на**
 все нравиться.PAST-CL-PRON-ACC P-ACC Ана
 'Ана всем нравилась' (букв. 'Ану все любили') [Caluianu 2000: 158].

В примере (19а) слово 'я' стоит в аккузативе и, следовательно, является прямым дополнением-стимулом переходного употребления. Напротив, в (19b) оно оформлено дативом и является непрямым дополнением-экспериенцером непереходного употребления. В обоих случаях обе именные группы нужно считать актантами глагола: например, ни прямое дополнение в (19а), ни не прямое в (19b) не поддаются опущению без поддержки предшествующим контекстом:

- (21) а. *Тази момче не харесва
 этот.F.SG девушка не любить/нравиться.3SG.PRS
 'Эта девушка не любит/не нравится'.

При этом употребления болгарского и румынского глаголов имеют одинаковое число актантов, в отличие от канонических лабильных глаголов типа *break*.

Такого рода соотношения очень близки к канонической лабильности, но отличаются от нее мотивацией лабильности. В случае декаузативной лабильности типа 'разбить(ся)' или рефлексивной типа 'мыть(ся)' два употребления глагола обозначают две различных, хотя и весьма близких, ситуации. Один из актантов является прототипическим агенсом и занимает место субъекта при переходном употреблении, другой актант, напротив, пациентивен.

При лабильности типа румын. *place* 'любить/нравиться', фр. *agréer* 'быть приятным/нравиться', болг. *харесвам* 'любить/нравиться' сложно усмотреть различие в семантике ситуаций, обозначаемых употреблениями. Разница заключается только в степени выделенности одного или другого актантов¹¹. Оба актанта не являются прототипическими агенсами и конкурируют за право быть субъектами. Выбор субъекта, тем самым, зависит именно от выделенности участников.

Конверсивный тип свидетельствует о том, что связь лабильности как немаркированной деривации и синтаксического варьирования переходности – не прямая. Ключевой является способность глагола выступать в двух конструкциях: с субъектом-стиму-

¹¹ Сформулировать эту зависимость более точно можно только на материале больших корпусов текстов. Тем не менее, ясно, что при одушевленном и сильно выделенном стимуле используется часто непереходная модель. Вопрос о выделенности экспериенцера, возможно, менее осмыслен, поскольку он всегда одушевлен.

лом и с субъектом-экспериенцером, причем они противоположны друг другу по синтаксическим позициям актантов.

Напротив, тот факт, что одна из диатез (с субъектом-стимулом) непереходна, а другая (с субъектом-экспериенцером) переходна, связан совсем не с лабильностью, а с характеристиками актантов. Во многих языках, где существуют отдельные глаголы 'нравиться' и 'любить', первый является непереходным, а второй – переходным.

Итак, выделяются следующие синтаксические типы лабильности:

1. Глаголы с лабильной переходностью и валентностью.
2. Глаголы с лабильной переходностью, но без изменения валентности.
3. Глаголы с лабильной валентностью, но без изменения переходности.
- 3а. Глаголы, переходные в обоих употреблениях.
- 3б. Глаголы, непереходные в обоих употреблениях.

2. ЛАБИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕРИВАЦИИ

Лабильность – феномен, находящийся между грамматикой и лексикой. Варьирование переходности и валентности связано со смыслами, обычно выражаемыми показателями, но обусловлено свойствами глагольной лексики. Поэтому актуален вопрос о соотношении лабильности и собственно грамматических средств – показателей дериваций.

Лабильные глаголы того или иного типа могут по-разному соотноситься с показателями синонимичных дериваций. Возможны следующие соотношения:

- 1) аналогичного показателя деривации в языке нет
- 2) показатель деривации имеется, но не сочетается с данным глаголом
- 3) показатель деривации имеется и сочетается с данным глаголом
- 4) показатель деривации имеется и сочетается с данным глаголом без изменения смысла.

Отметим, прежде всего, что практически во всех языках с лабильными глаголами только часть из них сочетается с показателями деривации. Это существенно подрывает гипотезу о взаимодополняющей роли деривативных показателей и лабильности, имплицитно подразумеваемой в [Haspelmath 1993a]: во всяком случае, эта гипотеза должна применяться на уровне лексем, а не только языковой системы в целом. Действительно, если бы лабильность хотя бы в каком-то смысле компенсировала отсутствие показателей деривации, нельзя было бы объяснить наличие лабильных глаголов, сочетающихся с показателями. И наоборот, если бы показатели и лабильность совершенно не зависели друг от друга, объяснению не поддавались бы лабильные глаголы, не принимающие показателей деривации.

Эта проблема встает и в других случаях, когда одну и ту же функцию выполняют для одних глагольных пар грамматические маркеры, а для других – лексические феномены (супплетивизм, лабильность). Рассмотрим, например, другой тип соотношения между переходным и непереходным глаголом – супплетивизм (ср. *умереть/убить, лежать, ложиться/класть* в русском языке). Нередки случаи, когда один из глаголов пары также принимает маркер деривации: например, адыг. *лел* 'умереть' – *wəx'en* 'убить' – *ве-лел* (морфологический каузатив) 'позволить умереть'. Тем самым, нельзя считать грамматические маркеры и лексические характеристики ни явлениями одного порядка, ни полностью независимыми.

Ниже мы попытаемся понять, каковы могут быть функции лабильности и показателей деривации при одном и том же глаголе.

2.1. Лабильность и показатели: типы противопоставлений

Мы выделяем три типа противопоставлений между формой с показателем деривации и немаркированной формой лабильного глагола: эти типы можно условно обозначить как «актантный», «аспектуальный» и «деривативный».

В первом случае два варианта противопоставлены по свойствам субъекта или объекта: прежде всего, по степени агентивности или пациентивности. К примеру, русский глагол *лечь* в непереходном употреблении и дериват от него *лечься* различаются, прежде всего, степенью автономности субъекта, как было показано для примера (6). С другой стороны, адыгейский глагол *zebɣərətəq_wən* 'рассыпать(ся)' обозначает ситуацию, пациенсом которой является сыпучий предмет, а каузативный дериват от него *zebɣərətəq_wən* 'разрушить' – ситуацию с пациенсом-монолитным предметом ('разрушить стену').

Связь со свойствами участников может быть и более сложной: например, в новокаледонском языке харачуу переходная форма лабильного глагола *běchâ* 'развязать(ся)' употребляется только в случае, когда между актантами существуют посессивные отношения. При их отсутствии используется каузатив *fa-běchâ*:

Харачуу (новокаледонский, австронезийский)

- (22) a. kwii bëchâ
 веревка развязаться
 ‘Веревка развязывается’;
- b. nă bëchâ kwii rē nă
 я развязать веревка POSS 1SG
 ‘Я развязываю свои веревки’ (т.е. ‘Я высвобождаюсь’);
- c. nă fa-bëchâ kwii rēè
 я CAUS-развязать веревка POSS.3SG
 ‘Я развязал его веревки’ (т.е. ‘Я освободил его’) [Moyse-Faurie 1995].

Адыгейский глагол *qjənen* 'оставить; остаться' в переходном употреблении, как правило, обозначает неумышленное действие, но могут обозначать и умышленное (см. (23abc)). Каузативный дериват подразумевает, что действие субъекта было волевым (23c):

Адыгейский

- (23) a. se wəne-m sə-qe-na-ɤ
я дом-ERG 1SG.S-DIR-ОСТАВИТЬ-PST
'Я остался дома';
- b. sabəj-əm ʒegwəke-xe-ɣ wəne-m qə-ɣ-jə-na-ɤ
ребенок-ERG игрушка-PL-ABS дом-ERG DIR-LOC-3SG.A-ОСТАВИТЬ-PST
'Ребёнок оставил игрушки дома' (нечаянно);
- c. maʃe jane-jate wəne-m qə-ɣ-a-na-ɤ.
Mary(ERG)(3SG.POSS)мать-отец(ERG) дом-ERG DIR-LOC-3PL.A-ОСТАТЬСЯ-PST
'Родители оставили Машу дома' (нарочно);
- d. sabəj-əm ʒegwəke-xe-ɣ wəne-m qə-ɣ-jə-ke-na-ɤ
ребенок-ERG игрушка-PL-ABS дом-ERG DIR-LOC-3SG.A-ОСТАВИТЬ-PST
'Ребёнок оставил игрушки дома' (нарочно).

Еще один тип связан с аспектуальными характеристиками ситуации: во многих случаях свойства лабильных глаголов удобнее описывать не через собственно семантические свойства участников или ситуации, а именно через их аспектуальные характеристики или выделенность фаз ситуации.

Как показано в работе [Comips, Hulk 1996], в хеерленском диалекте нидерландского языка практически все лабильные глаголы (для примера взят глагол *koken* ‘варить(ся)’) сочетаются с показателем возвратности *zich*, однако аспектуальные свойства немаркированного и возвратного непереходного глагола различаются. Возвратный дериват, образованный от переходного употребления лабильного глагола, фокусирует внимание на конечной фазе события и поэтому не допускает обстоятельств длительности. Напротив, лабильный глагол в непереходном употреблении акцентирует событие в целом и допускает такие обстоятельства:

Хеерленский нидерландский:

- (24) *dat het ei zich 3 minuten lang gekookt heft
 что DEF яйцо REFL 3 минута.PL за PART.PASS иметь.PRS.3SG
 ‘*...Что яйцо сварилось за три минуты’ (возвратный дериват).

- (25) dat het ei 3 minuten lang gekookt heft
 что DEF яйцо 3 минута.PL за PART.PASS иметь.PRS.3SG
 ‘Что яйцо сварилось за три минуты’ (лабильный глагол).

Данное распределение можно объяснить различием функций лабильности и маркеров дериваций. Лабильный глагол подразумевает сходство между употреблениями – не удивительно, что аспектуальные свойства исходного и производного глаголов тождественны. Напротив, декаузатив служит для построения новых глаголов с новыми свойствами – в данном случае это выделение конечной фазы ситуации.

Интересно, что в адыгейском языке соотношение, казалось бы, противоположно нидерландскому. При ряде лабильных глаголов немаркированное переходное употребление акцентирует внимание на конечной точке, а маркированный каузатив от непереходного употребления – на каузации¹²:

- (26) a. хэґбэзэ-т žane-г je-wəŕweje zepətə
 арбуз-ERG платье-ABS 3SG.A-пачкать всегда
 ‘Арбуз всегда пачкает одежду’ (каузатор не существен);
- b. хэґбэзэ-г аґə s-jə-žane z-jə-ke-wəŕweje-ke-в
 арбуз-ABS FOC 1SG-POSS-платье(ABS) REL-3SG.A-CAUS-пачкать-PAST-ABS
 ‘Именно арбуз испачкал мне одежду’ (каузатор выделен).

В примере (26a) мы видим лабильный глагол в переходном употреблении. В (26b) используется фокусная конструкция¹³. Поскольку агенс (и его воздействие на пациенс) выделено, используется не форма лабильного глагола, а каузативный дериват.

¹² Это, естественно, согласуется с наличием в адыгейском языке класса лабильных глаголов, вообще не сочетающихся с маркером каузатива.

¹³ Поясним устройство этой конструкции: при фокусировании агенса переходного глагола он ставится в абсолютиве, становясь субъектом при фокусном предикате *аґə*. При этом в позиции агентивного показателя согласования в смысловом глаголе появляется показатель *z(ə)*-, а в конечной позиции – абсолютивный суффикс *-г*, показывающий, что данная форма глагола является нефинитной. Тем самым, конструкцию в (27b) можно буквально перевести следующим образом: ‘Именно арбуз является тем, что мне испачкало одежду’.

В действительности противопоставление лабильных глаголов и маркированных дериватов устроено в двух языках одинаково. Различие заключается как раз в том, какие маркеры противостоят лабильности. В нидерландском языке непереходному употреблению противостоит маркер декаузатива, для которого характерно выделять конечную фазу ситуации, связанную с изменением состояния пациенса. Напротив, каузатив в адыгейском языке выделяет компонент, связанный с действиями субъекта – то есть каузацией – а лабильный глагол в обоих употреблениях выделяет фазу изменения состояния пациенса.

2.1.3. Деривативный тип

Наконец, деривативным называется наиболее простой тип соотношения, при котором лабильность занимает нишу одной актантной деривации, а за дериватом с показателем деривации показателем остается другая. Данный тип можно наблюдать, например, в немецком языке на примере лабильного глагола *hinunterstürzen* ‘перевернуть(ся), упасть с высоты’, см. (27ab) и декаузативного деривата от переходного употребления в (27c):

- (27) a. *Er stürzte sein Glas hinunter* ‘Он допил свой стакан’ (букв. ‘перевернул’);
b. *Er stürzte hinunter* ‘Он упал с высоты’;
c. *Er kletterte auf einen sehr hohen Berg und stürzte sich hinunter* ‘Он забрался на очень высокую гору и бросился вниз’.

В (27b) немаркированное употребление лабильного глагола является декаузативом от переходного. Дериват, употребленный в (27c), имеет скорее рефлексивное или автокаузативное значение: его субъект агентивен, что нехарактерно для субъектов глаголов с декаузативным значением.

2.2. Лабильные глаголы, не сочетающиеся с показателями

Наименее ясный тип явлений, однако, представляют как раз лабильные глаголы, не принимающие показателей деривации. Первой работой, в которой они подробно изучались для конкретного языка, является [Kibrik 1996], также эта проблематика освещается в разделе Е.А. Лютиковой в [Кибрик (ред.) 2001: 377–384] и в [Sumbatova, Mutalov 2003; Daniel et al. (в печати); Летучий (в печати)]. Как правило, в системе лабильных глаголов есть лексемы, которые не сочетаются с показателем каузатива или декаузатива в одном из употреблений.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения экономии языковых средств, то она вполне объяснима. Например, адыгейский глагол *qwæp* ‘разбить(ся)’ не принимает в непереходном употреблении показателя каузатива. Поскольку значение ‘разбить’ обслуживается самим лабильным глаголом, образование синонимичного каузатива «не нужно» языку. Однако, как мы видели, этого объяснения недостаточно: многие лабильные глаголы тем не менее образуют каузативы в обоих употреблениях.

В работе [Kibrik 1996] предлагается диахроническое объяснение: согласно ему, в годоберинском языке лабильные глаголы, не принимающие показателя каузатива в непереходном употреблении (например, *hiši* ‘заккрыть(ся)’), являются исходно переходными, и производное непереходное употребление является в каком-то смысле ущербным по сравнению с переходным. Напротив, глаголы, не способные к каузативации в переходном употреблении (ср. *=una* ‘идти / вести, гнать’), исходно непереходны.

Возможно, диахронически это объяснение и верно, однако синхронно не объясняет свойств отдельных лексем. Особенно это верно для языков с очень развитой и регулярной морфологией типа адыгейского. В адыгейском языке каузатив присоединяют все глаголы, кроме непереходных употреблений лабильных лексем. При этом данные непереходные употребления ни морфологически, ни синтаксически не имеют каких-

либо черт, отличающих их от прочих непереходных глаголов – тем самым, они имеют морфологический слот, куда может присоединяться каузативный маркер. Однако этого не происходит, причем речь идет именно о грамматическом, а не о прагматическом запрете: предложение (28) не странно, а именно неграмматично:

(28) *se čaške-r z-ve-qwəta-ŋ

я чашка-ABS 1SG-CAUS-разбиться-PST

‘Я разбил чашку’ (каузатив от непереходного употребления ‘разбиться’).

В годоберинском языке лабильные глаголы, не сочетающиеся в одном из употреблений с каузативом, также составляют исключение. Среди нелабильных глаголов не сочетаются с этой деривацией только отдельные лексемы – и обычно этот запрет обусловлен запретом на определенную фонологическую последовательность или омонимией, которая бы возникла между каузативом и другим, производным глаголом [Kibrik 1996: 29]. Вряд ли такие запреты можно объяснить только диахронической производностью одного из употреблений. Заметим, например, что в годоберинском языке производные морфологические каузативы могут каузативироваться второй раз – тем самым, неверно, что любой производный глагол или употребление не способно к каузативации.

Кроме того, совсем не во всех языках с «направлением» лабильности связан запрет на деривацию. Так, в ицаринском языке нахско-дагестанской группы практически все лабильные глаголы сочетаются с показателем каузатива в обоих употреблениях (см. [Sumbatova, Mutalov 2003: 108]).

Более того, существуют языки типа боумаа фиджи (австронезийский), где каузатив сочетается только с непереходными глаголами (см. [Dixon 1988: 50–51]). В боумаа фиджи существует большой класс лабильных глаголов типа *lo'i* ‘гнуться, быть согнутым’ / *lo'i-a* ‘гнуть’¹⁴. По данным [Dixon 2000: 64], исходным у таких глаголов стоит считать *п е р е х о д н о е* употребление. Однако каузатив сочетается только с *н е п е р е х о д н ы м*, в соответствии с общим правилом каузативации.

Дополнительную сложность создает то, что лабильность – гораздо менее регулярный и продуктивный механизм, чем каузатив, мотивированный скорее лексически. Тем самым, создается странная ситуация, когда запрет на почти автоматический грамматический процесс связан с чисто лексическим явлением лабильности.

Следовательно, требуется объяснить невозможность предложений типа (28) через некие синтаксические и семантические свойства непереходного употребления. Таких объяснений два.

Первое из них состоит в том, что непереходное употребление имеет некий нулевой маркер деривации – например, декаузатива. В языках мира известны случаи, когда декаузативный дериват уже не может модифицироваться каузативом: например, в балкарском языке, согласно [Лютикова и др. 2006], каузативация дериватов с декаузативно-возвратным суффиксом *-l* возможна, только если они имеют рефлексивное, а не декаузативное значение.

В этом смысле непереходное употребление лабильного глагола ведет себя так же, как декаузативные дериваты. Если принять гипотезу о том, что непереходные употребления имеют нулевой маркер декаузатива, невозможность их каузативации объясняется правилом несочетаемости двух противоположных дериваций.

Тем не менее и это объяснение не идеально: на материале того же адыгейского языка можно считать, что все глаголы, не сочетающиеся с каузативным показателем, исходно переходны. Однако обратное неверно: не все исходно переходные глаголы не

¹⁴ В работах [Dixon 1988; 2000] такие глаголы считаются лабильными, поскольку суффиксы типа *-a* не рассматриваются как собственно маркеры деривации – скорее это классификаторы переходности, обязательно присоединяющиеся к переходному употреблению.

сочетаются с каузативом: к примеру, глагол *zebɣərə-teq_wən* ‘рассыпать(ся)’ стоит скорее считать исходно переходным, поскольку большинство глаголов с тем же корнем *-teq_wə-* имеют только переходную модель. Тем не менее, возможна каузативация непереходного употребления этого глагола – дериват имеет значение ‘разрушить’:

- (29) *ɕale-m* *depqə-r* *zebɣər-jə-ke-teq_wə-ɸ*
 парень-ERG стена-ABS LOC-3SG.A-CAUS-бросать-PST
 ‘Парень разрушил стену’.

Следовательно, производность непереходного употребления еще не гарантирует невозможности каузативации, хотя в некоторых случаях и может служить объяснением.

Есть и другой вариант – считать, что глаголы, не сочетающиеся с показателем каузатива, так ведут себя в силу других свойств, не связанных с направлением производности. Именно этот способ кажется предпочтительным для адыгейского языка.

Каузатив в адыгейском языке, как показано в [Аркадьев, Летучий 2007], имеет ряд необычных свойств. Среди них то, что поведение каузативов от пациентивных непереходных глаголов отличает их от непроизводных переходных глаголов: ср., например, интерпретацию отрицания:

Непроизводный переходный глагол:

- (30) *ɕ'ale-m* *pɕ-er* *q-ə-q_wəɣə-ɸ-er*
 парень-ERG дверь-ABS DIR-3SG.A-открыть-PST-NEG
 ‘Парень не открыл дверь’ (даже не пытался открыть || *пытался, но дверь не открылась)

Морфологический каузатив:

- (31) *paŋe* *ps-er* *ə-ke-ɕ_wa-ɸ-er*
 мать(ERG) вода-ABS 3SG.CR-CAUS-кипеть-PST-NEG
 ‘Мать не вскипятила воду’ (вообще не кипятила || начала кипятить, но вода не вскипела)

Это показывает, что морфологический каузатив обязательно добавляет к структуре события новую подситуацию: в (31), в отличие от (30), структура включает две подситуации: каузацию и каузируемое событие. В примере (31) отрицание может воздействовать не только на все событие целиком, но и только на каузируемое подсобытие: при второй интерпретации каузирующее подсобытие (‘мать начала кипятить воду’) имело место, а каузируемое (‘вода вскипела’) – нет.

Ссемантический класс лабильных глаголов, не сочетающихся с маркером каузатива, включает, прежде всего, глаголы деструкции типа *zerəɕ'ən* ‘сломать(ся)’, *q_wəten* ‘сломать(ся)’ или *zeɣetɣən* ‘порвать(ся)’. Помимо особых семантических свойств, их объединяют аспектуальные характеристики: все они моментальны – как правило, не могут характеризоваться по протяженности ситуации. По всей вероятности, каузативы не могут образовываться от моментальных глаголов, для которых двусобытийная интерпретация недопустима или крайне неестественна (событие ‘разбить’ с трудом раскладывается на два подсобытия – каузирующее и каузируемое). Для таких глаголов существует только два теоретически возможных формальных типа переходного глагола – лабильный глагол, либо лексический каузатив.

Тем самым, несочетаемость лабильного глагола с показателем деривации может быть результатом независимых друг от друга свойств лабильности и показателей, а не их конкуренции между собой.

Однако важно подчеркнуть, что лексическое явление лабильности глаголов и грамматические средства выражения деривации не независимы друг от друга. На систем-

ном уровне лабильность может «вытеснять» показатели деривации, которые могут не сочетаться с лабильными глаголами. Даже если лабильный глагол принимает показатели деривации, дериват и употребление лабильного глагола расподобляются между собой по семантике и не являются в полном смысле синонимами.

3. МОТИВАЦИЯ ЛАБИЛЬНОСТИ

Как мы видели, лабильность в малой мере можно считать альтернативой маркерам дериваций. Хотя встречаются случаи типа английского, где большая свобода в варьировании переходности компенсирует бедную систему деривативных маркеров, в подавляющем большинстве случаев все обстоит иначе. Как правило, лабильность появляется там, где, казалось бы, она «не нужна»: в самом деле, ни болгарский, ни французский, ни годоберинский языки не нуждаются в лабильности в том смысле, что имеют показатели рефлексива, реципрока, декаузатива или каузатива. Более того, ряд лабильных глаголов образует морфологические каузативы от непереходного употребления: тем самым возникает дублирование значения.

Помимо этого, распределение лабильности и маркеров дериваций также сильно отличается друг от друга. Распределение каузативных и декаузативных маркеров между собой в языках, где есть и те и другие, а также ограничения на применения декаузатива или каузатива успешно описывались в работах [Недялков, Сильницкий 1969; Haspelmath 1993a] и др. с помощью имплицативных фреквенталий. В частности, было отмечено, что типологически способность каузатива сочетаться с переходными глаголами влечет сочетаемость с переходными. Как отмечено в [Kulikov 1998], декаузативные маркеры в случаях, когда их сочетаемость ограничена, присоединяются, прежде всего, к глаголам деструкции. Напротив, для лабильности имплицативные объяснения такого рода явно не срабатывают: лабильны могут быть самые разные ограниченные группы глаголов (например, глаголы движения, фазовые глаголы, глаголы симметричных ситуаций и др.).

Единственная возможность в такой ситуации – считать, что лабильность, внешне аналогичная по функциям маркерам дериваций, используется языковой системой в других целях. Весьма вероятно, что лабильность – способ объединить две похожих ситуации в рамках одной лексемы.

Одно из подтверждений – склонность к лабильности глаголов с похожими актантами, например, агентивных глаголов движения (см. часть 1.2). Деривативный подход в их случае, как было показано, не дает результатов – поскольку лабильность и не является немаркированной деривацией.

Это предположение, как было показано, объясняет и способность лабильных глаголов сочетаться с показателями деривации. Дело в том, что показатель и лабильность просто выполняют разные задачи: лабильность объединяет две ситуации, а показатель регулярным образом производит от одной другую.

Отмеченная функция – сближение между собой сходных глаголов – распадается на несколько более мелких. В частности, явно выделяются случаи, когда ситуации близки денотативно или по актантам. Первый случай имеет место, когда между употреблениями глагола возникает каноническое каузативное соотношение (например, 'разбить'/'разбиться'). В этом случае ситуации различаются только наличием/отсутствием агенса.

Второй случай можно наблюдать на примере глаголов типа *катить* или *лить* (о дожде): денотативно два употребления глагола сильно различаются, однако похожи по свойствам субъекта: у глагола *катить* в обоих употреблениях субъект агентивен, у *лить* обладает автономностью и не контролируется извне.

В библейском иврите [Kirtchuk 1989; Al-Kadari 1995] лабильность характерна для глаголов перемещения жидкости с семантикой 'вытекать'/'источать'. Интересно при этом, что переходные употребления таких глаголов, как правило, неагентивны: их значение ближе к 'источать, истекать', чем к 'выливать', см., например:

Библейский иврит (семитский):

- (32) a. ?ereS zab-at Halab we-debaš
 страна источать.PST-F молоко и-мёд
 ‘Страна, (которая) источает молоко и мёд’ (переходная модель);
- b. we-?išša ki ya-zub damm-a
 и-женщина REL 3м-течь кровь—3F.POSS
 ‘И женщина, кровь которой течет’ (непереходная модель) [Kirtchuk 1989].

Тем самым, иврит обозначает одним глаголом не каноническую пару «глагол V/каузатив от V», а фактически одну и ту же ситуацию: собственно, различие в предложениях типа *Кровь потекла из раны* и *Рана источает кровь* заключается только в том, какой из участников более существен для говорящего. Такие употребления, как в (32a) и (32b) семантически ближе, чем члены канонической пары.

Еще один тип сближения ситуаций – синтаксическая близость. С ним мы имеем дело, когда помимо каузативного переходного и некаузативного непереходного, глагол имеет еще одно или несколько употреблений – например, каузативное, но синтаксически непереходное или, наоборот, некаузативное, но синтаксически переходное. Тем же самым можно объяснить наличие случаев квазилабильности типа русского *учить*, когда глагол имеет два употребления, но всегда является переходным или непереходным. Варьирование актантной структуры облегчается тем, что у двух употреблений имеется важная общая характеристика: синтаксическая переходность.

Вернемся теперь к деривативным типам лабильности. Выше мы отметили, что в рамках теории, предложенной в [Haspelmath 1993a], не получает объяснения отсутствие пассивной лабильности. Более того, казалось бы, этот тип лабильности вполне отвечал бы предложенной в этой части мотивации: активная и пассивная диатезы различаются только синтаксическими свойствами глагола и коммуникативными характеристиками актантов, а семантически тождественны. Почему же язык не объединяет их в одной форме?

Вероятно, лабильность обычно требует не только близости ситуаций, но и, с другой стороны, некоторого семантического различия. Минимальное различие наблюдается при парах «инхоатив/каузатив»: как показано на примере иврита, на самом деле ситуации могут вообще не различаться по семантике. Аналогичным образом, употребления глаголов с агенсом-инициатором типа литовского *virti* ‘варить(ся)’ не различаются наличием/отсутствием агенса: семантически агентивный участник имеется и при непереходном употреблении, поскольку ситуация ‘вариться’ не может возникнуть сама по себе.

Существенное различие между употреблениями при рефлексивном или реципрокальном типе: непереходное употребление, по сравнению с переходным, имеет нетривиальный семантический компонент – кореферентность участников, а при реципрокальном типе – еще и направленность действия «в обе стороны». Этим и объясняется редкость этих типов, особенно реципрокального.

Напротив, при пассивном типе употребления не различаются по семантике и не попадают в сферу лабильности. Не случайно даже в языках, где имеется близкий к пассивному тип лабильности, он отличается от канонического пассива (см. выше о стативном и квазипассивном подтипах).

Для отсутствия пассивной лабильности существует и другое объяснение. Как показано в [Grimshaw 1990], непрототипические соотношения семантических ролей и синтаксических статусов в языках мира обычно не кодируются производными глаголами. Прототипической считается, в частности, модель с субъектом-агеном и объектом-пациентом (как, например, при глаголе *варить* – *Мама варит мясо*). Напротив, модель с субъектом-пациентом и дополнением или адъюнктом-агеном считается непрототипической. Поскольку при пассиве пациент занимает позицию субъекта, а агенс – периферийного актанта, пассивы в языках мира обычно маркируются. Тот

факт, что пассивная лабильность почти не встречается, свидетельствует о том, что нельзя считать одно из употреблений лабильных глаголов производным от другого с помощью деривации: иначе существовали бы немаркированные пассивы типа *rit* 'быть положенным' с «нулевым показателем» пассива. В этом случае производное пассивное употребление не нарушало бы правило Гримшо: оно бы было таким же производным, как маркированные пассивы типа *быть построенным*, но только с помощью нулевого маркера деривации.

Итак, лабильность – это прежде всего способ объединения в одной лексеме близких между собой ситуаций¹⁵.

4. ЛАБИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ И СВОЙСТВА ГРАММАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Лабильность – характеристика определенных лексем данного языка. Но, будучи лексическим явлением, она тесно связана с грамматическими свойствами системы: а именно, со способами маркирования переходности.

Естественно, возникает вопрос: каким образом лабильность связана с другими, чисто грамматическими свойствами системы? Не имея полного набора сведений по данной проблематике (поскольку значительные группы языков Америки почти не описаны с точки зрения лабильности), мы тем не менее предложим несколько черт языковой системы, связанных с лабильностью. Очень многие из них были описаны в предшествующих исследованиях, однако скорее на теоретическом уровне, чем на большой языковой выборке.

4.1. Система актантных дериваций и свойства показателей деривации

В работе [Климов, Алексеев 1980] высказывается мысль, что в кавказских языках лабильность компенсирует отсутствие показателей пассива (в современной терминологии – декаузатива). Рассмотрим эту гипотезу о компенсирующей роли лабильности.

В некоторых отдельных случаях она поддерживается языковым материалом. Рассмотрим, к примеру, материал америндских языков. Среди языков семьи маку самой богатой морфологией обладает надеб: он обладает морфологическими показателями каузатива (*da-*) и рефлексива/реципрока (*ka-*). В этом языке имеется только небольшой класс А-лабильных глаголов, а Р-лабильность отсутствует. Напротив, язык дау морфологических маркеров деривации не имеет. А-лабильность в нем характеризует почти все переходные глаголы, также имеется небольшой класс Р-лабильных (подробнее см. [Aikhenvald, Dixon 1999]).

Однако для больших выборок языков эта гипотеза не подтверждается. В частности, системы актантных дериваций европейских языков сравнительно близки между собой: обычно имеется пассивная конструкция и возвратный показатель, выражающий широкий спектр понижающих и интерпретирующих актантных дериваций: реципрок, рефлексив, декаузатив, в ряде случаев – антипассив и имперсонал. Однако системы лабильных глаголов сильно различаются и по объему, и по семантическим классам. Точно так же различаются классы лабильных глаголов даже в сравнительно близких между собой нахско-дагестанских языках, имеющих сходные между собой системы актантных дериваций. Лабильность, тем самым, не занимает в полном смысле нишу отсутствующей в языке деривации.

Еще более очевидный довод против гипотезы Г.А. Климова и М.Е. Алексеева состоит в количестве лабильных глаголов: даже в языках с развитой лабильностью оно

¹⁵ Естественно, мы имеем в виду, что лабильность выполняет такую функцию в системе языка в синхронном аспекте. Это не отменяет того факта, что исторически лабильность часто является результатом «немаркированной деривации», т.е. одно из их употреблений является исходным, а другое – вторичным.

несоразмерно с количеством каузативных и декаузативных дериватов в языках с развитой актантной деривацией. Тем самым, отсутствие показателя только создает возможность для развития лабильности – не для всех лексем эта возможность реализуется.

Наконец, если буквально следовать гипотезе, следует ожидать, что лабильность будет компенсировать и отсутствие каузативного маркера – однако лабильные глаголы типа ‘убегать/прогонять’ очень редки. Причины этого мы рассмотрим ниже.

В то же время немало случаев, когда свойства лабильности можно связать со свойствами системы дериваций. К примеру, такие языки, как тюркские или грузинский, не имеют лабильных глаголов – и наоборот, имеют развитую повышающую и понижающую деривацию. Например, в грузинском каузатив выражается сочетанием префикса (характерной гласной) *a-* с суффиксом *-eb*, а декаузатив – сочетанием префикса *i-* с тем же суффиксом *-eb* [Гецадзе и др. 1969]. Оба преобразования продуктивны. Места для немаркированных преобразований в системе как бы не остается, поэтому лабильность не развивается.

Заметим, что и наличие богатой системы понижающих и повышающих актантных дериваций не гарантирует отсутствия лабильных глаголов: контрпримером может считаться арабский язык. Лабильные глаголы в нем немногочисленны, но имеются: ср. *tabayyana* ‘выяснять(ся)’, *bada’a* ‘начать(ся)’, *sa:wa:* ‘равняться/уравнивать’, *aflasa* ‘обанкротить(ся)’ и др. При этом арабский язык обладает большой системой производных глагольных классов (так называемых «пород»), часть из которых отвечает за повышающие (II, IV), часть – за понижающие (V, VIII), а часть – за интерпретирующие деривации и залоги (III, VI, VII, X). Однако едва ли можно считать ее системой грамматических показателей: в сравнении с картвельскими и тюркскими арабские актантные деривации существенно менее регулярны. Практически ни один непроеводный глагол не допускает образования всех возможных дериватов. Скорее это словообразовательные показатели (или, во всяком случае, словоизменительные с крайне ограниченной сочетаемостью).

Кроме того, арабские формы «пород» имеют только слабые ограничения по переходности. Почти в каждой из «пород» встречаются и переходные, и непереходные глаголы – следовательно, лабильные глаголы могут встречаться и среди производных лексем (см. в подтверждение этого лабильность глаголов третьей породы *sa:wa:* ‘равняться/уравнивать’ и пятой породы *tabayyana* ‘выяснять(ся)’, подробнее о них в [Летучий 2006b: 294–330]).

Различие между системами арабского и тюркского типа показывает, что существенен не только набор актантных дериваций данного языка, но и степень их грамматикализации.

Этот вывод весьма последовательно иллюстрируется материалом европейских языков. Количество лабильных глаголов почти идеально коррелирует со степенью грамматикализации деривационных показателей:

немецкий > французский > испанский, итальянский > болгарский > русский

В немецком языке показатель декаузатива *sich* очень слабо отличается от свободных местоимений: он изменяется по падежам, по лицам, а единственное отличие в его парадигме – совпадение форм винительного и дательного падежей *sich* (ср. формы дательного падежа свободных местоимений *mir* ‘мне’, *dir* ‘тебе’ и винительного *mich* ‘меня’, *dich* ‘тебя’). Немецкий язык имеет большое количество лабильных глаголов, в том числе из числа прототипически переходных: *brechen* ‘ломать(ся)’, *reißen* ‘рвать(ся)’. Часть из них даже не сочетается с показателем декаузатива *sich*: так, глаголы *brechen* и *reißen* не образуют дериватов *sich brechen* и *sich reißen* в декаузативном значении ‘ломаться’ и ‘рваться’. Тем самым, лабильность настолько сильна, что не дает декаузативному показателю проникнуть в некоторые семантические классы глаголов.

Во французском языке возвратное местоимение тоже изменяется по падежам, но грамматикализовано сильнее, чем в немецком. Так, возвратные глаголы, судя по типу образования аналитического прошедшего, во французском трактуются как непереходные, а в немецком – как переходные. Помимо этого, во французском языке показатель является частью слова фонетически. Неудивительно, что во французском лабильных глаголов меньше, чем в немецком, хотя и весьма много в сравнении с другими языками романской группы. Как правило, французские лабильные глаголы сочетаются с показателем понижающей деривации *se*. В других романских языках лабильных глаголов еще меньше.

В болгарском языке возвратное местоимение отличается от морфологического показателя только своей подвижностью – оно не изменяется по лицам. Лабильные глаголы в болгарском языке есть, но сосредоточены в очень компактных зонах (ср., например, упомянутые в части 1.2 фазовые глаголы).

Наконец, в русском языке рефлексивный показатель полностью приобрел свойства суффикса. Неудивительно, что лабильные глаголы в русском языке очень малочисленны.

Отметим, что с системой и свойствами морфологических показателей коррелирует не только количество лабильных глаголов, но и их семантический класс. Это связано с тем, что пары употреблений лабильных глаголов в разной мере близки к прототипическим парам «переходный глагол/декаузатив» или «непереходный глагол/каузатив».

В частности, из европейских языков только в германских, и прежде всего в немецком, наблюдается лабильность глаголов с высокой семантической переходностью типа *brechen* ‘ломать’, *reißen* ‘рвать’. В других языках лабильность вытесняется показателями деривации в зоны непрототипической переходности: к примеру, в болгарском языке лабильны фазовые глаголы, не имеющие прототипического пациенса.

В русском языке, где показатель декаузатива еще более грамматикализован и продуктивен, лабильны глаголы типа *катить* или *кружить*. Их непереходное употребление даже агентивно: тем самым, оно вряд ли может попасть в зону действия декаузативного показателя, образующего неагентивные глаголы.

4.2. Строй языка

Строй языка обсуждался в качестве фактора лабильности в работе [Кибрик и др. 1977], а также в двух недавних работах [Drossard 1998; Vajda 2005]. Авторы этих работ отмечают склонность к лабильности эргативных языков, однако придают этому фактору разное значение.

Э. Вайда считает, что эргативный строй в целом благоприятен для лабильности. Поскольку субъект переходной и непереходной конструкций маркируются разными падежами, различать переходное и непереходное употребления для носителей становится проще.

Напротив, В. Дроссард полагает, что А-лабильность и Р-лабильность ведут себя по отношению к строю языка противоположным образом. В эргативных языках распространены Р-лабильные глаголы (поскольку для Р-лабильности достаточно опущения агенса переходного глагола), а в аккузативных – А-лабильные (поскольку А-лабильность требует только опущения прямого дополнения). Похожую точку зрения выражают авторы работы [Nichols et al. 2004: 168] (в данной работе рассматривается только Р-лабильность): *the directed types (augmented, reduced) significantly disfavor ergativity while undirected ones (double, auxiliary change, ablaut; suppletion, ambitransitivity, conjugation class change) significantly favor it.*

В действительности ни одно из предсказаний не подтверждается полностью. С одной стороны, предсказание Э. Вайды неточно, поскольку многие языки с аккузативной конструкцией предложения (например, европейские) допускают А-лабильность более свободно, чем эргативные. Тем самым, неверно, что в любом эргативном языке

А- и Р-лабильных глаголов больше, чем в любом аккузативном. Труднее опровергнуть предсказание В. Дроссарда.

В начале изучения лабильности это явление действительно считалось характерным, прежде всего, для эргативных (кавказских) языков. На самом деле эти языки сильно разнятся между собой: наряду с богатыми системами, например, аварской и адыгейской, имеются бедные системы (годоберинский, лезгинский). Следовательно, лабильность нельзя считать характерной для любого эргативного языка¹⁶. Так, в работе [Кибрик и др. 1977: 74–77] убедительно показано, что наличие лабильных глаголов в арчинском языке тесно связано с его эргативностью, но нельзя сказать, что любой язык с эргативной конструкцией имеет развитую лабильность.

С другой стороны, европейские языки аккузативного строя также ведут себя различно: мы уже говорили, что имеются и богатые (французский, немецкий), и средние (болгарский), и бедные системы (польский, чешский).

Соотношение А- и Р-лабильности также различно. К примеру, в эргативном адыгейском языке Р-лабильность распространена больше, а А-лабильность характеризует небольшую группу глаголов «профессиональной деятельности» типа *wəɾɕ'en* 'косить'. Однако это не является непреложным правилом: так, в эргативном южноамериканском языке олутек семьи мише-соке Р-лабильные глаголы явно составляют меньшинство – 43 глагола, по подсчетам [Zavala 2000: 77–81] – тогда как А-лабильных насчитывается 90. В близком языке сан-мигель чималапа той же семьи Р-лабильных глаголов вообще восемь, а опущение объекта – А-лабильность – весьма свободно.

Однако было бы преждевременным считать, что утверждение Дроссарда вообще лишено предсказательной силы. Чтобы его уточнить, напомним, во-первых, что А-лабильность вообще в меньшей мере предсказуема, чем Р-лабильность, поскольку сильно зависит от дискурсивных факторов. Тем самым, утверждение можно переформулировать: «Р-лабильность больше развита в эргативных языках, чем в аккузативных»¹⁷.

Как мы видели, и в таком виде гипотеза неточна: ср., например, французский язык с богатой и годоберинский с бедной системой. Поэтому следует принять во внимание семантический класс лабильных глаголов. Проследим, в каких языках лабильны бывают прототипически переходные глаголы – в особенности глаголы деструкции.

Прежде всего, существуют языки типа лезгинского, где лабильны практически только глаголы с высокой семантической переходностью (*xip* 'ломать, раскалывать', *kip* 'гореть/жечь', *q'in* 'умереть/убить', *qazipin* 'порвать(ся)', *aTip* 'оборвать(ся)', подробнее см. [Haspelmath 1993b]). Лезгинский язык имеет характерный для нахско-дагестанских языков эргативный строй, однако помимо него к этому типу языков относится южноамериканский язык кора с аккузативной конструкцией предложения.

Важно, однако, что в целом в языках, имеющих эргативную конструкцию предложения (по крайней мере, в качестве главного типа), деструктивные глаголы типа 'разбить(ся)' лабильны гораздо чаще, чем в аккузативных. Например, в агульском языке нахско-дагестанской группы или в упоминавшемся южноамериканском языке олутек группы мише-соке они составляют наибольшие подклассы лабильных глаголов.

В адыгейском языке лабильный подкласс выделяется несколько по-другому: к лабильности там тяготеют моментальные предикаты типа *q_wəten* 'разбить(ся)' или *zerəɕ'en* 'сломаť(ся)' – среди них есть и глаголы, не обозначающие деструкцию, например, *zebɣəɾəteq_wən* 'рассыпать(ся)'. Однако понятно, что ядерным подклассом моментального класса являются глаголы деструкции. Л а б и л ь н о с т ь б о л ь ш о г о

¹⁶ В данном случае мы говорим о синхронном аспекте проблемы. При этом весьма вероятно, что исторически для эргативных языков – и, в частности, для кавказских – характерна развитая лабильность, тогда как для аккузативных языков, напр., древних языков Европы, это неверно.

¹⁷ Языки активного строя, как кажется, уступают по количеству лабильных глаголов и эргативным и аккузативным, однако следует учесть, что их материал изучен хуже и требует дальнейшего анализа.

Эту тенденцию нетрудно объяснить. Как убедительно показано в работах А.Е. Кибрика [Кибрик 1992], в данных языках отсутствуют или имеют малое значение синтаксические отношения. В применении к таким языкам не слишком полезны понятия субъекта и объекта. Более значимы семантические роли актантов – в частности, гиперроль Фактитива, которую имеют единственный актант непереходного и пациент переходного глагола.

При лабильности предикатов с высокой семантической переходностью два употребления имеют важный общий семантический компонент: оба они обозначают существенные изменения, происходящие с Фактитивом. При предикатах с низкой семантической переходностью данный участник ситуации не столь значим. Тем самым, в эргативных языках при лабильности глаголов типа ‘разбить’ тенденция языка к выделению Фактитива соответствует семантике глаголов, также выделяющих его.

Тот факт, что в аккузативных языках Р-лабильность характерна для глаголов с низкой семантической переходностью, также легко объяснить. Это связано с тем, что у таких глаголов объект переходного употребления (= субъект непереходного употребления) ближе по свойствам к субъекту переходного употребления, нежели у глаголов с сильной переходностью. Тем самым, два употребления сближаются по свойствам субъектов – а для аккузативных языков, в особенности языков средневропейского стандарта, особенную роль играет участник с синтаксическим статусом субъекта.

4.3. Степень развитости продропа (опущения местоимений-актантов)

В упомянутом выше докладе Э. Вайды одним из факторов лабильности считается то, насколько в данном языке допускается продроп – опущение референтного местоименного актанта (например, в английском языке продроп практически невозможен, а в латинском очень развит). Считается, что вероятность развитой лабильности возрастает, если, так сказать, конкурирующий тип немаркированного преобразования – продроп – не развит.

К этому утверждению можно подобрать довольно много контрпримеров. Так, в адыгейском языке сильно развиты и продроп, и лабильность; более того, этот язык морфологически различает переходные и непереходные глаголы. Следовательно, переходный глагол с опущением актанта, как в (36), и непереходный глагол, как в (37), различаются морфологически, и омонимии типа ‘он разбил чашку’/‘чашка разбилась’ не возникает:

Адыгейский:

(36) čaške ə-qwəta-в
чашка 3SG.A-разбить-PST
‘Он разбил чашку’;

(37) čaške qwəta-ве
чашка разбиться-PST
‘Чашка разбилась’.

Приведем другие примеры. В болгарском языке лабильность развита не меньше, чем в русском, однако и продроп развит сильнее:

Болгарский:

(38) Много пуши ‘Он много курит’;

(39) ??? Много курит.

В арабском языке продроп развит явно сильнее, чем в тюркских: в нормальном случае местоименное подлежащее не выражается. В то же время и лабильность развита явно сильнее (как было показано выше, это связано с особенностями арабской и тюркской системы дериваций).

Заметим, что продроп и лабильность противоположным образом связаны с системой морфологических показателей. Продроп, как считается, например, в [Rizzi 1986], возникает, когда подлежащее или другой аргумент вычисляется исходя из системы показателей согласования, то есть, прежде всего, в системах с богатым согласованием и вообще с развитым словоизменением.

Напротив, лабильность связана, прежде всего, с показателями деривации. Она возникает, либо когда в системе показателей имеются лакуны (например, в английском языке нет показателя декаузатива), либо когда показатели слабо грамматикализованы, как в германских. Тем самым, лабильность часто тяготеет скорее к языкам с бедной, чем с богатой морфологией.

Тем самым, продроп и лабильность в частных случаях могут действительно исключать друг друга – но не прямо, а косвенно, поскольку развиты в языках разных типов. Однако и возникновение случаев типа адыгейского вполне объяснимо: в адыгейском, с одной стороны, развито глагольное согласование (см. [Baker 1986] о согласовании в полисинтетических языках), а с другой, отсутствуют продуктивные маркеры понижающей деривации, в частности, декаузатива, что благоприятствует лабильности.

4.4. Выводы

Проанализировав три возможных фактора распространения лабильности, можно сделать следующие выводы. Распространение продропа, по-видимому, прямо не связано с количеством лабильных глаголов.

Другие два фактора – строй языка и система морфологических показателей – связаны с ним. Однако нужно сделать уточнения. Строй языка обуславливает скорее не объем класса лабильных глаголов, а его состав: для эргативных языков в большей мере, чем для аккумулятивных, характерна лабильность предикатов с высокой семантической переходностью, в частности, деструктивных глаголов. В случае с морфологическими показателями роль играет не только их состав, но и степень их грамматикализации, обратно пропорциональная объему класса лабильных лексем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в данной работе мы привели возможные параметры типологии лабильных глаголов. Как было показано, их класс никак нельзя назвать однородным: они различаются и синтаксически, и семантически. Важно, что широко принятое понимание лабильного глагола как допускающего переходные и непереходные употребления неточно: близкие к лабильности явления могут затрагивать глаголы, имеющие несколько переходных или несколько непереходных употреблений.

Лабильность не ограничивается инхоативно-каузативными парами. Из их частотности, требующей дополнительного объяснения, не следует отсутствие других типов пар. В частности, интересно, что встречаются, хотя и редки, пассивно-лабильные глаголы, запрещаемые теорией [Haspelmath 1993a].

Еще одна часто допускаемая неточность – понимание лабильности как немаркированного аналога актантной деривации. В действительности лабильность – это не средство маркировать деривацию, а способ объединить в одном глаголе два близких смысла или синтаксических модели (см. близкую точку зрения в [Dixon 2000]). Тип этой близости может быть различным.

Именно с объединяющей функцией лабильности связано ее частое сосуществование с маркерами деривации при одной и той же лексеме. В объяснении нуждаются как раз случаи вытеснения маркера деривации лабильностью. И, как мы показа-

ли, иногда эти случаи связаны не с прямой конкуренцией, а со свойствами лабильности и – отдельно – маркеров деривации. Однако есть и случаи, когда запрет на маркирование деривации, как в немецком языке при глаголе *brechen* (см. 4.1), свидетельствует о вытеснении лабильностью, приобретающей характер грамматического явления, показателя деривации.

Зависимость лабильности от свойств грамматической системы не стопроцентна, однако можно сформулировать ряд тенденций:

- Большие системы с преобладанием глаголов с высокой семантической переходностью встречаются в эргативных языках¹⁸. Однако большие системы, включающие глаголы с низкой семантической переходностью, не менее характерны для аккумулятивных языков, чем для эргативных.
- Лабильность связана не только с системой дериваций, но и со свойствами конкретных маркеров. Большая грамматикализация маркеров деривации обычно предполагает меньшее число лабильных глаголов. При меньшей грамматикализации (автономные лексические показатели и/или непродуктивные показатели словообразовательного типа) возрастает число лабильных глаголов.
- Количество лабильных глаголов часто возрастает, если язык имеет дополнительные средства разграничения переходного и непереходного употреблений (например, различные «переходный» и «непереходный» типы спряжения).

СОКРАЩЕНИЯ

1, 2, 3 – первое, второе, третье лицо	LOC – локативные показатели
A – агентивный показатель	M – мужской род
ABS – абсолютив	NEG – отрицание
ACC – аккумулятив	PART – причастие
CAUS – каузатив	PASS – пассив
DAT – датив	PL – множественное число
DEF – определенный артикль	POSS – посессивный показатель
DIR – директив	PP – послелог
ERG – эргатив	PRS – настоящее время
F – женский род	PST – прошедшее время
FOC – показатель фокуса	REL – показатель относительного придаточного
GEN – генитив	SG – единственное число
INCOMPL – инкомплетив	COMPL – комплетив

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аркадьев, Летучий 2007 – П.М. Аркадьев, А.Б. Летучий. Типологически нетривиальные свойства морфологического каузатива в адыгейском языке // С.С. Сай, А.Ф. Выдрин и др. (ред.). Четвертая конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей. СПб., 2007.
- Бокарев 1949 – А.А. Бокарев. Синтаксис аварского языка. М.; Л., 1949.
- Вейсман 1889 – А.Д. Вейсман. Древнегреческий словарь. Петербург, 1889.
- Гаврилова 2001 – В.И. Гаврилова. Пассивные и квазипассивные конструкции русского языка. 2001. (рукопись).
- Гецадзе и др. 1969 – И.А. Гецадзе, В.П. Недялков, А.А. Холодович. Морфологический каузатив в грузинском языке // А.А. Холодович (ред.). Типология каузативных конструкций. Л., 1969.

¹⁸ В то же время вопрос связи лабильности со строем языка заслуживает дополнительного изучения в связи с отмеченной многими исследователями разнородностью класса эргативных языков.

- Имнайшвили 1963 – Д.С. Имнайшвили. Дидойский язык в сравнении с гинухским и хваршинским языками. Тбилиси, 1963.
- Инэнликэй, Недялков 1967 – П.И. Инэнликэй, В.П. Недялков. Из наблюдений над эргативной конструкцией в чукотском языке // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов / Отв. ред. В.М. Жирмунский. Л., 1967.
- Кибрик 1992 – А.Е. Кибрик. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.
- Кибрик и др. 1977 – А.Е. Кибрик, С.В. Кодзасов, И.П. Оловянникова, Д.С. Самедов. Опыт структурного описания арчинского языка. Т. 1. Лексика. Фонетика. М., 1977.
- Кибрик и др. 2000 – А.Е. Кибрик, С.В. Кодзасов, И.А. Муравьева. Язык и фольклор алыторцев. М., 2000.
- Кибрик (ред.) 2001 – А.Е. Кибрик (ред.-сост.). Багвалинский язык: Грамматика. Тексты. Словари. М., 2001.
- Климов, Алексеев 1980 – Г.А. Климов, М.Е. Алексеев. Типология кавказских языков. М., 1980.
- Летучий 2005 – А.Б. Летучий. Непрототипическая переходность и лабильность: фазовые лабильные глаголы // ВЯ. 2005. № 4.
- Летучий 2006а – А.Б. Летучий. Лабильность в русском языке: случайность или закономерность? // Сб. трудов конф. «Диалог-2006». М., 2006.
- Летучий 2006б – А.Б. Летучий. Типология лабильных глаголов: семантические и морфосинтаксические аспекты: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2006.
- Летучий (в печати) – А.Б. Летучий. Каузатив, декаузатив и лабильность в адыгейском языке // Синтаксис полисинтетического языка. (В печати).
- Лютикова 2002 – Е.В. Лютикова. Русские лабильные глаголы в типологической перспективе. Материалы к докладу на Ломоносовских чтениях. М., 2002.
- Лютикова и др. 2006 – Е.А. Лютикова, С.Г. Татевосов, М.Ю. Иванов, А.Г. Пазельская, А.Б. Шлуинский. Структура события и семантика глагола в карачаево-балкарском языке. М., 2006.
- Мельчук 1995 – И.А. Мельчук. Русский язык в модели «Смысл – Текст». М., 1995.
- Недялков, Сильницкий 1969 – В.П. Недялков, Г.Г. Сильницкий. Типология морфологического и лексического каузативов // А.А. Холодович (ред.). Типология каузативных конструкций. Л., 1969.
- Полинская 1986 – М.С. Полинская. Диффузные глаголы в синтаксисе эргативных языков: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1986.
- Рогав, Керашева 1966 – Г.В. Рогав, З.И. Керашева. Грамматика адыгейского литературного языка. Краснодар; Майкоп, 1966.
- Чикобава 1942 – А.С. Чикобава. Проблема эргативной конструкции в кавказских языках: стабильный и лабильный варианты этой конструкции // Известия ИЯИМК. XII. Тбилиси, 1942 (на грузинском языке).
- Щека 1999 – Ю.В. Щека. Интенсивный курс турецкого языка. М., 1999.
- Aikhenvald, Dixon 1999 – A. Aikhenvald, R.M.W. Dixon. Other small families and isolates // A. Aikhenvald, R.M.W. Dixon (eds.). The Amazonian languages. Cambridge, 1999.
- Al-Kadari 1995 – A. Al-Kadari. Transitivity in Bible Hebrew. Tel-Aviv, 1995 (на иврите).
- Baker 1986 – M.C. Baker. The polysynthesis parameter. Oxford, 1986.
- Bok-Bennema 1991 – R. Bok-Bennema. Case and agreement in Inuit. Dordrecht, 1991.
- Campbell 1985 – L. Campbell. The Pipil language. Berlin, 1985.
- Chaker 1983 – S. Chaker. Un parler berbère d'Algérie (kabylië). Paris, 1983.
- Cornips, Hulk 1996 – I. Cornips, A. Hulk. Ergative reflexives in Heerlen Dutch and French // Studia linguistica. 50, 1. 1996.
- Căluianu 2000 – D. Căluianu. Emotion verbs in Romanian // R. Kikusawa, K. Sasaki (eds.). Modern approaches to transitivity. Tokyo, 2000.
- Daniel et al. (в печати) – M.A. Daniel, T.A. Maisak, S.R. Merdanova. Causatives in Agul // B. Comrie, V. Solovyev, P. Suihkonen (eds.). Selected Proceedings of the International Symposium on the typology of argument structure and grammatical relations in languages spoken in Europe and North and Central Asia (LENCA-2). Amsterdam, (в печати).
- Dixon 1988 – R.M.W. Dixon. A grammar of Boumaa Fijian. Chicago, 1988.
- Dixon 2000 – R.M.W. Dixon. A typology of causatives: form, syntax and meaning // A. Aikhenvald, R.M.W. Dixon (eds.). Changing valency. Case studies in transitivity. Cambridge, 2000.

- Drossard 1998 – W. Drossard. Labile Konstruktionen // L.I. Kulikov, H. Vater (eds.). Typology of verbal categories. Papers presented to V.P. Nedjalkov on the occasion of his 70th birthday. Tübingen, 1998.
- Geniušienė 1987 – E. Geniušienė. The typology of reflexives. Berlin; New York; Amsterdam, 1987.
- Greimas 2001 – A.J. Greimas. Dictionnaire de l'ancien français. Paris, 2001.
- Greimas 1992 – A.J. Greimas. Dictionnaire du moyen français. Paris, 1992.
- Grimshaw 1990 – J. Grimshaw. Argument structure. Cambridge (Mass.), 1990.
- Guirardello 1999 – R. Guirardello. A reference grammar of Trumai. Houston, 1999.
- Haspelmath 1993a – M. Haspelmath. More on typology of inchoative/causative alternations // B. Comrie, M. Polinsky (eds). Causatives and transitivity. Amsterdam, 1993.
- Haspelmath 1993b – M. Haspelmath. A grammar of Lezgian. Berlin, 1993.
- Hopper, Thompson 1980 – P. Hopper, S. Thompson. Transitivity in grammar and discourse // Language. V. 56. 1980. № 2.
- Kemmer 1993 – S. Kemmer. The middle voice. Amsterdam; Philadelphia, 1993.
- Kibrik 1996 – A.A. Kibrik. Transitivity in Godoberi // A.E. Kibrik (ed.). Studies in Godoberi. München, 1996.
- Kirtchuk 1989 – P. Kirtchuk. Classes de verbes en Hébreu (biblique et contemporain): Etude morpho-syntaxique et sémantique // Actances. 4. 1989.
- Kulikov 1998 – L.I. Kulikov. Passive, anticausative and classification of verbs. The case of Vedic // L.I. Kulikov, H. Vater (eds.). Typology of verbal categories. Papers presented to V.P. Nedjalkov on the occasion of his 70th birthday. Tübingen, 1998.
- Moyse-Faurie 1995 – C. Moyse-Faurie. Le xârâcùù, langue de Thio-Canala (Nouvelle-Calédonie). Eléments de syntaxe // SELAF. № 355. Paris, 1995.
- Næss 2007 – Å. Næss. Prototypical transitivity // Typological studies in language. 72. Amsterdam; Philadelphia, 2007.
- Nedjalkov 2007 – V.P. Nedjalkov. Overview of the research. Definitions of terms, framework, and related issues // V.P. Nedjalkov et al. (eds.). Reciprocal constructions. Amsterdam; Philadelphia, 2007.
- Nichols et al. 2004 – J. Nichols, D.A. Peterson, J. Barnes. Transitivity and detransitivizing languages // Linguistic typology. V. 8. 2004.
- Press 1980 – M.R. Press. Chemehuevi. A grammar and lexicon. Berkeley, 1980.
- Pylkkänen 2002 – L. Pylkkänen. Introducing arguments. Cambridge (Mass.), 2002.
- Rizzi 1986 – L. Rizzi. Null objects in Italian and the Theory of pro // Linguistic inquiry. V. 15. 1986.
- Sumbatova, Mutalov 2003 – N.R. Sumbatova, R.O. Mutalov. A grammar of Icarí Dargwa. München, 2003.
- Vajda 2005 – E. Vajda. Active alignment and morphological transitivity. Paper given on the conference «Typology of active/stative languages». Leipzig, 2005.
- Vydrine 1994 – V.F. Vydrine. Verbes réfléchis bambara // Mandenkan. № 28. 1994.
- Zavala 2000 – R. Zavala. Inversion and other topics in the grammar of Olutec (Mixean). PhD diss. University of Oregon. 2000.

© 2009 г. Т.Л. ПОПОВА-БОТТИНО

ПРОБЛЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИЦЫ *БЫЛО* С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО АНАЛИЗА

Размещение *было* в высказывании рассматривается с позиций коммуникативного анализа. Использование формальных критериев (актуальное членение высказывания на тему и рему, его акцентное и интонационное оформление) подтверждает энклитическую природу частицы, размещение которой зависит от коммуникативной логики говорящего. Начальное размещение *было* связано с фокализацией одного из элементов пропозиции X и ее полемическим характером: говорящий опровергает имплицитно существующую в предтексте и актуализируемую *было* конкурентную пропозицию X' и утверждает X. Неначальное размещение *было* связано с фразовым акцентом и введением пропозиции X независимо от презумпции X', что соответствует выражению критического взгляда на X. Выбор размещения *было* зависит от контекста и иллокутивного намерения говорящего.

Было принадлежит к разряду клитических частиц, то есть фонетически несамостоятельных единиц, опирающихся на предшествующий или следующий за ними элемент высказывания, как правило, предикат. В связи с вариациями в размещении частицы возникает вопрос о ее статусе как проклитики, энклитики или же клитики, имеющей и то, и другое употребление, параметры которого остаются пока неясными. Эти позиционные вариации наблюдаются уже в средневековых рукописях, но в посвященных *было* работах, эта особенность употребления частицы не упоминается¹, а ее проклитическая или энклитическая природа до сих пор не была уточнена.

Свободное размещение *было* в высказывании заслуживает внимания само по себе как еще не изученный языковой факт и находится, по нашему мнению, в тесной связи со значением частицы. Выбор говорящим размещения *было* производится им подсознательно и позволяет выявить «скрытые», имплицитные значения, соответствующие его определенной психологической установке. Размещение частицы является, на наш взгляд, своего рода «пробным камнем», способствующим пониманию ее функционирования и вместе с тем разнообразия ее семантических вариаций.

Частица уже была неоднократно описана, но несмотря на это, ее роль в высказывании остается недостаточно ясной, а точки зрения авторов часто являются радикально противоположными. Так, в [Русская грамматика 1982: 727–728] *было* представляется как модальная частица, характеризующая действие с точки зрения его «неполноты, неполноценности». Ю. Князев считает, что с личными формами глагола употребление *было* факультативно [Князев 2004: 299–300], а J. Fontaine прямо высказывается в пользу тавтологического характера частицы [Fontaine 1983: 134].

В лингвистической литературе употребление *было* рассматривается с семантико-аспектуальной точки зрения и ограничивается описанием сочетаний частицы с раз-

¹ Исключением является статья И. Шошитайшвили [Шошитайшвили 1998: 74], в которой эта особенность упоминается, но не анализируется, будучи сведена к гипотезе, что постпозиция *было* предпочтительнее его препозиции в связи с тем, что частица постепенно переходит в разряд аффиксов, подобно английским предлогам.

личными типами глаголов. *Было* характеризуется как маркер, означающий, что результат действия *p*, выраженного глаголом в прошедшем времени, в момент речи T_0 не является актуальным. Считается², что *было* употребляется в трех случаях:

- действие было предусмотрено, но не было совершено;
- действие началось, но не было доведено до конца;
- действие осуществилось, но его результат был аннулирован.

Некоторые авторы (например [Шошитайшвили 1998]) добавляют к этому перечню еще одно значение *было*: действие было совершено, но достигло иной цели, чем та, ради которой оно выполнялось.

С точки зрения анализа семантических вариаций *было* следует отметить, что определенное число примеров, взятых из классической и современной литературы, свидетельствует о том, что частица может употребляться в случаях, когда не выражается ни одно из перечисленных выше значений³ или же в контекстах, в которых употребление *было* может показаться тавтологичным:

- (1) *Площадь была не красной, а белой, метель сыпалась с крыши и вздымалась назад к крышам; под площадью тоже ничего заманчивого не таилось. Рабочие открыли было какой-то люк, и мы побрели посмотреть, но это чинили коллектор под магазином «Эсте Лаудер»* (Т. Толстая).
- (2) – *Иван Игнатьич одобряет нашу мировую.*
– *А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?*
– *Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем.*
– *За что так?*
– *За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна* (А. Пушкин).
- (3) – *Мне тут рассказывали, что ты стал «голубым».*
Я было хохотнул, а она:
– *Зря смеешься, там дело серьезное* (Л. Захаров).

В примере (1) действие *p* было осуществлено и достигло искомого результата; в примере (2), хотя результат *p* и не актуален в момент речи T_0 (*поссорились* → *помирились*), его аннулирование уже дано в предтексте независимо от частицы, которая могла бы показаться бесполезной, но при этом ее удаление не представляется возможным; что же касается (3), то, если считать, что семантизм *было* ограничивается вышеперечисленными значениями, то снова вполне закономерно может возникнуть вопрос о целесообразности его употребления. Вопрос о семантизме частицы и ее функциях остается, таким образом, открытым.

Считая, что функция *было* состоит в указании на аномальность в совершении действия, выраженного глаголом совершенного вида прошедшего времени, авторы посвященных частице работ, как правило, ставят своей задачей локализовать момент прерывания этого действия – до его начала, во время его протекания или после его завершения. Само действие при этом разбивается на фазы – предварительную фазу, фазу протекания действия *p* и его завершающую фазу. Подобный подход находится в противоречии с определением глаголов совершенного вида, разделяемым большинством лингвистов: глагол совершенного вида представляет действие во всей его це-

² [Русская грамматика 1982: 101–102; Галкина-Федорук 1960: 646; Чернов 1970: 261; Князев 2004: 299–300; Barentsen 1986: 1–4].

³ Приведенные примеры принадлежат авторам разных эпох и стилей, их достоверность не подлежит сомнению, а их принадлежность к различным языковым стилям для нас не имеет значения: мы рассматриваем реально существующие языковые факты, не оценивая их литературную ценность, а используя исключительно как материал для лингвистического анализа.

лостности, что исключает применение к нему самого понятия фазовости и не позволяет рассматривать подобное действие с точки зрения его развития⁴.

Принимая во внимание факт, что в большей части контекстов с *было* используются глаголы именно совершенного вида, убедительный анализ употребления частицы должен основываться прежде всего на четком подходе к проблеме вида в русском языке. Именно поэтому мы считаем, что действие, выражаемое глаголом совершенного вида в комбинации с *было*, никоим образом не может быть прервано во время его протекания, а только до его начала или после его завершения.

Следует также заметить, что попытки определить, было ли действие осуществлено или же только задумано, представляются во многих контекстах тщетными и не имеющими особого значения для понимания их общего смысла:

(4) *Михаил по-свойски закричал было на переступившую порог сестру и прикусил язык: Лизка была не одна* (Ф. Абрамов).

Семантико-аспектуальные исследования контекстов с *было* представляют собой неоспоримый интерес с точки зрения составления типологии предикатов, сочетающихся с частицей: они описывают возможности сочетания частицы с теми или иными типами глаголов⁵ и составляют перечень ситуаций, в которых *было* может употребляться. Однако семантизм и закономерности функционирования самой частицы остаются при этом неисследованными.

Мы предлагаем иной подход к описанию *было*, исходя не из семантико-аспектуальной проблематики его употребления, а основываясь на заданной в контексте определенной коммуникативной ситуации. Собственное значение частицы и механизм ее употребления, на наш взгляд, могут быть поняты и последовательно описаны, если отталкиваться от исходного постулата, что функция *было* является прежде всего коммуникативной.

Наш метод основывается на следующих принципах.

Анализ примеров предлагается в наиболее широком контекстуальном окружении, принимая во внимание локализацию и точку зрения говорящего на действие *p*, локализацию и точку зрения его собеседника, реального или потенциального, а также наличие или отсутствие эксплицитных или имплицитных презумпций у говорящего или же его собеседника.

Мы считаем необходимым учитывать и этимологию частицы, имеющую определенное экзистенциальное значение, а также мнение говорящего о реальном или только предполагаемом существовании в прошлом действия *p*.

Основой подхода к анализу употреблений *было* является его классификация в разряд дискурсивных маркеров, которые оповещают о существовании скрытых грамматических значений или семантических модификаций. К. Бонно относит к классу дискурсивных маркеров «словесные единицы, комментирующие введение термина *X* (их сферу действия), уточняя его статус по отношению к другим терминам *X'*, *X''* ..., которые могли бы занять ту же самую позицию в высказывании» [Bonnot 2001–2002: 10]. Д. Пайар определяет их как термины, связывающие между собой составляющие дис-

⁴ Мы не считаем возможным отождествлять глаголы совершенного вида, означающие моментальные действия (*взглянуть*, *шевелинуться*, т.д.), с моментальными процессами и рассматривать их как последовательность идентичных фаз, разделенных чрезвычайно кратким отрезком времени. Адвербиальные выражения (*он с улыбкой протянул ей конверт*) характеризуют моментальное действие или служат фоном для его реализации, но не отсылают к идее протекания действия (процессу или деятельности), естественно выражаемой глаголами несовершенного вида.

⁵ Отсылаем читателя к нашей докторской диссертации, в которой сделана попытка составить типологию и предикатов, с которыми сочетается *было*, и ситуаций, в которых частица употребляется, а также к последующим публикациям [Bottineau 2001–2002; 2004; 2005; Попова-Боттино 2007; 2008].

курса и определяющие статус фрагмента высказывания, их сферы действия, как определенный способ выразить некое определенное «положение вещей» [Киселева, Пайар 1998: 21–23].

Основываясь на этих определениях, мы считаем, что основной функцией *было* является выражение оппозиции между двумя точками зрения на действие *p*, которая строится на понятийном, на оценочном или сразу на обоих уровнях [Попова-Боттино 2008: 135–145].

Мы отталкиваемся от объективно существующих, формальных критериев, характеризующих высказывания с *было*: протяженность сферы действия *было* и расположение частицы в препозиции или постпозиции к ней, общие просодические характеристики пропозиции – интенсивность ударения и выбор элемента, который его получает, а также интонационное оформление высказывания.

На основе анализа этих критериев мы надеемся показать, что размещение *было* в высказывании не может считаться произвольным.

1. БЫЛО – ЭНКЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТИЦА

Размещение *было* не позволяет с точностью определить, является ли частица энклитикой или проклитикой, поскольку она может предшествовать или следовать элементу, чаще всего глаголу, на который она фонетически опирается.

Анализ формальных критериев позволяет прийти к заключению, что *было* является строгой энклитикой.

Подобно этимологически близкой частице *бы* и в отличие от другой близкой частицы *бывало* с двойным, проклитическим и энклитическим употреблением, *было* никогда не встречается в абсолютном начале высказывания:

- (5) *Она было побежала, так это было счастливо, но на пороге, свернувшись калачиком, лежала громадная Калерия, и через нее нельзя было переступить* (Б. Окуджава).

Но:

- (5а) **Было она побежала, так это было счастливо, но на пороге, свернувшись калачиком, лежала громадная Калерия, и через нее нельзя было переступить*.

Вторым значимым критерием мы считаем невозможность употребления *было* сразу после паузы, разделяющей высказывание на тему и рему, о чем свидетельствует следующий пример⁶:

- (6) – *И чтобы им было совсем хорошо, он запел трогательную песню тех мест, откуда только что прибыл... На минуту / [притихли было]: Степана целиком захватило чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел. Песня не понравилась – не оценили чувства раскаяния грешницы, не тронуло оно их* (В. Шукшин).

Обстоятельство времени *на минуту* задает высказыванию его временную рамку и является темой. Находясь в начальной позиции, тема отделяется от ремы паузой и произносится с особым ударением, называемым тематическим. *Было* употребляется в рематической части, где занимает единственно возможную позицию после глагола. Наличие паузы и актуальное членение высказывания имеют здесь определенную функцию, они передают атмосферу напряжения в ожидании дальнейшего развития

⁶ Квадратные скобки указывают сферу действия *было*.

событий: вернувшийся из колонии Степан настороженно наблюдает за реакцией своих земляков. Действительно, в момент действия T_p , он надеется, что действие p (*притихли*) приведет к результативному процессу (*слушают песню*) и ситуации Sit_p (*песня понравилась*), но констатирует, что в момент T_{p+i} существует ситуация $Sit_{не-p}$ (*песня не понравилась*). Предложение с *было* оповещает читателя об отсутствии ожидаемого Степаном результата и выражает его разочарование. Информационное содержание рематической части пропозиции составляет сферу действия X дискурсивного слова *было*, которую оно комментирует с позиции Степана или рассказчика, передающего его субъективное восприятие действительности.

Перемещение *было* в препозицию к глаголу возможно, но имело бы своим последствием отсутствие паузы, связанное с этим изменение актуального членения высказывания и иную подачу информации:

(6а) [*На минуту было притихли*]: Степана целиком захватило чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел. Песня не понравилась – не оценили чувства раскаяния грешницы, не тронуло оно их.

При отсутствии паузы после обстоятельства времени высказывание становится коммуникативно нерасчлененным, и, хотя общее содержание информации остается прежним, оно подается иначе – люди ненадолго замолчали. Подобное описание ситуации отражает взгляд объективного наблюдателя, скорее всего рассказчика, не принимающего во внимание переживания Степана, при этом стирается эффект ожидания и разочарования Степана, вызванный существованием $Sit_{не-p}$. Сфера действия X частицы включает в себя всю пропозицию, включая обстоятельство времени *на минуту*.

Итак, поскольку частица *было* никогда не размещается в абсолютном начале высказывания и не употребляется после паузы, отделяющей тему от ремы, она является строгой энклитикой, которая употребляется в двух позициях – в так называемой позиции Вакернагеля⁷, то есть сразу после первого ударного слова высказывания или же его ремы, а также в ненадлежащей позиции, в постпозиции к глаголу или иному компоненту высказывания.

Изменение позиции *было* влечет за собой последствия на уровне актуального членения и на манере подачи информации.

II. РАЗМЕЩЕНИЕ *БЫЛО* И ПРОСОДИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

В соответствии с правилами акцентуации, в трехсоставном предложении фразовый акцент нормально размещается на дополнении [Кодзасов 1996: 181–184]. Обозначаемый нами знаком ' , этот тип ударения встречается в предложениях, «не имеющих имплицитного содержания и лишенных какой-либо эмоциональной нагрузки. Он падает на составляющий элемент, являющийся носителем основной информации и не имеющий закрепленного за ним определенного места. Он характеризуется падением тона на ударном слоге, которому предшествует существенный негативный интервал» [Fougeron 1987: 245].

Введение *было* в постпозицию к глаголу в трехсоставном предложении, когда «нейтральный» фразовый акцент располагается на дополнении, никоим образом не влияет на просодию высказывания:

(7) Она засобира[']лась было ' обратно, да передумала (Ф. Абрамов).

(7а) Она засобира[']лась ' обратно, да передумала.

⁷ Согласно закону Вакернагеля [Wackernagel 1953], в индоевропейских языках действует правило постановки энклитики в постпозиции к первому слову группы, к которой она относится.

Частица вполне может быть перемещена и в препозицию к глаголу:

(7б) *Она было ''засобиралась обратно, да передумала.*

Манипуляция в (7б) влечет за собой определенные последствия: ударение перемещается с дополнения на вершину предиката, а модальный фокус высказывания получает специфическую реализацию – тон падает с более высокого уровня и с большим интервалом изменения, поскольку падение начинается внутри ударного гласного, тогда как при фразовом ударении в (7 и 7а) оно наблюдается начиная с предшествующего согласного. Этот тип акцента С.В. Кодзасов называет «контрастивным акцентом», а мы обозначаем знаком ''. Интонация законченного высказывания в (7) и (7а) довольно близка по своим характеристикам, в то время как в (7б) отчетливо прослушивается интонация незавершенности.

Таким образом, размещение *было* отражается на просодическом оформлении высказывания, а его употребление в препозиции или постпозиции к элементу, на который фонетически опирается частица, определяет наличие фразового или контрастивного акцента и разницу в интонационном обыгрывании высказывания.

На основе этого наблюдения, мы предлагаем следующую рабочую гипотезу: употребление *было* в позиции Вакернагеля и связанные с ним контрастивный акцент и фокализация предикативной вершины характерны для высказываний, в которых сообщается особо важная для говорящего информация р, имплицитно противопоставляемая потенциальному содержанию не-р.

III. РАЗМЕЩЕНИЕ *БЫЛО* И ПРЕЗУМПЦИЯ

Для проверки этой гипотезы мы провели опрос информантов по следующим примерам, мало отличающимся по своему информативному содержанию, но различающимся по размещению *было*. Во всех контекстах частица имеет сферой действия X всю пропозицию⁸:

(8) [*Мы с Петей пошли было в кино*], да деньги забыли.

(9) [*Он дал было мне деньги*], но я их вернул.

(10) [*Мы с Петей было пошли в кино*], да деньги забыли.

(11) [*Он было дал мне деньги*], но я их вернул.

Информантам было предложено прочесть контексты и поставить к ним вопросы:

(8а) – *Что ты вчера делал?*

– [*Мы с Петей пошли было в ' кино*], да деньги забыли.

(9а) – *Он тебе как-нибудь помог?*

– [*Да дал было ' деньги*], но я их вернул.

(10а) – *Что же, ты так и не посмотрел фильм с Аджани ?*

– [*Мы с Петей было '' пошли в кино*], да деньги забыли.

(11а) – *А он тебе денег дал?*

– [*Он было '' дал*], но я их вернул.

В первых двух примерах с постпозицией *было* фрагмент X ([сфера действия *было*]) был прочитан с фразовым акцентом на актанте в соответствии с правилами акцентуации трехсоставного предложения. Эти примеры лишены какого бы то ни было имплицитного содержания и эмоционального заряда и характеризуются падением тона. В

⁸ Высказывание не подлежат актуальному членению в связи с невозможностью удаления актантов и отсутствием паузы.

двух последних контекстах, где *было* стоит в позиции Вакернагеля, чтение фрагмента Х было отмечено контрастивным акцентом, размещенным на фокализованном члене высказывания – его предикативной вершине, эти контексты были прочитаны с интонацией незавершенности.

Предложенные информантами вопросы отличаются по содержанию. К контекстам (8) и (9) вопросы были сформулированы как просьба дать информацию общего толка и вне какой-либо презумпции. Эти контексты не были поняты ими как подтверждающие или, наоборот, опровергающие какое-либо предварительно выраженное содержание, но как ответы, дающие общую информацию.

К контекстам (10) и (11), где *было* стоит в позиции Вакернагеля, вопросы были поставлены как уточнения по поводу уже затронутой ранее или же понятной собеседникам темы. Эти вопросы сформулированы, исходя из эксплицитно выраженной презумпции не-р в (8а) или р в (9а), которую ответ должен подтвердить или опровергнуть.

Иными словами, выбор размещения *было* оказывается неслучайным и соответствует двум различным типам предложений: первый (8, 9) является «информативным» типом («информативное высказывание» [Кодзасов 1996: 181–203]) или, по терминологии Ш. Балли [Bally 1965], «диктальным», в то время как второй (10, 11) является «модальным» типом, в котором проверяется адекватность имплицитной презумпции реальному положению дел («верификативное высказывание»).

В самом деле, вопросы (8а) и (9а) открывают широкие возможности для ответа (пойти в гости, остаться дома, работать и т. д.; дать совет, одолжить свою машину, подействовать перед начальством и т. д.), в них не вводится некий абстрактный когнитивный объект Х или Х', имплицитно ограничивающий выбор ответом да / нет, и действие р впервые появляется только в ответе на вопрос. Каким бы ни был выбранный вариант ответа, фразовый акцент размещается на дополнении в соответствии с правилами фразовой акцентуации.

Что касается вопросов (10а) и (11а), они содержат в себе имплицитную информацию о некоем возможном положении вещей Х', введенном в предтексте или заданном ситуативно, которую говорящий стремится проверить. Ответы на эти вопросы ограничиваются вариантами да/нет, соотносятся с содержанием пропозиции Х, но при этом актуализируют выбор р или не-р. Контрастивный акцент в (10) и (11), размещенный на предикативной вершине, реализуется с гораздо большей интенсивностью и на более высоких частотах, чем фразовый акцент в (8) и (9).

Таким образом, в высказываниях, в которых *было* располагается в позиции Вакернагеля, пропозиция Х вводится в оппозиции к конкурентной Х', уже имеющей опору в предтексте, где она имплицитно или эксплицитно введена говорящим. При подобном размещении *было* можно говорить о начальной ориентации частицы, употребление которой заранее мотивируется альтернативой р/не-р.

В высказываниях, где *было* употребляется в нена начальной позиции, чаще всего в постпозиции к глаголу, пропозиция Х выражена независимо от предтекста, а не-р вводится только после р. При таком размещении *было* можно говорить о хронологическом введении событий и о линейной, или нена начальной ориентации частицы.

Обе позиции скоррелированы с акцентным и интонационным оформлением высказывания: при начальной ориентации частицы наблюдается существование фокуса противопоставления, контрастного акцента и интонации незавершенности; при ее линейной ориентации – отсутствие фокуса, наличие фразового акцента и конечного тона интонации.

Следует, однако, уточнить, что не размещение *было* обуславливает наличие контраста в высказывании, а наоборот, наличие контраста влечет за собой выбор размещения *было*.

Остается проверить эти наблюдения на конкретных примерах и попытаться описать некоторые из семантических вариаций *было*.

IV. БЫЛО В ПОЗИЦИИ ВАКЕРНАГЕЛЯ, ИЛИ НАЧАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

В этих контекстах информация заведомо подается говорящим не с объективной, а с полемической точки зрения:

– в момент речи T_0 , когда налицо ситуация $Sit_{не-р}$, говорящий стремится опровергнуть потенциальное мнение не-р и настоять на том, что в момент T_p действие р все-таки было совершено;

– в момент речи T_0 говорящий исходит из существующей ситуации ($Sit_{не-р}$ или Sit_p) и ретроспективно признает, что существовавшая в момент T_{p-i} презумпция (р или не-р) была ошибочной.

IV.1. Опровержение ретроспективного взгляда на ситуацию в момент T_0

В момент речи T_0 результат действия р и ситуация Sit_p отсутствуют, наблюдается существование $Sit_{не-р}$. Это благоприятствует имплицитному введению вполне обоснованной презумпции, что действие р в момент T_p реализовано не было, которая приписывается говорящим своему реальному или виртуальному собеседнику. Иллокутивным намерением говорящего является стремление настоять на реальности действия р в момент T_p и опровергнуть презумпцию не-р. Употребление *было* в этом случае находится в полном соответствии с его этимологическим экзистенциальным значением.

Отмечены два возможных акцентных оформления подобных высказываний.

Общий случай: наблюдается фокализация предиката, фокуса противопоставления, который несет на себе контрастивный акцент.

Частный случай: каждый значимый элемент высказывания акцентируется говорящим и преподносится им как содержащий важную информацию – подобное скандирование используется для оказания влияния на собеседника, как имплицитный способ психологического давления на него.

Общий случай

(12) (Накануне сражения офицер русской императорской армии оправдывается перед своими товарищами по оружию.)

– *Подумать только, она призналась, что девственница! Я было "собрался предложить ей руку и сердце, но вспомнил, что нынче меня убьют...*
(Б. Окуджава)

Сфера действия *было*, размещенного в позиции Вакернагеля и имеющего начальную ориентацию, включает в себя нерасчлененное рематическое предложение, произносимое с интонацией незавершенности и отличающееся обязательным присутствием правого контекста. Контрастивный акцент размещается на предикативной вершине, модальном фокусе высказывания.

Удаление *было* из этого контекста является возможным, однако влечет за собой изменения на уровне просодии:

(12а) *Подумать только, она призналась, что девственница! Я собрался предложить ей руку и 'сердце, но вспомнил, что нынче меня убьют...*

В (12а) нетрудно установить изменение интонации, а также иное размещение ударения и ослабление его интенсивности. Информация подается совершенно в ином ключе, события вводятся в их последовательном развитии и не имеют никакой полемической подоплеки, которая прослеживается в оригинале.

В (12) говорящий имплицитно актуализирует презумпцию не-р, которую произвольно, но вполне обоснованно, приписывает офицерам: поскольку в момент T_p предложения девушке не сделано ($Sit_{не-р}$), то можно подумать, что такого намерения нико-

гда и не существовало (не-р). Коммуникативная задача говорящего состоит в том, чтобы отвергнуть это предположение и настоять на реальности *p* в момент действий T_p . Актуализация конкурентной сущности не-р и ее опровержение говорящим являются тем более вескими, что, по всей вероятности, он разделяет общепринятую в этой среде и в эту эпоху точку зрения – по правилам чести офицер русской армии должен был жениться на скомпрометированной им девушке. Имплицитная актуализация не-р говорящим придает его высказыванию оправдательный тон, который соответствует содержанию продолжения справа и вводит в контекст значение уступки. Контекст может быть перефразирован следующим образом: *я не сделал ей предложения, хотя и был готов его сделать, но это не имело никакого смысла накануне сражения, где меня могут убить*.

Необходимой опорой для этой коммуникативной логики являются содержание справа и действие p_1 «вспомнил, что меня убьют», объясняющие поведение субъекта в момент действия и точку зрения говорящего в момент речи. Именно поэтому удаление продолжения справа несовместимо с формальными критериями – размещением *было* и акцентными характеристиками высказывания в целом.

Иначе говоря, с точки зрения временной интерпретации контекста, его полемический характер связан с тем, что говорящий имеет две разные точки отсчета: конкурентная пропозиция X' и действие не-р, которые говорящий актуализирует, употребляя *было*, имеют точкой отсчета момент высказывания T_0 , а пропозиция X и действие p , на которых настаивает говорящий, соотносятся с моментом действия T_p .

Фокализация предиката и связанное с ней просодическое и акцентуальное оформление изначального высказывания соответствуют употреблению *было* в его этимологическом экзистенциальном значении, обусловленном контекстуальными факторами, а именно, необходимостью настоять на реальном характере действия p , несмотря на существование $Sit_{не-р}$ и отсутствие результата p . Высказывание приобретает уступительный характер, а употребление *было* соответствует стремлению не только настоять на реальности p , но и желанию оправдаться.

Нельзя не заметить, что актуализация конкурентной пропозиции X' (*не собирался делать предложения*) имеет не только имплицитный, но и односторонний характер в том смысле, что исходит исключительно от говорящего, а не от его адресата. Одновременное введение говорящим X и X' свидетельствует о его раздвоении как коммуникативной инстанции, которая выстраивает две альтернативы, но отмечает одну из них, в этом примере альтернативу X' .

Частный случай

В следующем примере с начальной ориентацией *было* наблюдается так называемый феномен скандирования, когда каждый компонент высказывания несет на себе акцент, а интонация незавершенности оставляет ощущение недоговорки:

- (13) – Я тебе ремонтирую телевизор – ты мне делаешь столик. И квиты.
– Ладно, – тихий сосед вздохнул.
– Вот и поладили... [А то 'я 'было 'хотел 'твою 'жену в 'гости 'завзвать...]
Хотел завзвать ее, завлечь и пусть, мол, натурой оплатит...
– А?
– Зазову, думаю, ее посмотреть, как работает телевизор, зазову, а там даль-
ше винца по глоточку, музыку можно завести негромко. И прочее. А там –
посмотрим, как оно пойдет (В. Маканин).

Перемещение *было* в постпозицию к глаголу меняет ориентацию частицы и манеру подачи информации: фразовый акцент располагается на дополнении, высказывание звучит как законченная фраза, а многоточие вполне возможно заменить на точку:

(13a) – *Вот и поладили...* [*А то я хотел было твою жену в 'гости зазвать.*]

Употребляя *было* в позиции Вакернагеля в (13), говорящий не просто информирует своего собеседника, а стремится подчеркнуть, что каждая деталь его проекта *p* имеет особое значение, что его решение было запланировано и продумано. Подобная коммуникативная стратегия опирается на многоместную акцентуацию с тем, чтобы запугать собеседника. Высказывание построено с учетом двух точек отсчета – момента речи T_0 и момента действия T_p , что соответствует созданию полемической подоплеки.

Описание событий, исходя из T_0 , основывается на существовании ситуации $Sit_{не-p}$ – соседи поладили. Несовершенный вид глагола позволяет подчеркнуть прежде всего неактуальность *p* в момент T_0 : хотел, но больше не хочу. Но действие *p* настолько возмутительно, что говорящий вправе предположить недоумение и недоверие собеседника: употребляя *было*, он актуализирует конкурентную пропозицию X' , которую имплицитно приписывает своему соседу (*этого не может быть, ты не хотел пригласить мою жену*) и тут же опровергает ее, настаивая на реальности *p* (*я действительно хотел пригласить твою жену*). События представлены говорящим изнутри, разворачивающимися во времени, что соответствует, по выражению С.В. Кодзасова, их «приглазному изложению» [Кодзасов 1996: 198]. В связи с этим и подчеркивается каждая деталь разработанного плана – говорящий как бы возвращается в момент действия T_p , увлекая за собой своего собеседника, чтобы тот почувствовал серьезность ситуации. Акцентуация каждого компонента высказывания прячет за собой едва завуалированную попытку запугивания: я действительно хотел зазвать твою жену, пока я отказался от моей затеи, но вполне могу к ней вернуться, если мы не поладим.

Эта коммуникативная стратегия исчезает после удаления *было* в (13a), в следствие чего актуализация X' и попытки запугивания оказываются стертыми, а события подаются в хронологическом порядке. Наличие единственного фразового акцента на дополнении соответствует описанию ситуации снаружи, подаче «упакованной» информации, «заглазному изложению» [Там же]. Отсутствие Sit_p в момент T_0 оценивается как окончательное, а разлад между собеседниками как урегулированный, что подчеркивается интонацией завершенности, с которой информанты читают этот вариант. Употребление *было* позволяет говорящему заранее оповестить собеседника об аннулировании *p*, что соответствует выражению его отказа от своего первоначального намерения.

Было позволяет, таким образом, выразить два противоположных взгляда на действие *p*, что свидетельствует о раздвоении инстанции говорящего на две отдельные абстрактные коммуникативные опоры, соотносящиеся с различными временными точками отсчета.

IV.2. Критическая переоценка перспективного взгляда на ситуацию, или нарушение презумпции

В этих высказываниях в момент речи T_0 строится оппозиция между презумпцией говорящего, существовавшей в момент T_{p-i} , и реальной ситуацией, констатированной им в момент T_p .

Здесь также существуют две возможности.

Ситуация, описанная в левом контексте, способствует построению презумпции *не-p*, оказавшейся ошибочной в момент T_p (14); ситуация, описанная в левом контексте, способствует построению презумпции *p*, в то время, как в момент T_p , реализуется действие *не-p* (15). В обоих случаях конкурентные пропозиции X и X' принадлежат различным модальным планам: презумпция, выдвинутая в момент T_{p-i} , относится к плану предположения, а пропозиция, существующая в момент T_p , принадлежит плану реальности.

Первая возможность

- (14) *Командиры, какие были при курсантах, а было их полторы калеки и все какие-то не горластые, смиренные, не такие, как в автополку, [они было, на своем рабочем месте ''пытались объяснить и объяснили наконец], что их курсанты, эти боевые шоферы-единицы, «газушку»-то едва научились водить, что такую громадину, да еще под названием «Студебеккер», они и во сне-то не видели, не то что наяву (В. Астафьев).*

Предтекст имеет имплицитную презумпцию X' , которая опровергается содержанием X , существование оппозиции находит свое подтверждение на уровне фокализации предиката, выделенного контрастивным акцентом. В самом деле, предтекст дает неблагоприятную оценку агенту (*полторы калеки и все какие-то не горластые, смиренные*) и вводит презумпцию – *командиры не будут пытаться объяснить ситуацию*. Несмотря на имплицитное введение X' и ожидание не- r , контекст недвусмысленно оповещает о том, что действие r имело место, более того, оно привело к результату (*объяснили*). Речь, таким образом, идет не об аннулировании результата r , а о настойчивом утверждении существования r , что соответствует корректировке исходной оценочной позиции говорящего: несмотря на то, что можно было подумать, что не- r , на самом деле все-таки r . *Было* употребляется, подобно примеру (13), в своем экзистенциальном значении, а также способствует выражению уступки.

Перемещение *было* в постпозицию к глаголу представляется здесь невозможным: линейная ориентация частицы соответствовала бы хронологической логике описания событий (*командиры пытались объяснить, но безрезультатно*), что противоречило бы содержанию правого контекста.

Вторая возможность

В следующем примере конкурентная пропозиция X' содержит презумпцию r :

- (15) *С этими словами он хотел в меня прицелиться... при ней! Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно! – закричал я в бешенстве; – а вы, сударь, перестанете ли вы издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?» «– Не буду, – отвечал Сильвио, – я доволен: я видел твое смятение, твою робость, я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня поминать. Предаю тебя твоей совести». Тут / он было ''вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся (А. Пушкин).*

Расположенное в начале предложения обстоятельство *тут* является темой высказывания и задает временную рамку действию, отделяясь от ремы паузой. Пауза служит созданию эффекта резкого прерывания логической связи с предтекстом и имплицитно выраженной в нем презумпцией r (*Сильвио выйдет*). Предикат, смысловой и просодический центр предложения, маркируется контрастивным акцентом. В самом деле, последняя реплика Сильвио (*Предаю тебя твоей совести*) звучит как заключительный аккорд и, казалось бы, предвещает его незамедлительный уход; рассказчик, опасаящийся своего противника, в момент T_{p-i} предполагает r . Употребление *было* в позиции Вакернагеля позволяет ему создать эффект обманутого ожидания, который он когда-то пережил сам, а теперь заставляет переживать своего собеседника. Высказывание заведомо построено исходя из презумпции X' и r , в то время, как X и не- r могут быть введены только впоследствии, когда говорящий констатирует, что Сильвио не вышел. Опровержение презумпции X' , построенной как проекция из T_{p-i} в T_p , имеет место в момент речи T_0 и является ретроспективной, поскольку соответствует корректировке говорящим его первоначальной оценки ситуации в T_{p-i} . Контекст можно передать следующим образом: *тогда я подумал, что он сразу же выйдет, а он не вышел.*

Как и в (14), перемещение *было* в неначальную позицию представляется затруднительным: это привело бы к модификации просодии высказывания и стиранию фокализации на уровне предиката, линейная ориентация частицы соответствовала бы хронологическому описанию событий (*сначала вышел, потом вернулся*) и была бы в противоречии с правым контекстом.

Еще один пример из современного произведения подтверждает этот анализ:

(16) (Говорящий терпеливо ждет, когда его подруга будет готова к выходу.)

Теперь Варвара старательно причесывалась – «здесь и здесь», как велела мадам Манро.

– Ты выйдешь или нет?! – прикрикнул Иван. – Ты же было вышла?!

– Да что ты ко мне пристал? – тоже крикнула Варвара и кинула щетку. – У нас еще много времени (Т. Устинова).

Интерес этого контекста заключается в том, что удаление *было* из него не представляется возможным. При его отсутствии глагол совершенного вида в прошедшем времени обозначал бы, что результат совершенного действия остается актуальным в момент речи, а это не соответствует действительности. Употребление *было* отражает существование имплицитной презумпции *p* как окончательно закрепленного в реальности результата, которую говорящий имел до момента речи. Эта презумпция оказалась ошибочной, и опровергается в высказывании. *Было* указывает на ретроспективную переоценку говорящим первоначального мнения, выявляя таким образом скрытые значения, содержащиеся в его реплике: я думал, что ты кончила приготовления и окончательно вышла из ванной, а оказалось, что ты еще не была готова и вернулась в ванную. Нетерпение и раздражение, характеризующие реплику, позволяют также построить оппозицию на уровне коммуникативных инстанций говорящего и его собеседницы, установочные позиции которых явно не совпадают: говорящий надеялся, что Варвара окончательно вышла из ванной, а Варвара с самого начала знала, что вышла только на минуту.

Анализ этого типа высказываний подтверждает связь между размещением частицы в позиции Вакернагеля и коммуникативной логикой высказывания. Говорящий занимает две противоположные позиции, соотносящиеся с двумя различными точками отсчета – моментом речи и моментом, предшествовавшим реализации *p*. В момент речи T_0 говорящий оглядывается в прошлое, оценивает события, исходя из реальности *X*, существовавшей в T_p , что ретроспективно позволяет ему опровергнуть или скорректировать оказавшуюся ошибочной презумпцию *X'*, индексированную на момент T_{p-i} . Именно конфронтация двух взглядов – взгляда в будущее из T_{p-i} и взгляда в прошлое из T_0 – ведет к фокализации компонента, являющегося центром конфронтации конкурентных позиций *X* и *X'*.

V. БЫЛО В НЕНАЧАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ, ИЛИ ЛИНЕЙНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

Как правило, в неначальной позиции *было* употребляется в нерасчлененных рематических предложениях и чаще всего опирается на предикат, хотя и встречаются примеры, когда частица следует за дополнением или обстоятельством. Собранный корпус примеров (500–550 контекстов) показывает, что, несмотря на кажущееся на первый взгляд преобладание неначальной позиции *было*, она встречается значительно реже, чем начальная. При учете правил актуального членения высказываний этот факт оказывается неоспоримым. Следует также отметить, что неначальная позиция *было* гораздо более характерна для нарративных контекстов, в то время как начальная встречается и в нарративе, и в дискурсе.

Неначальная позиция *было* всегда соответствует ситуациям, в которых действие *p* было совершено, но его результат по тем или иным причинам был аннулирован. В этих высказываниях речь идет не о верификации модуса пропозиции (да/нет), а о вы-

ражении субъективной оценки сущности *p* – перемены мнения, сожаления, иронии, угрызений совести и т.д. Действие *p* оценивается с критической точки зрения как неуместное, неэффективное, нежелательное и пр.

В этой статье мы рассмотрим только самый общий случай употребления *было* в постпозиции к предикату, оговаривая при этом, что опорой для частицы могут служить и другие компоненты высказывания.

В первых двух контекстах *было* употреблено в своем классическом значении – предвещение аннулирования результата действия *p*:

(17) *Я сразу узнал его – это был Ландратов. [Я попятился было по 'тоннелю], но понял, что как только он долетит до лунохода, я окажусь совершенно беззащитным. Секунду колебавшись, я пригнулся и нырнул под низкое заусенчатое дно (В. Пелевин).*

(18) *От напряженной работы и множества выкуренных в течение дня сигарет голова была тяжелой, и ей захотелось немного пройтись. [Она двинулась было мимо автобусной 'остановки], но спохватилась, что уже поздно, и Лешка, наверно, волнуется. Лучше сесть в автобус (А. Маринина).*

Частица опирается на предикат, произносится без ударения и с редукцией гласных; фразовый акцент размещается на дополнениях, носителях основной информации (*по 'тоннелю* и *мимо автобусной 'остановки*); предложения читаются с нисходящей интонацией завершенности без паузы, на одном дыхании. Отсутствие паузы подтверждает нерасчлененный характер высказываний и позволяет считать, что они полностью составляют сферу действия *X было*. Последовательный характер действий *p* (*попятился по тоннелю; двинулась мимо автобусной остановки*) и *p₁*, аннулирующих *Sit_p* (*нырнул под дно; спохватилась*), а также употребление союза *но* создают иллюзию хронологического описания фактов, индексированного на момент *T_p*: сначала *p*, потом *p₁*. Снова может встать вопрос о тавтологическом употреблении частицы.

Мы считаем, что сводить семантизм *было* к оповещению об аннулировании *Sit_p* означает отнести его к разряду формальных маркеров, не имеющих собственного значения [Fontaine 1883: 133–136], что находится в противоречии с его этимологией. Частица, по нашему мнению, позволяет ввести одновременно два конкурентных действия – *p* и не-*p*, и выразить таким образом существование в момент *T_p* альтернативы. Пропозиция *X (p)* вводится де-факто как реальное действие или намерение, а *было* в постпозиции к предикату оповещает о существовании конкурентной пропозиции *X' (не-р)*, которая необязательно имеет семантическую опору в предтексте. В момент речи *T₀* совершенный субъектом выбор *p апостериори* оценивается говорящим критически и при этом с понятийной точки зрения совершенно не имеет значения, было ли действие реально совершено или только планировалось. Линейный отрезок времени *i*, отделяющий момент *T_p* от момента *T_{p+i}*, когда результат *p* был аннулирован, говорящим в счет не принимается, поэтому мы говорим о синхронном введении *p* и не-*p*, которое соответствует не последовательному изложению – *p*, затем *p₁* и *Sit_{не-р}*, а конфронтации двух возможностей *p* и не-*p* и имплицитному выражению критической оценки первоначального выбора *p* как неадаптированного к ситуации (*не надо было углубляться в туннель; не принято задерживаться поздно вечером, не предупредив близких*). Выражение критического взгляда на *p* способствует созданию образа рассказчика, наблюдателя или актера событий. Эта оценочная установка исчезает при изъятии *было* из пропозиции (*Я попятился по тоннелю, но... пригнулся и нырнул под низкое заусенчатое дно; Она двинулась мимо автобусной 'остановки, но спохватилась...*), а высказывание приобретает характер объективного хронологического повествования. Ретроспективный взгляд на *p* в таких контекстах соотносится не столько с планом ассертивной модальности (да / нет), сколько с планом оценки, которая исчезает при изъятии *было* из предложения.

В следующем примере действие *p* привело к иному результату, чем ожидал агент:

(19) *Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. [Я бросился было к нему на 'помощь': несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками...]* (А. Пушкин).

Здесь наблюдаются те же самые формальные признаки: нерасчлененное предложение является сферой действия *было*, оно произносится с конечной интонацией и без паузы, фразовый акцент размещается на дополнении *помощь*, которое является носителем основной информации.

При отсутствии *было*, акцентное и интонационное оформление высказывания не претерпели бы никаких изменений, но содержание пропозиции было бы иным, поскольку синхронное введение *p* и не-*p* не было бы выражено, а аннулирование результата *p* было бы эксплицитно дано в правом контексте. Что касается возможного перемещения частицы в позицию Вакернагеля, то оно повлекло бы за собой фокализацию и размещение контрастивного ударения на предикате, что, в свою очередь, соответствовало бы совершенно иной подаче информации, как это было показано выше.

В примере же (19) рассказчик подает события, описывая их по ходу действия, не имея какой-либо презумпции. Драматические события, данные в предтексте, вполне могли вызвать иную реакцию у агенса – согласие на активное сотрудничество с составшими, испуг и молчание, побег и т.д. Употребление *было* позволяет рассказчику создать эффект неожиданного развития событий, который опирается на употребление двоеточия. Однако использование частицы в этом контексте соответствует не заблаговременному оповещению о последующем аннулировании результата *p* (*я бросился, потом остановился*), а об ином, неожиданном и драматическом для агенса последствии *p* (*я бросился на помощь, а меня арестовали*), при этом альтернатива выбора *p* или не-*p* возникает не у агенса в момент действия, а у говорящего в момент речи T_0 , с ретроспективной точки зрения: бросаться на помощь не имело смысла, помочь таким образом капитану Гринев никак не мог. Конкурентная пропозиция X' (не-*p*) вводится только после X и ретроспективно, а ее актуализация опирается исключительно на частицу, поскольку при отсутствии *было* критическая оценка *p* и альтернатива не-*p* более не выражаются, а события представляются в хронологическом порядке. После изъятия частицы использование двоеточия не представляется возможным, так как при хронологическом описании событий напрашивается употребление сочинительного союза *и* (*Я бросился к нему на помощь, и несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками*), использование которого невозможно при употреблении *было* (**Я бросился было к нему на помощь, и несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками*).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный анализ подтверждает статус *было* как дискурсивного слова и его коммуникативное назначение. Употребляя частицу, говорящий выражает две противоположные точки зрения на действие *p*, каждая из которых индексирована на отдельную временную точку отсчета. Это двойной взгляд на *p* выражается синхронно, однако может соответствовать различной коммуникативной логике, которая коррелируется выбором начальной или нена начальной позиции частицы.

При начальной позиции *было* (позиции Вакернагеля) говорящий отталкивается от существования $Sit_{не-p}$ и актуализирует альтернативный вариант пропозиции X' . Эксплицитная пропозиция X строится им как опровержение имплицитной, но закономерной конкурентной пропозиции X' . Иллокутивным намерением говорящего является стремление настоять на реальности X , несмотря на отсутствие результативной ситуации Sit_p ; логично, что при этом X и X' соотносятся уступительно, а введение X принимает аргументативный и диалогический характер. Употребление *было* в позиции Вакернагеля влечет за собой фокализацию одного из элементов пропозиции X , на уровне которого она противопоставляется X' . Чаще всего это предикат, вершина

которого несет на себе контрастивный акцент и сопровождается интонацией незавершенности, непременно требующей наличия правого контекста.

При неначальной позиции *было* X и X' существуют без какой-либо связи с предтекстом, при этом сначала вводится X, а потом X'. Оппозиция строится не контекстуально, а между конкурентными X и X', причем возникает как бы изнутри самого содержания X, что создает иллюзию хронологического изложения событий: сначала *p*, затем *p₁* и *Sit_{не-р}*. Однако употребление *было* не просто предвещает аннулирование результата действия *p*, которое, как правило, эксплицитно выражено в правом контексте, оно соответствует актуализации альтернативы X' как более приемлемого действия и выражает тем самым оценку *p* с критической точки зрения. Этот имплицитный процесс актуализации альтернативы выбора и выражения критического взгляда на *p* функционирует как бы по «замкнутому кругу», так как не имеет иной реальной опоры, кроме самой частицы. Подобное употребление *было* соответствует расположению фразового акцента в соответствии с правилами акцентуации на предикате или его дополнении и интонации завершенности, что объясняет существование высказываний с *было*, не нуждающихся в правом контексте.

Выбор позиции *было* зависит, таким образом, прежде всего от контекстуального окружения и от иллокутивного намерения говорящего и не должен рассматриваться как произвольный или же стилистический прием.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Галкина-Федорук 1960 – Е.М. Галкина-Федорук. Частицы. Грамматика русского языка. Т. 1: Фонетика и морфология. М., 1960.
- Киселева, Пайар 1998 – К. Киселева, Д. Пайар (ред.). Дискурсивные слова русского языка: опыт конкретно-семантического описания. М., 1998.
- Князев 2004 – Ю.П. Князев. Форма и значение конструкций с частицей *было* в русском языке // Сокровенные смыслы. Слово, текст, культура: Сб. статей в честь Н.Д. Арутюновой. М., 2004.
- Кодзасов 1996 – С.В. Кодзасов. Просодический строй русской речи. М., 1996.
- Попова-Боттино 2007 – Т. Попова-Боттино. Коммуникативное назначение частицы *было*: проблема точек зрения // Мат-лы XXXVI Междунар. филологической конф. Т. 15: Грамматика. СПб., 2007.
- Попова-Боттино 2008 – Т.Л. Попова-Боттино. Анализ частицы *было* в коммуникативной ситуации, или что было, то было // Russian Linguistics, vol. 32, № 2, 2008.
- Русская грамматика 1982 – Русская грамматика Академии Наук СССР. Т. II. М., 1982.
- Чернов 1970 – В.И. Чернов. О приглагольных частицах *было* и *бывало* // Учен. зап. Гос. пед. ин-та. Смоленск, 1970.
- Шошитайшвили 1998 – И.А. Шошитайшвили. Русское *было*: путь грамматикализации // Русистика сегодня. 1998. № 3/4.
- Bally 1965 – Ch. Bally. Linguistique générale et linguistique française. 4 éd. Berne, 1965.
- Barentsen 1986 – A. Barentsen. The use of the particle *bylo* in modern Russian // Dutch studies in Russian linguistics. Amsterdam, 1986.
- Bonnot 1999 – Ch. Bonnot. Pour une définition formelle et fonctionnelle de la notion de thème (sur l'exemple du russe moderne) // Cl. Guimier (éd.). La thématization dans les langues. Actes du colloque de Caen (9–11 octobre 1997). Berne, 1999.
- Bonnot 2001–2002 – Ch. Bonnot. La portée des mots du discours: essai de définition // Cahiers de linguistique de l'INALCO. Paris, 2001–2002.
- Bottineau 2001–2002 – T. Bottineau. La particule russe *bylo*: chronique d'un échec annoncé? // Cahiers de linguistique de l'INALCO. Paris, 2001–2002.
- Bottineau 2004 – T. Bottineau. La particule *bylo*: pour une approche énonciative ou à chacun sa vérité // Slovo. 2004. V. 30–31.
- Bottineau 2005 – T. Bottineau. La particule *bylo* en russe moderne: essai d'approche énonciative. Thèse de doctorat. Paris, 2005.
- Fontaine 1983 – J. Fontaine. Grammaire du texte et aspect du verbe en russe contemporain. Paris, 1983.
- Fougeron 1987 – I. Fougeron. L'organisation du message dans la phrase assertive russe // Particules énonciatives en russe contemporain. Paris, 1987.
- Wackernagel 1953 – J. Wackernagel. Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. Göttingen, 1953.

© 2009 г. Л.Л. КАСАТКИН

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЗВУКОВ РЕЧИ, ВЫСТУПАЮЩИХ В РАЗНЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЯХ*

Одни и те же звуки речи могут восприниматься в разных фонетических позициях как разные звуки говорящими на одном и том же языке (диалекте), одни и те же звуки речи могут восприниматься в одних и тех же фонетических позициях как разные звуки говорящими на разных языках (диалектах).

1. Для идентификации произнесенных звуков фонетисты широко используют специальные компьютерные программы Praat, Speech Analyzer и др., позволяющие прослушивать и анализировать сегменты звучащего текста разной длительности, в том числе отдельное слово либо его часть, состоящую из нескольких звуков, или отдельного звука, или его части. Прослушивая таким образом примеры диалектных текстов и литературного языка, я обнаружил следующую особенность восприятия звуков речи.

В говорах Ялмоти (группы деревень вокруг административного центра с. Пышлицы Шатурского района Московской области) предударный вокализм после мягких согласных – сильное еканье: гласные фонемы неверхнего подъема в первом предударном слоге после мягких согласных перед твердыми и мягкими согласными реализуются в звуке [e]. Эта особенность говоров Ялмоти впервые была обнаружена Н.Н. Дурново, а затем описана А.А. Шахматовым и С.С. Высотским [Дурново 1914: 170; Шахматов 1913: 198–199; Высотский 1949: 34], ее наблюдали и члены экспедиций в деревне Ялмоти в 1994 г. (Р.Ф. Касаткина, К. Запкок, С. Оде, Л.Л. Касаткин) и в 2007 и 2008 гг. (Р.Ф. Касаткина, К. Запкок, Л.Л. Касаткин).

Однако и побывавший в Ялмоти в 1910 г. Н.Н. Дурново, и бывший здесь в 1945 г. С.С. Высотский, и члены наших экспедиций отмечали, как писал С.С. Высотский, «спорадическое употребление здесь форм сильного яканья в смешении с еканьем при характерном колебании качеств предударного звука. Часто он представлен в виде гласного, лишь слегка пониженного по сравнению с *e*, но уже, безусловно, принадлежащего категории переднего *a*. Менее часто слышится совсем явно выраженное образование *a*, возможное при яканье, например, во многих говорах Рязанской, Московской, Смоленской и других областей: *в'äcнá*, реже *в'аснá*; *пр'äмóй*, *пър'äд'úс'*, *ул'äт'êл*, *р'äбýх*, *с'äдýх*, *фн'äр'óт* и т.п.» [Высотский 1949: 35]. Еще реже, чем примеры с предударным [a] после мягких согласных на месте гласных фонем неверхнего подъема, встречается в этой позиции произношение [и].

Прослушивая при помощи компьютерной программы Praat наши магнитофонные записи речи местных жителей, я обратил внимание на следующую особенность. В некоторых случаях на слух определялся при многократных повторях предударный звук [a] после мягкого и твердого согласного, например [н'ич'аву́о], [лэшад'ей]. Этот же звук я отмечал при прослушивании части слова с предударным и ударным гласными: [ч'аву́о], [шад'ей]. Но при прослушивании начальной части этого же слова со вторым

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект «Активные процессы в современной русской фонетике: система и подсистемы» (07-04-00243а).

и первым предударными гласными отчетливо был слышен на месте исходного гласного первого предударного слога звук [е] после мягких согласных и [э] после твердых: [н'ич'е], [лэшэ]. И точно так же: [ар'астуит], [р'асту́], но [ар'ес]; [афч'арá], [фч'арá], но [афч'е]; [нэ-с'аб'и́е], [с'аб'и́е], но [нэс'е]; [пэв'аз'л'и́], [в'аз'л'и́], но [пэв'е]; [пэгл'ад'э́лэ], [гл'ад'э́лэ], но [пэгл'ед']; [пэгл'ад'и́ш], [гл'ад'и́], но [пэгл'е]; [пэжав'и́лс'и], [жав'и́л], но [пэ́е]; [пр'ив'ал'и́], [в'ал'и́], но [пр'ив'е]; [прин'ас'л'и́], [н'ас'л'и́], но [прин'е]; [прэл'ат'э́ла], [л'ат'э́ла], но [прэл'е]; [ул'ат'и́ела], [л'ат'и́ел], но [ул'е]; [прэт'ану́л], [т'ану́л], но [прэт'е]; [пыс'ал'и́л'ис'], [с'ал'и́], но [пыс'е]; [рэз'д'ал'и́л'ис'а], [д'ал'и́], но [рэз'д'е]; [с'им'анá], [м'анá], но [с'им'е]; [н'и-жан'и́лс'и], [жан'и́л], но [н'и́жэ]; [пэжал'и́езу], [жал'и́е], но [пэ́жэ]; [пэжал'э́т'], [жал'э́], но [пэ́жэ]; [пэшан'и́цу], [шан'и́], но [пэшэ] и т.п.

В некоторых случаях при прослушивании всего слова или его части, включающей первый предударный и ударный слоги, в первом предударном слоге слышится [и], а при прослушивании части этого же слова, включающей второй и первый предударные гласные, на месте того же гласного ясно слышится [е], например: [атм'ич'áл'и], [м'ич'á], но [атм'е]; [с'им'ина́м'и], [м'ина́], но [с'им'е].

Такая же разница была при прослушивании некоторых слов с одним предударным слогом: во всем слове слышался предударный гласный [а] или [и], в части этого слова, содержащей только предударный слог, – [е] или [э]: [гл'ад'э́лэ], но [гл'е]; [гл'ад'и́ш], но [гл'е]; [жав'и́лс'и], но [́е]; [јаф'и́м], но [́е]; [л'ат'э́л'и], но [л'е]; [п'акл'и́], но [п'е]; [с'ар'г'э́и], но [с'е]; [т'ич'о́т], но [т'е]; [тр'ипáл'и], но [тр'е]; [жал'э́зныйа], но [́жэ]; [жал'и́ел], но [́жэ]; [жан'и́х], но [́жэ] и т.п.

Эту особенность я решил проверить на записях литературной речи. В фонотеке отдела фонетики Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН была взята полчасовая запись рассказа Р.Ф. Касаткиной об орфоэпии, сделанная на радио в январе 2008 г. При прослушивании этой записи обнаружилась та же особенность, что и в диалектной речи: в некоторых примерах с предударным гласным [а] после твердых согласных при удалении части слова, включающей ударный слог, в оставшейся части на месте этого [а] слышится [э]: *языковеды* – [кав'ед], но [зыкэ]; *произносительные* – [нас'ит'], но [изнэс']; *Москворечья* – [вар'сч'], но [сквэр']; *городских* – [рацк'их], но [гэрэ]; *человек* – [лав'е], но [ч'илэ]; *колорит* – [лар'и], но [кэлэ]; *факультативы* – [тат'и], но [кул'тэ]; *для России* – [рас'и], но [дл'арэс']; *счастье, расчёт* – [раш'ш'от], но [т'ирэ] и т.п.

Для подтверждения моего восприятия был проведен следующий эксперимент. Пятнадцати аудиторам – сотрудникам Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, в том числе пяти сотрудникам отдела фонетики, – были представлены для прослушивания некоторые из вышеуказанных примеров частей слов, записанных в Ялмоти и в записи рассказа Р.Ф. Касаткиной. Аудиторы должны были определить гласный звук и записать соответствующую букву в анкету, где уже были записаны примеры: *кыл[]* и *л[]ри* – части произнесенного слова *колорит*, *дляр[]сь* и *р[]си* – части фонетического слова *для России*, *прал[]* и *л[]тел* – части слова *пролетела*, *пый[]* и *й[]дим* – части слова *поедим*, части тех слов, в которых я слышал предударный [а], и т.п. В качестве контрольных слов были также предъявлены примеры, в которых в первом предударном или ударном слоге произносились [а], [е], [и], воспринимаемые мною одинаково в целом слове и его частях. Всего было предъявлено 32 примера, каждый из которых повторялся многократно, до тех пор, пока аудиторы не останавливали повтор. Примеры следовали в анкете так, чтобы аудиторы не могли связать их по содержанию друг с другом.

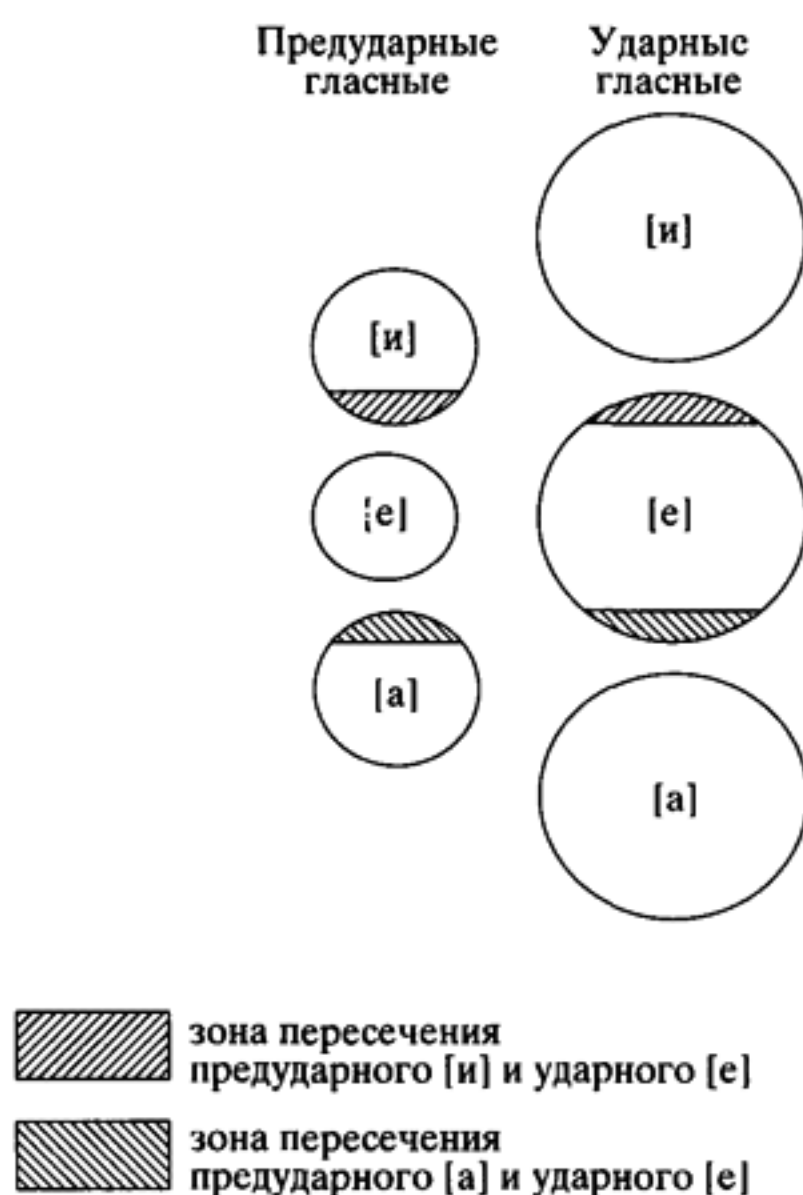
Эксперимент подтвердил мои наблюдения. Аудиторы не всегда одинаково определяли гласный звук в одном и том же звуковом сегменте, но в подавляющем большинстве случаев писали разные гласные буквы в выделенных из одной и той же фонетической последовательности (обычно фонетического слова) сегментах, включающих

исходные гласные второго и первого предударного слогов и первого предударного и ударного слогов.

Этот же эксперимент, но в сокращенном виде, включавший 10 звуковых сегментов (из числа тех же 32 примеров), выделенных из пяти записанных на магнитофон слов, был проведен с восемью известными фонетистами, членами фонетической комиссии при Отделении исторических и филологических наук РАН, двумя сотрудниками Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и двумя студентами филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. И эти аудиторы полностью подтвердили мое наблюдение.

Чем же объясняется, что один и тот же звук может восприниматься по-разному при прослушивании всего слова и его частей? Связано это с разной позицией этого звука в звуковом сегменте. В одних случаях, при наличии ударного слога, гласный звук находится в первом предударном слоге. В других случаях, когда он находится на втором месте двусложного звукового сегмента, включающего исходный второй и первый предударные слоги, он воспринимается как ударный: соотношение по силе и длительности второго и первого предударных слогов в говорах Ялмоти сходно с соотношением первого предударного и ударного слогов литературного языка. Исходный гласный первого предударного слога обычно воспринимается как ударный и в звуковых сегментах, включающих только один этот гласный звук.

В русском литературном языке артикуляционное и акустическое пространство ударных гласных больше пространства безударных гласных: при произнесении безударных гласных верхнего и нижнего подъемов язык не доходит до крайнего верхнего и крайнего нижнего положения, в котором он находится при произнесении ударных гласных. В связи с этим области рассеивания звукотипов ударных и безударных гласных не совпадают. Область рассеивания безударного [и] пересекается с областью рассеивания ударного [и] и частично с областью рассеивания ударного [е], а область рассеивания безударного [а] пересекается с областью рассеивания ударного [а] и частично с областью рассеивания ударного [е]. Схематично это может быть представлено следующим образом.



Таким образом, один и тот же звук речи, образованный в такой зоне, выступая в разных фонетических позициях, воспринимается как разные звуки.

2. Н.Н. Дурново считал, что примеры с яканьем при обычном еканье в говорах Ялмоти могут объясняться влиянием южнорусского наречия [Дурново 1914: 171]. С.С. Высотский выразил сомнение по этому поводу: «Причины присутствия в Ялмоти элементов яканья остаются неясными. Какого-либо нового за последние 30–40 лет влияния южнорусского наречия со стороны некоторых говоров Рязанской или Московской областей предполагать нельзя, так как для этого не возникало никаких исторических предпосылок. Ялмоть в экономическом и бытовом отношении издавна тяготела к Москве, а не к Рязанской области и юго-восточной части Московской области, где существует сильное яканье» [Высотский 1949: 37]. Об отсутствии связей говоров Ялмоти с северными, восточными и южными говорами писал и А.А. Шахматов: «Ялматчане резко отличают себя от жителей соседних волостей, расположенных к востоку и югу <...>. Совершенно ясно, что издревле Ялмат определялся с трех сторон северной, восточной и южной этнографическими границами, между тем как с запада население Ялмата сливалось с однородным населением других частей Егорьевского уезда. Теперь эта граница резко определяется звуковыми особенностями живой речи» [Шахматов 1913: 174].

Однако С.С. Высотский, вопреки сказанному им выше, склонялся к предположению о том, что «вероятно, перед нами все же давний по употреблению в местном говоре признак смешения двух систем вокализма (примеры с яканьем записаны от местных уроженок – женщин из отсталых в культурном отношении семей, преимущественно неграмотных старух, не выезжавших ни разу в своей жизни за пределы ближайшей округи)» [Высотский 1949: 37]. Такими же были и наши информанты.

Думаю, что можно по-иному объяснить примеры с произношением предударного [а] в говорах Ялмоти. Здесь иная, чем в литературном языке, ритмика слова с незначительной разницей или ее отсутствием в силе и длительности первого предударного и ударного слога и резким отличием от них других безударных слогов (кроме конечно-го), где гласные предельно коротки и могут вовсе не произноситься. Эту особенность говоров Ялмоти отметил и С.С. Высотский [Высотский 1949: 32–33], который подобный тип ритмической структуры фонетического слова определил следующим образом: «IV – двухступенчатость выражена с предельной силой, гласные значительно длиннее согласных своего слога, предударный гласный нередко равен, а часто и длиннее ударенного <...>, встречается в ю.-р. и ср.-р. говорах, на территориях к югу от местоположения с.-р. говоров Владимиро-Поволжской группы» [Высотский 1973: 35], то есть там, где расположены и говоры Ялмоти.

По-видимому, жители Ялмоти иначе воспринимают предударный звук, который я оценивал как [а] в первом предударном слоге и как [е], [э] в позиции ударного слога: возможно, что для них и в той, и в другой позиции это [е] или [э]. Таким образом, примеры с «яканьем» в говорах Ялмоти – это результат восприятия диалектной речи носителями литературного языка. С точки зрения диалектной системы эти примеры – отражение еканья.

В двух примерах, записанных в Ялмоти, была иная картина по сравнению с описанной выше: в сегментах, вырезанных из слов *семенами* ([с'им'а] и [м'ена]) и *запевали* ([зэп'ав] и [п'ева]) соотношение услышанных мною звуков [а] и [е] на месте исходного гласного первого предударного слога было прямо противоположным: [а] во втором слоге двусложного звукового сегмента, [е] – в первом слоге. Оба эти сегмента из слова *запевали* я включил в первый эксперимент, и 11 аудиторов подтвердили мое восприятие. Таким образом, и здесь выступает позиционная зависимость при восприятии одного и того же звука, но зависимость иного рода. Думаю, что на восприятие этого звука как [е] или [а] влияют гласные соседних слогов: имеющееся различие между гласными первого и второго слогов выделенных сегментов усиливается в сознании

слушающего: после [и]-образного звука подъем следующего гласного как бы понижается, перед [а] – как бы повышается.

Таким образом, одни и те же звуки речи могут восприниматься в разных фонетических позициях как разные звуки говорящими на одном и том же языке (диалекте), одни и те же звуки речи могут восприниматься в одних и тех же фонетических позициях как разные звуки говорящими на разных языках (диалектах)¹.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Высотский 1949 – С.С. *Высотский*. О говоре д. Лека (По материалам экспедиции 1945 г.) // Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. II / Отв. ред. С.П. Обнорский, Р.И. Аванесов, Ф.П. Филин. М.; Л., 1949.
- Высотский 1973 – С.С. *Высотский*. О звуковой структуре слова в русских говорах // Исследования по русской диалектологии / Отв. ред. С.В. Бромлей. М., 1973.
- Дурново 1914 – Н.Н. *Дурново*. Краткий отчет Н.Н. Дурново о диалектологических поездках в Рязанскую, Владимирскую, Нижегородскую и Симбирскую губ. Летом 1910 и 1913 г. // Труды Московской диалектологической комиссии. Вып. 3. Варшава, 1914.
- Шахматов 1913 – А.А. *Шахматов*. Описание лекинского говора Егорьевского уезда Рязанской губернии // Изв. ОРЯС. Т. XVIII. Кн. 4. 1913.

¹ Второе из этих положений хорошо известно преподавателям русского языка иностранцам.

© 2009 г. И.Г. ДОБРОДОМОВ

ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ КАЛАМБУРЫ И ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

В статье критически рассмотрены причины ошибок в словарях и комментариях издателей к слову *сушир*, исправить которые помогает привлечение значительного числа литературных контекстов и свидетельств народных говоров, а также причины ошибок в толкованиях двух жаргонных выражений (*смотреть на Знаменье, смотреть на Смольное*) из «байкового языка» питерских мазуриков, зафиксированных В.И. Далем, и история различения и смешения слов *жолнёр* и *жалонёр*. Эти случаи представляют различные пути забвения уходящих в пассив номинаций и их семантизации впоследствии.

В одной из своих последних статей В.В. Виноградов обратил внимание на трудности для правильного понимания древних текстов, встречающиеся исследователям и которые приводят к «наивно-каламбурным толкованиям» на базе народно-этимологического сближения похожих и поэтому затруднительных для понимания слов, к «каламбурно-этимологическим домыслам о составе и образовании слов – при отсутствии конкретных данных об истории их значений». Преодоление этих недостатков ученый видит в следующем: «Не только при создании исторических словарей того или иного языка, но и при составлении словарей-справочников применительно к ограниченным периодам развития языка необходимы предварительные разыскания по истории слов, по их конкретно-исторической семантике и по их историко-этимологическим судьбам и связям» [Виноградов 1968: 17].

Практика лексикологических разысканий показывает, что эти поучительные слова сохраняют справедливость и применительно к чтению текстов нового времени. Описание слов, ушедших из сферы активного употребления, таит в себе немало трудностей, тем более опасных, чем менее устарелость таких слов очевидна. Лексикограф, оказываясь в роли посредника между старыми авторами, употреблявшими уже забытые к нашему времени слова, и современными нам читателями, которые хотят эти слова понять, берет на себя трудную миссию рассказать своим современникам о том, что при недостаточной начитанности не всегда подкреплено его собственным лингвистическим опытом и чутьем. В подобных ситуациях, поскольку речь идет о понятном в общих чертах языке даже не очень далекого прошлого, особенно велик риск недооценить некоторые детали, очевидные для людей прошлого и слабо релевантные для нас в силу значительных различий в практике повседневности.

Такого рода трудности часто ведут к ошибкам. Например, хроническое сейчас ошибочное понимание в большинстве словарей слова *облучок* ‘ограждение кузова, бортовые брусья телеги, саней’ как *козлы* ‘сидение для кучера’ в пушкинском контексте «*Ямищик сидит на облучке*» [Добродомов, Пильщиков 2002] показывает, насколько неощутимо мы переносим наши представления о роли нынешнего водителя на кучера, забывая об отличиях в скорости и способе управления.

Даже ясные цитаты служат о с н о в о й для сомнительных словарных статей при их уникальности. Например, на основании лишь одной цитаты построена словарная статья большого академического «Словаря современного русского литературного языка», где толкование содержалось в цитате: «*Мáйер, а, м. Обл. Густой тростник. Эта речка.. превращается в широкий пруд, по краям и кое-где по середине заросший гу-*

стым тростником, по орловскому – майером. Тург. Льгов» [БАС₁, VI: 500], – откуда слово попало в «Сводный словарь с о в р е м е н н о й русской лексики». В.И. Даль, опираясь на тот же источник, исключил контекстное уточнение *густой*: «**МАЙЕРЪ** м. орл. тростникъ, камышъ (куга, ситникъ? аиръ?) (Тург.)» [Даль₂, II: 290]. Точное значение и сейчас остается неясным, что явствует из «Словаря орловских говоров»: «**Майер**, а, м. Травянистое растение (какое?) Прут майиръм зарос <..>. У нас майир ни растет, йиво окълъ балот и прудов много <..>. В агароде маира выръсла много <..>. Майир – майский цветок, листьа сверху зиленьи, снизу белый <..>» [Сл. орл. 1994: 109]. Последний пример напоминает мать-и-мачеху или калужницу.

Предметы быта, ушедшие за пределы непосредственного опыта, нечувствительно сливаются в представлениях о прошлом, как, например, отождествление названия ночного горшка *урыйльник* с *умывальником* в ряде словарей как раз просветительского характера [Елистратов 1997: 533; Беловинский 1999: 468; Байбурин, Беловинский, Конт 2004: 541], см. об этом [Добродомов 2002]. Все это создает с трудом преодолимые препятствия при толковании старых слов.

При этом, декларируя примат нормативности, нередко без должной осмотрительности переносимый в прошлое, лексикографы часто забывают и о том, что динамика лексического состава XIX века нам дана лишь в точечных нерегулярных фиксациях, а несходство сословных вариантов русской речи в прошлом нередко проявлялось и в различном понимании одного и того же слова, иллюстрацией чего могут послужить полузабытое и лишь порой полувспоминаемое слово *супир* и его ласкательная форма *супирчик*, довольно широко употребительные в XIX веке.

В нынешних русских общих (толковых и энциклопедических) словарях название *супир* не встречается. Нет его и в «Словаре современного русского литературного языка», хотя в большой словарной картотеке Института лингвистических исследований РАН на *супир* имеется не менее 5 карточек¹.

Первая в современных словарях лексикографическая попытка пояснить слово *супир* относится к середине XX века, когда в 1950 г. был подготовлен «Словарь к пьесам А.Н. Островского», вышедший только в 1993 году; она опиралась лишь на один иллюстративный пример из «Горячего сердца», где приказчик самоутверждается, демонстрируя свой ценный перстень сыну недавно разорившегося купца:

«**НАРКИСЪ** (*показывая перстень*). И *супиры* тоже можемъ имѣть, что, которые купеческіе дѣти есть, такъ, можетъ, и не видывали. <..>» [Островский 1869: 74]. I

Приводимое в словаре толкование: «**СУПІР** – сапфир» [Ашукин, Ожегов, Филиппов 1993: 202], – представляет собой явный «историко-этимологический каламбур», возникший в результате сближения паронимов и явно ошибочный. Эта линия толкования оказалась довольно живучей. В комментариях к «Горячему сердцу», не без влияния этого словаря, публикация которого готовилась при участии одного из комментаторов (В.Я. Лакшина), читаем: «*Супиры* – сапфиры» [Островский 1974: 90].

Здесь в толковании роковую роль сыграло соблазнительное созвучие между словами *супир* и *сапфир*. Возможность такого ошибочного отождествления созвучных слов в несколько ином виде находим в романе Н.А. Лухмановой «Институтка», где горничная Лиза под влиянием барышни целенаправленно изгоняет из своей речи «коверканые слова», но все же допускает вместо *сапфир* произношение *сапир* ‘?’:

«..Да вѣдь всѣ знаютъ, что вы, окромя жемчугу и сапировъ, не носите ничего. – Не окромя, а кромѣ, Лиза! Сколько учу! И не *сапиры*, а сапфиры, слышишь!» [Лухманова 1904: 41]. II

¹ Они приведены в статье под номерами: I, VI, XII, XVII, XXXI.

Ошибочное отождествление *супира* и *сапфира* стало обрастать не менее яркими неверными подробностями в разных компиляциях, которые создали целую неукоснительную традицию популяризации ошибки, напр.: В.С. Елистратов так описывает это слово, ибо целиком уверовал в толкование одного, лукаво не названного источника [Ашукин, Ожегов, Филиппов 1993: 202], хотя и обнаружил некоторую неуверенность в связи с отождествлением в цитируемом им другом тексте *драгоценного супира* с *колечком*. Для этого, правда, пришлось прописать в Москве и поименовать «мещанским любовным посланием» анонимное четверостишие, списанное в 1909 г. во Владимире с садовой скамьи и помещенное Е.П. Ивановым в серию стихотворений цирюльников; в этой надписи *драгоценнейший супир* прямо именуется *колечком*:

«На вашем пальчике колечко – драгоценнейший супир, | А я страдаю без надежды, про-
клиная весь мир... | Ваш папаша гонит прочь меня, | Мне все едино, когда хрюкает свинья»
[Иванов 1985: 202–203].

III

Столь же фантастичны колебания и детали, сопровождающие толкование: «**СУ-ПІР**. Сапфир. Вероятно, употреблялось как междометие типа «ах!», «прелесть!», а также в предметном <?!> зн.: “вздых”». Эти колебания иллюстрируются цитатами из Островского I и Иванова III.

Далее к колебаниям от геммологического толкования к междометному добавляется еще третье с народной этимологией: «Речь идет о перстне с сапфирами. Ср. франц. *soupire* <sic!> – вздох» [Елистратов 1997: 502].

Источником заблуждения о междометном характере слова *супир* в цитируемом словаре послужило коварное графическое сходство забытого слова *супір* с современным малограмотным написанием без обозначения ударения слова *супер*, активно выступающим сейчас в жаргонизированной речи в функции самостоятельного оценочного слова, когда говорят о чем-либо вызывающем восторг, одобрение. В текстах, отражающих фонетическое письмо, оно приобретает вид *супир*. Однако этот орфографический волюнтаризм базируется на начальном ударении. Для XIX века доминирующим было французское [süpé^R], которое давало *супёр*-, фонетически довольно отдаленное от *супір* и в то время вряд ли еще мыслимое как самостоятельное знаменательное слово. Среди многочисленных контекстов со словом *супир* и его словарных описаний нет и намека на междометное употребление, возможность которого придумал В.С. Елистратов. Видимо, опрометчивое предположение для слова *супир* («Вероятно, употреблялось как междометие типа “ах!”, “прелесть!”») не имеет под собой почвы² и является случаем народной этимологии, паронимической аттракции и историко-этимологического каламбура.

Ту же традицию, но уже без указания и опоры на какой бы то ни было материал, продолжает и другой словарь: «**СУПИР** – нар.<одное> назв.<ание> сапфира» [Беловинский 1999: 443]. Однако *супир* ‘сапфир’ отсутствует в геммологическом справочнике [Рид 1986], а у ряда авторов начиная с 20-х гг. XIX в. упомянуты *супиры* и *супирчики* с различными другими камнями, но не с сапфирами.

Первый пример со словом *супир* относится к 1823 году:

² Весьма близкое по типу неразличение паронимов представлено в словарях также и в случае: *прификс* ‘цена без запроса’ и *префикс* ‘приставка / добавочный индекс перед телефонным номером’, см. [Добродомов, Шаповал 2005: 149–150]. Возможно, *прификс* подвергся преобразованию под влиянием другого термина финансового дела, где за знак ударения сочтен франц. l’accent aigué (’) в *préfixe* ср., однако: «**Префикс**, а, м. Спец. Досрочный платеж по векселю» [БАС, XI: 314].

«Забыли вы, какъ въ день прїѣзда моего | Въ кисейной кофточкѣ вы шили что-то въ пальцахъ. | За поясомъ ключи, одинъ супиръ на пальцахъ, | А волосы назадъ приглажены» [Писарев 1823: 14]³. IV

Герой повести А. Бестужева-Марлинского «Фрегат “Надежда”» каламбурит, возражая героине, заикнувшейся о том, что женщина может испытывать отчаянье. Обращает на себя внимание, что автор прямо, хотя и без уточнения, указывает как общеизвестный факт то, что *супир* – изделие золотых дел мастера. В то же время нельзя сказать, чтобы первые по времени из известных нам примеров употребления слов *супир* и *супирчик* создавали полное и непротиворечивое представление о называемом ими предмете:

«– Отчаяніе?.. это что-то новое выраженіе въ модномъ словарѣ! Нѣтъ ли какого перстня или браслета такого имени! Вѣдь есть же супиры и репантиры и сувениры у любого золотыхъ дѣлъ мастера. Отчаяніе!!» [Марлинский 1833: № 14, 385]⁴. V

Можно заподозрить, что за более поздней ласкательной формой *супирчик* скрывается особое лексическое значение. В повести «Тарантас» В.А. Соллогуба слово *супирчик* обозначает какую-то деталь перстня – собственно камень или узор. Жена частного пристава, перечисляя мужу свои кольца, похоже, в порядке возрастания их реальной стоимости, ставит кольцо с супирчиком между сердоликом и золотом:

«У меня никакого кольца не крали. Вотъ сердоликовое, вотъ съ супирчикомъ, вотъ золотое червоннаго золота съ голубыми цвѣточками» [Соллогуб 1845: 105]. VI

Существенно отметить, что в позднейших публикациях о деле 1850 г. по обвинению А.В. Сухова-Кобылина в убийстве Луизы Симон-Деманш *супиры* также как-то отличаются от *колец*, упоминаясь в одном ряду:

«<...> убійцы оставили при убитой ся серьги, супиры и кольца» [Ромбелинский 1910: 280]. VII

В романе Ю.В. Жадовской «В стороне от большого света» (1857 г.) сельская барышня беседует с юношей из мелкопоместных дворян о *супирчике* с загадочной незабудочкой:

³ В этом фрагменте переработки комедии Р. Шеридана «Школа злословия» *супир* появился по инициативе русского автора, его нет в раннем переводе «Школы злословия» И.М. Муравьева-Апостола: «ДОСАЖАЕВЪ. Забыли вы бѣдное положеніе, изъ котораго я васъ извлекъ – дочь бѣднаго деревенскаго дворянина! – Помните ли, какъ въ перьвой разъ я къ вамъ прїѣхалъ? – Вы сидѣли за пальцами; – въ кисейной кофточкѣ; связка ключей на боку; а волосы всѣ назадъ гладехонько зачесаны. «ДОСАЖАЕВА. Какъ не помнить <...>» [Шеридан 1794: 31].

⁴ Остроумная тирада из «Фрегата “Надежда”», по-видимому, попала в какой-то сборник афоризмов скрывшегося за астрономом *.*.* составителя, трудом которого воспользовался в 1904 г. собиратель «ходячих и метких слов» М.И. Михельсон (1825–1908), поместивший эту (слегка отредактированную) тираду в свой «Опыт русской фразеологии» со ссылкой не на А.А. Бестужева-Марлинского, а на загадочного носителя псевдонима-астронома *.*.* [Михельсон, 2: 329]. Вероятно, к этому же источнику относятся и ссылки: «*.*.* Афоризмы» и просто «Афоризмы». В.М. Мокиенко в предисловии к труду Михельсона едва ли правильно считает, что иллюстративные цитаты с такими подписями «являются либо записью услышанных в речи анекдотов и остроумных фраз, либо – творчеством самого М.И. Михельсона» [Михельсон, 1: 6 (первой пагинации)].

«– Лаврентій Ивановичъ! – обратилась къ нему шедшая возлѣ меня Дуня Котаева, – вы что покупали на ярмаркѣ?

– Да ничего еще не покупалъ-съ; у жида супирчикъ торговалъ, да дорого просилъ, проклятый.

– На что вамъ супирчикъ?

– Такъ-съ, на рукѣ носить; прехорошенькій, съ незабудочкой-съ.

– Вѣрно, кому-нибудь на память хотите подарить?» [Жадовская 1885: 74–75].

VIII

Из контекста, вопреки нашим сегодняшним ощущениям, не следует автоматически, что это рисунок цветка *Myosotis*. Возможно, упомянут супирчик с каким-то другим знаком-«сувениром». Ср.: «*Незабудка*, растеніе и цвѣтокъ <..> || Подарочекъ на память» [Даль, II: 1104, под *незабывное*]. Вопрос о предназначении супирчика вызывает смущение. Здесь супирчик (не *супир*!) – это не слишком дорогой перстень: участники этого диалога весьма небогатые дворяне, да и вряд ли ярмарочный товар был очень ценным.

В очерке из жизни фабричных рабочих описана игра в фанты, где выступает *перстень*, однажды названный *супиром*:

«Слесарь потрясъ платокъ, а хозяйка опустила руку и вынула перстень.

– Чей супиръ?

– Мой! сказала одна дѣвица и встала.

Слесарь подаль ей перстень» [Нефедов 1868: 173–174].

IX

В юмористическом сочинении Н.А. Лейкина (1841–1906) «Из записной книжки отставного приказчика Касьяна Яманова» приводится «Письмо папы римской к банкиру Ротшильду», где супирчики – бриллиантовые:

«<..> а какіе ежели были бриллиантовые супирчики, то уж давно всѣ у Карповича, а на выкупъ ихъ денегъ нѣтъ, да и квитанціи заложены» [Лейкин 1874: 106].

X

В рассказе К.М. Станюковича (1843–1903) «Матросский линч», опубликованном под псевдонимом М. Костин, простой матрос рассказывает о том, как капитан «цокнул» ему в зуб бриллиантовым супиром-супирчиком:

«А надо тебѣ сказать, на указательномъ перстѣ Василій Кузьмичъ завсегда носилъ брульянтовый супиръ. Отъ Государя Императора пожалованъ. Такъ самымъ этимъ, значить, супирчикомъ онъ и цокнулъ» [Костин 1887: 11].

XI

В другом рассказе также фигурирует супир с бриллиантом:

«– Вѣроятно, вамъ не случалось видѣть хорошихъ брильянтовъ, и вы, кажется, изволите сомневаться въ цѣнности моего супира? – съ презрительной усмѣшкой замѣтилъ закипавшій злостью докторъ <..>» [Костин 1888: 119].

XII

У того же автора в рассказе «Блестящее назначение» (дата первой публикации неизвестна) встречается также изумрудный супирчик. Будучи диминутивом от *супир*, слово супирчик может, разумеется, называть и тот же самый предмет, который обозначается словом *супир*. Однако чаще супирчик является менее ценной народной копией перстня-*супира*. Не случайно у К.М. Станюковича супирчик обычно встречается в речи простых матросов:

«<Матрос> рассказывалъ, что привезетъ Аришѣ изумрудный супирчикъ съ Цейлонъ-острова, и шелковое платье изъ китайской стороны <..>» [Станюкович 1907: 456].

XIII

Также в рассказе «Форменная баба» (1899 г.):

«супирчикъ съ Цайлонъ-острова» [Станюкович 1907: 392].

XIV

В рассказе «Тоска» (1903 г.) *супирчик* был куплен в Италии за 2 франка (около 70 коп. того времени), а вопрос о его предназначении вызывает перепалку, где ласкательность формы *супирчик* вряд ли ощущается:

«– Я по своему разсудку самъ могу понять, для кого купили супирчикъ! – конфиденціально произнесъ фельдшеръ <...>

– И знай, пока морда цѣла! – вдругъ окрысился боцманъ.

– То-то и видно ваше необразованіе, а туда же супирчики!» [Станюкович 1907: 482].

XV

Супир с самоцветом является важным символом в романе В.Я. Шишкова «Угрюм-река» (1913–1932), где приказчик Илья Сохатых не знает, как им распорядиться: то подумывает подарить его кухарке:

«– Варварушке – супир <...>» [Шишков 1983: 161].

XVI

то любитесь им:

«И все-таки не стерпела любопытная его рука, – достал Илья Сохатых из жилетного кармана прекрасное кольцо-супир, украдкой взглянул на самоцветный-камушек <...>» [Шишков 1983: 288].

XVII

то, наконец, дарит его:

«<...> он сперва поблестел супиром перед глазами изумленной женщины, затем ловко надел кольцо ей на палец» [Шишков 1983: 325].

XVIII

то забирает его назад при трагических обстоятельствах:

«Ночью, убитый горем и растерянный, мчался с бубенцами в город Илья Сохатых <...>

А в кармане, в сафьяновом футлярчике, снятое с руки усопшей кольцо-супир» [Шишков 1983: 326].

XIX

Как примета прежней дореволюционной жизни *супир* упоминается мельком на руке седой дамы при задержании ею малолетнего нарушителя в повести «Странники»:

«– Как ты смеешь, паршивец, в самом центре города, на Площади Энтузиастов, устраивать пакости?! – И дама надушенной рукой, украшенной супиром, схватила его за волосы» [Шишков 1932: 72].

XX

Итак, в примерах встречаются *супиры* с бриллиантом и самоцветом, а *супирчики* – с изумрудом и бирюзой, см.: XIII, XXIII. Однако сапфир в перстне-супире не упоминается ни разу. Кроме того, оставаясь в рамках народной этимологии и принимая, что *супир* – это 'сапфир', на основе приведенных описаний, пришлось бы признать возможность фантастических словосочетаний типа **бриллиантовый сапфир*, **изумрудный сапфир* и т.п.

Фантазирование Л.В. Беловинского с соавторами в переиздании словаря снимает это противоречие, выстраивая линию преемственности между двумя значениями: 'сапфир' >> 'любой драгоценный камень', – хотя внешне и правдоподобную, но исходящую из неверной посылки: «СУПИР – 1) народное название сапфира; 2) в широком

смысле – любой драгоценный камень в кольце» [Байбурин, Беловинский, Конт 2004: 505].

Многие примеры показывают, что произошла довольно быстрая демократизация носителей слова *супир*: из светских салонов через провинциальных дворян оно докатилось до купцов, приказчиков и крестьян. Нередко *супирчик* – это недорогой перстень, как в: XIII, XIV, XV.

В книге «Уличные типы» среди соблазнов московского толкучего рынка отмечается *супирчик*, который по карману даже молодому солдату:

«<..> тут молодой солдатикъ увязался за серебрянымъ супирчикомъ и шелковымъ женскимъ платчишкомъ <..>» [Голицынский 1860: 45]. XXI

Через 40 с лишним лет после А.И. Писарева *супир* уже представлен в описании дешевой крестьянской бижутерии на Нижегородской ярмарке:

«Товаръ этотъ готовится въ двухъ селахъ: Сидоровскомъ и Красномъ (Костромской губ.). <..> это разнаго рода супиры, серьги-польки, кольца-змѣйки и тому подобныя искушенія нашихъ крестьянскихъ дѣвушекъ и женщинъ» [Овсянников 1867: 162]. XXII

Такие супиры продавались на поволжских ярмарках и в конце XIX в.:

«Бронзовые серьги [в с. Красном Костромской губ.] можно купить за 1 коп. пара <..> супиръ-перстень съ бирюзой (супирчикъ) по 10 коп. <..>» [Фаресов 1894: 1]. XXIII

Как термин народной бижутерии *супир* и в дальнейшем связан с мастерами села Красного Костромской области. В книжке В.И. Шапошникова «Красносельские ювелиры», слово *супир* представлено в значении 'серебряное кольцо с украшением / недорогим камешком':

«Трудно было отыскать уже тогда в европейской или азиатской части страны село, деревушку, где бы женщины не носили <..> колечек-супиров» [Шапошников 1969: 7]. XXIV

Один раз употребляется и диминутив *супирчик*:

«И нашли там бежавших из Сибири ссыльных поляков. Вот они и <..> вырабатывали там в шалаше сережки, колечки, супирчики, брошки» [Шапошников 1969: 16]. XXV

Так что даже в расширенном виде значение «любой драгоценный камень в кольце» не покрывает всего разнообразия супиров и супирчиков, которые бывали и с поделочными камешками:

«В одном доме семья вырабатывала кресты эмалированные, <..> в другом месте – кольца гладкие, обручальные, рядом – тоже кольца, но с украшениями, с камешками – “супиры”» [Шапошников 1969: 20]. XXVI

«С искусственными камнями изготавливались и “супиры” – кольца⁵ и серьги» [Шапошников 1969: 29]. XXVII

⁵ В этом примере, видимо, следует читать «супиры»-кольца (через дефис) и *серьги*, потому что нигде больше *супир* к *серьгам* не относится. Здесь же в неверном прочтении, очевидно, виновата ошибка наборщика в выборе тире вместо дефиса. Ср. *колечки-супиры* под № XXIV.

Крестьянская бижутерия продолжает включать этот термин и в начале XX века. Вятская частушка, записанная в 1905 г., содержит вариант *супырь*:

«597. Позолоченый супырь¹⁾ | Только съ вечера горить; | Обь тебѣ, милый, сердечко – |
Только сплю, такъ не болитъ, | Пробудилась на утрѣ – | Опять милый на умѣ». XXVIII

Подстрочное пояснение собирателя: «¹⁾ Супырь – колечко» [Симаков 1913: 96] – весьма показательно, оно подтверждает уход этого когда-то великосветского слова в пассив уже и в простонародной речи.

В курганской частушке отмечен даже *суперичек немецкого стекла*, соотносительный с вариантами диалектизма: *супѣрик* или *сопѣрик* ‘перстень’:

«Ты суперичек, суперичек, | Немецкого стекла. | У меня, девки, болиночка, | Хорошего отца» [Тимофеев 1971: 106]. XXIX

В сказке «Митя», записанной от «верхнеленской сказочницы» середины XX века Р.Е. Шеметовой, ученик колдуна Митя, убегая от него, превращается в *суперик*, судя по описанию, перстенок с камешками («все вставочки горят на нем»):

«– Ой, папочка с мамочкой, какой мне сегодня суперик на именины приплыл! Горит, блестит всяким разным огонькам!» [Шеметова 1995: 314]. XXX

Дилетантской традиции беспочвенного отождествления *супира* с *сапфиром* и другими ценными и не очень ценными камнями петербургские лексикографы пытались противопоставить совсем иные и тоже не менее ошибочные соображения о не таком уж редком, что показано выше, слове:

«**СУПИР**, а, м. Принадлежность женского туалета, украшенная драгоценными камнями. <..>

Слов. и СУ <Словари и словоуказатели> – 1; БКСО <Большая картотека Словарного отдела> – 2 + 3 (Григорович, А. Островский, Русск. старина, 1910, № 4).

От франц. *soupir* – вздох.» [Редкие слова 1997: 393].

Эта дефиниция сопровождается цитатами из рассказа К.М. Станюковича «На камнях» XII, приписанного некоему Станкевичу, и из романа В.Я. Шишкова XVII, а также глухими ссылками на Григоровича, Островского и журнал «Русская старина».

Первая цитата, отысканная по твердой копии конкорданса из Нижнего Новгорода, взята из ранней редакции (1835) «Маскарада» М.Ю. Лермонтова. Эта реплика Пожилого человека содержит каламбур со словом *супир*:

«Отчаянье? Да, есть | И это слово в дамском лексиконе, | Благодаря романам и творцу | Оно довольно звучно даже в тоне | И многим женщинам к лицу: | Ведь носят же супиры, сувениры | И репантиры? | Дивлюся, как давно не превратят | Отчаянье в какой-нибудь наряд» [Лермонтов 1956: 506; 1980: 479; 1989: 619]. XXXI

М.Ю. Лермонтов, очевидно, позаимствовал каламбур из повести Марлинского «Фрегат “Надежда”» IV. Показательно, что у Марлинского наименования ювелирных изделий «модного словаря» открывает простой *перстень*, который у Лермонтова в «дамский лексикон», где сосредоточены явные и сейчас лишь частично понятные галлицизмы, не попал.

Как можно заметить, дефиниция ‘Принадлежность женского туалета, украшенная драгоценными камнями’ не вытекает из цитат XII, XVII, оказывается автономной по отношению к ним и даже вступает с ними в противоречие, однако [Редкие слова 1997] стараются насильственно примирить эту дефиницию с иллюстративным материалом, подчиняя последний первой. При этом «принадлежность женского туалета» чисто ме-

ханически украшается «драгоценными камнями». Угадать предмет по такому толкованию – довольно трудно. Ради сохранения выбранного толкования игнорируется принадлежность к мужскому полу героев [XI], [XII], которые украшают этой принадлежностью якобы женского туалета свои пальцы.

К сожалению, академические лексикографы далеки и от профессионального документирования материала. Превращение писателя-мариниста К.М. Станюковича в загадочного Станкевича подрывает доверие к словарю. Отсылка «Русск. старина, 1910, № 4» означает, что надо бесполезно просмотреть около 250 стр. этого номера. *Супир* обнаружен в № 5 [VII].

Толкование «Принадлежность женского туалета, украшенная драгоценными камнями» может указывать на то, что словарь в выборе его идет вслед за каким-то источником. Такое странное толкование нельзя вывести из примеров, его можно было лишь бездумно списать откуда-то. Лексикографы, игнорируя материал и в то же время независимо от стороннего мнения, не могли бы, видимо, прийти к столь детализированной и смутной одновременно дефиниции и отстаивать ее такой ценой.

Действительно, трактовка *супиров* в качестве дамских туалетов, а затем их принадлежностей или фасонов ранее была представлена у комментатора М.Ю. Лермонтова А.М. Докусова. Он сначала разделил галлицизмы на две группы (два названия туалетов и название прически): «Супиры, сувениры – названия дамских туалетов, происходящие от французских слов: *le soupir* – “вздых”, *le souvenir* – “воспоминание”; репантир – название модной прически, от фр. *le repentir* – “раскаяние”» [Лермонтов 1956: 753].

Позднее А.М. Докусов размыл комментарий указанием на безликие фасоны (дамской одежды и прически): «Супир (франц. *soupir* – вздох), сувенир (франц. *souvenir* – воспоминание) – слова, обозначающие принадлежности или фасоны дамского туалета; репантир (франц. *repentir* – раскаяние) – название фасона модной прически» [Лермонтов 1980: 621]⁶.

При комментировании строк Лермонтова «дамские туалеты» // «принадлежности или фасоны дамского туалета» возникают лишь в искусственном отрыве от «исходного» контекста А.А. Бестужева-Марлинского, где прямо говорится о том, что *супиры*, *репантиры*, *сувениры* есть у «любого золотых дел мастера», но не у портного или парикмахера.

Герой Лермонтова дивился тому, что *отчаянье* еще не превратили «в какой-нибудь наряд», однако про *супиры* говорит лишь, что их носят, а нарядом прямо не называет. Обратясь к Далю, читаем: «*Нарядъ*, уборъ, красивая одежда, платье или вещи, надѣваемые для украсы» [Даль¹, II: 1053], ср. *нарядный*. Таким образом, в то время словом *наряд* или *убор* именовались всякие вещи «для украсы», а не только одежда. Судя по всему, Лермонтов и Марлинский видели за *супирами*, *сувенирами* и *репантирами* изделия ювелиров, что и обусловило их объединение в ряду однородных членов. «Туалеты» и «прическа» не вполне согласуются с обычной работой золотых дел мастеров, о которых говорит Марлинский. Но рифма *наряд*, выбранная М.Ю. Лермонтовым в соответствии со словоупотреблением своей эпохи, ввела позднейших комментаторов и лексикографов в заблуждение.

[Редкие слова 1997], к сожалению, лишь глухо указали на роман Д.В. Григоровича, в котором авантюрист Попельковский развлекает обитателей усадьбы рассказом о том, как он сделал предложение племяннице грека-купца:

⁶ То ли выпадает из этой традиции, то ли совпадает с нею лаконичный до загадочности комментарий Э.Э. Найдича: «Супиры (от фр. *soupir*)» [Лермонтов 1989: 676]. Французские словари единодушно отмечают у слова *soupir* лишь значение ‘вздых’, поэтому сказанное Э.Э. Найдичем трудно опровергнуть, хотя к этому нужно многое добавить.

«Вы, говорю я, Рокополо, дядѣ-то, отдайте заблаговременно приданое; меня, говорю я, не надуеть этими супирами да дезирами. А деньги были, знаете, нужны: накануне проигралъ десять тысячъ Кондакову <..>» [Григорович 1852: 223].

XXXII

Герои здесь – провинциальные, хотя и довольно состоятельные дворяне. И опять *супир* представлен в паре с другим, еще более редким, галлицизмом *дезир* (франц. *désir* ‘желание’), который употреблен скорее для рифмы. Множественное число абстрактных существительных часто указывает на особое предметное значение, как *супиры*, *репантиры*, *сувениры* в приведенных выше примерах. Однако не всегда у нас достаточно данных для точной идентификации этих предметов. Здесь же выявляется еще одно существенное отличие: контекст не содержит сигналов того, что *супиры* и *дезиры* употреблены в предметном значении. А ведь слово *супир* значит в первую очередь ‘вздых’, в паре с *дезирами* ‘желаниями’ (в предметно-символическом значении не отмеченными) это значение, думается, и стоит на первом плане. Иными словами, Попельковский намекает дяде невесты: «Не нужно вздохов и томлений, деньги давайте». Так что глухое указание на этот контекст Григоровича в качестве иллюстрации при предметном значении слова *супир* ‘перстень’ приведено в [Редкие слова 1997], видимо, без достаточных оснований.

На наличие подобного прямого заимствования из французского указывает виленский словарь польского языка, вероятно, не чуждого и персонажу с польской фамилией Попельковский. Там приведено уже тогда малоупотребительное *supir* ‘вздых’ с примером употребления в форме множественного числа: «*Supir, a, lm. y, m. (z fran.) mało uż. westchnienie. Westchnienia owego czasu nosiły nazwę supirów*» [Słownik 1861, 2: 1599].

Таким образом, весьма неопределенное значение формы множественного числа *супиры* (не ‘перстни’) в паре с рифмующимися *дезирами* демонстрирует первоначальную психолого-физиологическую семантику галлицизма. Но этот контекст хорошо связывает русск. *супир* ‘перстень’ с франц. *soupir* ‘вздых’⁷.

Глумливая подрифмовка *сувенирчиков* к *супирчикам*, напоминающая не только *супиры* – *сувениры* Марлинского и Лермонтова, но и *супиры* – *дезиры* Григоровича, встречается также в повести Н.П. Вагнера (1829–1907) «Князь Костя», где пансионер Кудинов в борьбе за лидерство, стремясь довести дело до драки, порвал и поломал памятные вещи из шкатулки княжеского сына, который «сдѣлался центромъ, замѣнилъ старшимъ Кудинова»:

«– Что, ваше сіятельство, у васъ, кажется, маленькіе безпорядочки случились? Это-съ я сдѣлалъ. Я-съ, рабъ Божій Сергѣй Кудиновъ. Я осмѣлился потрепать немножко ваши княжескіе цацы, супирчики и сувенирчики, розовенькіе ленточки и шарфики съ нѣжненькихъ шеекъ» [Вагнер 1885: 399–400].

XXXIII

Лексикографы могли бы обратиться к областной лексике, которая не всегда тщательно собирается в сводном «Словаре русских народных говоров». В русских диалектах пережиточно в разной степени сохранности все еще употребительны следы слова *супир*. Правда, СРНГ в пределах вышедших выпусков дает для этого весьма скромный и не во всем надежный материал: *сапѣрик* ‘кольцо, перстень’ (Забайкалье); *сопѣрик* ‘перстень’ (Зауралье) [СРНГ, 36: 124; 39: 330].

Первая форма (без отсылок ко второй и наоборот) взята из ненадежного словаря говоров Забайкалья: «**САПѢРИК**, а, м. Кольцо, перстень <..>» [Элиасов 1980: 366], – где наблюдается смешение слов *кольцо* и *перстень*, уже давно осуждаемое специали-

⁷ Не имеет никаких оснований отнесение слова *супир* к той группе диалектной лексики, которая характеризуется как «официальная терминология ювелирного дела немецкого <?> происхождения, очевидно <?>, попавшая в Красное-на-Волге через посредство польского языка <?> и в той или иной степени переделанная на народный лад» [Ганцовская 2003: 39].

стами по «культуре речи» (пуристами) [Долопчев 1909: 106, 179; Огиенко 1911: 47, 73], которые отстаивали различие, предложенное В.И. Далем: *кольцо* (на палец) – гладкое, но: *перстень* – «со щитком, с камнями» [Даль, II: 760, III: 95].

Второй пример (*соперик*) взят, вероятно, из рукописных «Материалов для областного словаря Зауралья» В.П. Тимофеева (Шадринск, 1962), хранящихся в Словарной картотеке Института лингвистических исследований РАН под № 298 [СРНГ, 2: 8], но в [Тимофеев 1971: 104, 106] дано более обширное варьирование: *соперик*, *суперик*, *суперичек*, см.: **XXIX**.

Ср., например, слова из Ростовского района в девятом выпуске «Ярославского областного словаря»: «**Суперик**. Кольцо, перстень. **Супирка**. Небольшое золотое кольцо с камнем. **Супирочка**. Ласк. к супирка. *У меня супирочка с замочком была*» [Яросл. обл. сл. 1990: 87].

Впрочем, с ясностью и достоверностью диалектных данных о слове *супир* не все благополучно из-за обилия его фонетико-морфологических вариантов, сбивчивости толкования через многозначное слово *кольцо*, за которым может скрываться и *перстень*. Таковы, например, уральские: «**СУПЕР, СУПЕРИК** ‘кольцо’» [Сл. Ср. Урала 1987: 75]⁸.

Фиксации при краткости дефиниций в основном малоинформативны, но иногда встречаются и более детальные: «**СУПЕРИК**, -а, м. Небольшое колечко, украшенное камешком. – *Суперик – это колечко тоненькое с глазком. У меня золотой суперик был <..>*» [Сл. Новосиб.: 526].

Собиратели лексики Приамурья даже подвергли зафиксированное ими слово сомнению при сбивчивости объяснения слова носителями диалекта: «**СУПЕРИК**, а, м. Перстень (?). *Мужской перстень просто так и называли, а женское кольцо супериком называли <..>*» [Сл. Приам. 1983: 292]. Но во втором издании новый материал снял сомнения, хотя пояснение о противоположности мужского *перстня* женскому *супиру* осталось как показатель смутности представлений о семантике этого слова у носителей современного говора [Сл. Приам. 2007: 442].

Почему-то оказался неучтенным материал недавно изданного словаря П.А. Дилакторского: «Супирчик [Вол. Гряз.]. Кольцо со вставкой для ношения на рукѣ (П. Обнорский)» [Дилакторский 2006: 489], хотя рукопись этого словаря 1902 г. указана в числе источников «Словаря русских народных говоров» [СРНГ, 1: 101].

К сожалению, в картотеке СРНГ по данным его «Инверсионного индекса» [Инверс. индекс 2000: 272], есть еще только *суперик*, а помещение туда слов *супер*, *суперичек*, *супирка*, *супирочка*, *супирь* не планируется.

Имеется еще одно любопытное свидетельство забвения исходного значения слова *супир*. Старая карточка (с именной печатью), присланная в большую словарную картотеку постоянным корреспондентом, описывает слово *супир* уже в другом значении: «**Супиръ**, а, м. Влюбленной въ женщину челоѣкъ! г. Таганрог, 1914 г. (Вячеслав Александрович Бодарский)», т.е. *супир* здесь значит ‘*супирант*’, именно с последним словом здесь спутано слово *супир*, ибо в XIX в. имелся исторически однокоренной со словом *супир* галлицизм *супирант* ‘воздыхатель’ (франц. *soupirant*), однако в русском языке оба эти слова рано потеряли связь или даже, вероятно, никогда не входили в одно словообразовательное гнездо из-за сильного расхождения значений.

Но слову *супир* также не слишком повезло в словарях, хотя и оно обнаруживается в малодоступном, но содержательном словаре Н.И. Епишкина, который вслед за М.И. Михельсоном (о чем сделано указание) правильно определил загадочный *супир* как «тоненький перстень на мизинце, носят на память» [Епишкин 1999: 647], что является воплощенной укоризной московским и петербургским лексикографам, которые не справились с этим оказавшимся для них весьма трудным словом.

⁸ *Супер* из *супир* возник, видимо, вследствие гиперкоррекции, как в начале XV в. *апрель*, *Аграфена* из *априль* и *Агриппина* [Соболевский 1883: 3; 1891: 88].

В словаре М.И. Михельсона ясно говорится: «**Супиръ** (иноск.) тоненькій перстенецъ, который носятъ на память на мизинцѣ (намекъ на *supir* <так!> – вздохъ)" [Михельсон, 2: 329]⁹.

Некоторые комментаторы продолжили линию преемственности с Михельсоном: в издании «Стихотворная комедия конца XVIII – начала XIX в.» слово *супир* в комедии А.И. Писарева «Лукавин» [IV] толкуется с едва ли правильной подменой перстенька колечком: «*Супир* – даренное на память колечко, которое носили на мизинце» [Стихотв. ком. 1964: 962].

Равным образом, в комментарии к изданию А. Бестужева-Марлинского поясняется только *супир* (но не *сувениры* и *репантиры*) также вслед за М.И. Михельсоном: «С. 245. *Супир* – подаренное на память колечко, надеваемое на мизинец» [Бестужев-Марлинский 1981: 541].

Внешний облик слова в словарях, которые составлены на основе литературных источников незадачливыми филологами, почти не претерпел произвольных изменений при смутности толкований, но есть и такие словари, где семантика раскрыта относительно правильно, хотя и без деталей, однако слово представлено в несуществующей графической форме.

Графическое переразложение элементов букв в сочетании *ли* при небрежной рукописной фиксации *супир* привело к появлению в милицейском словаре 1927 г. сочетания *те* и призрачного слова *сутер*. Во втором издании жаргонного словаря криминалиста С.М. Потапова (1873–1957) отмечено слово: «**Сутер** – перстень» [Потапов 1927: 100]. Милицейский работник правильно понял значение незнакомого ему искаженного слова *супир*, но ошибочно счел его жаргонным и при перенесении его в словарь (словарную картотеку) не опознал его графико-фонетический облик¹⁰.

Распространилось оно в словарях жаргона только после значительного перерыва: «**СУТЕР** – перстень» [Бронников (1990): 42]; а также с неизвестно откуда взявшимся ударением: «**Сутёр** – перстень» [Толк. сл. угол. жарг. 1991: 171], нашло отражение даже в русско-английском словаре жаргона: «**бабка (обруч, сутер)** – кольцо, перстень <...> a finger ring», «**сутер – бабушка**» [Дубягин, Теплицкий 1993: 157, 240; 79], а затем и перешло в столь же неразборчивые жаргонные словари нового тысячелетия: «**СУТЕР** – перстень»; «**ПЕРСТЕНЬ** – бабушка, сутер» [Дубягина, Смирнов 2001: 155, 251; Дубягина и др. 2006: 138, 240]; «**СУТЕР**, -а, м. Перстень (Пот.)» [Грачев 2003: 884; 2006: 560]. В словарях жаргона, независимых от ведомственной традиции, такого призрачного слова нет [Росси 1991; Снегов 1991; Быков 1994]. Не вызвало оно доверия и у авторов сводного словаря жаргона [Мокиенко, Никитина 2000], где «слово» *сутер* также отсутствует.

Слово *soipir* ‘памятный перстень’ французские словари XIX века не отмечают. Быть может, оно является псевдогаллизмом и возникло в собственно «русском» французском. Следы французского значения зафиксированы в русских текстах Д.В. Григоровича [XXXII] и Н.П. Вагнера [XXXIII]. Ср. функционирующий в качестве

⁹ Положительный пример правильного толкования слова *супир* у М.И. Михельсона не означает непогрешимости последнего: благодаря излишнему доверию к нему во все издания большого академического словаря попала не принадлежащая А.С. Пушкину цитата: *Девушкам-красоткам / Он ли строит куры* [БАС₁, V: 1883–1884; БАС₃, VIII: 815], – которую М.И. Михельсон, вероятно, позаимствовал из какой-то публикации его времени, где эти вирши ошибочно приписывались А.С. Пушкину. См. об этом выражении [Добродомов 1995: 117–125; 1996: 43–66].

¹⁰ С учетом того, что в словаре С.М. Потапова довольно много ошибок прочтения, которые присутствуют и в современных словарях жаргона [Шаповал 2007], не исключено, что за записью *сутер* скрывается диалектное *супёр*. Ср. в том же словаре аналогичные примеры визуального смешения трехэлементной (в рукописи) буквы *т* и двухэлементной *п*: «**Подтырщик** – подстрекатель» при «**Подтыривать** – помогать красть» [Потапов 1927: 121], а также, вероятно, «**Литех** – платок» [Потапов 1927: 82] при «**Лепень** – носовой платок» [Потапов 1927: 82].

иностранного слова вне территории английского языка псевдоанглицизм *смокинг*, обозначающий по-русски тот предмет мужской одежды, который по-английски называется *tuxedo*, когда-то похожий предмет одежды назывался *smoking-jacket, dinner-jacket*. См. др. примеры [Piotrowski 2005; Jochym-Kuszlikowska 2005].

Сравнение контекстов со словом *супир* дает ясную картину его социального снижения. Для дворян – современников Марлинского и Лермонтова – слово *супир* было прозрачным галлицизмом, «эмблемой печали», совмещавшей реальную ценность и глубину символизируемых чувств. Для мелкопоместных дворян середины XIX века – это также символ чувств, но не очень дорогой по цене. Для приказчиков это была уже в первую очередь очень дорогая вещь. Для крестьянских красавиц, матросов, солдат второй половины XIX века *супир* – это лишь красивый символический подарок, реальная ценность которого весьма невелика. В XX веке слово стало выходить из употребления и даже воспринималось как принадлежность языка преступников, зафиксированное в искаженном виде, впрочем, возможном для исчезающего слова. До сих пор оно продолжает влачить существование в говорах, так и не обретя стабильности.

Сравнение словарей и комментариев к литературным произведениям отражает процесс постепенного забвения слова. Отождествление слов *супир* и *сапфир* в конечном счете означает, что французское происхождение слова игнорируется, а называемый им предмет уходит из повседневного опыта.

Изучение истории толкования и комментирования слова *супир* приводит и к некоторым заключениям общего характера. Практика изолированного комментирования редких слов у каждого отдельного автора, как и практика некритичного копирования словарей предшественников без их корректировки по данным речи, является безусловно порочной. Любопытно, что *супир* у К.М. Станюковича и В.Я. Шишкова современные издатели даже не смогли снабдить комментарием, а у А.А. Бестужева-Марлинского комментарий в издании 1981 г. касается только *супира*, но *сувениры* и *репантиры* остались без пояснения. В нынешних изданиях сочинений А.И. Писарева, А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова и А.Н. Островского комментарии навязывают представление о совершенно разных предметах: перстень, одежда и драгоценный камень!

Как некритичное отношение к материалу, так и вольное с ним обращение являются негативными факторами в лексикографии. Если и дальше «испорченный телефон» лексикографической преемственности будет работать с такой же интенсивностью, то в скором времени читатель из словарей редких слов не сможет узнать ничего заслуживающего доверия.

В словарном материале В.И. Даля по языку петербургских мошенников, вновь недавно опубликованном вместе с другими более поздними материалами по условным языкам В.Д. Бондалетовым, представлены два выражения, описывающие сходные телесные наказания: *смотреть на Знаменье* «быть наказану плетью публично»; *смотреть на Смольное* «быть наказану кнутом» [Бондалетов 2004: 156]. В более поздних «Словаре офенского языка» 1854 г. и в «Русско-офенском словаре» 1855 г. В.И. Даля (где фиксируются с пометой *маз.* (мазурики) и слова «музыки» или байкового языка) они отсутствуют, что вряд ли можно считать случайностью или оплошностью лексикографа. Эта соотносительная пара выражений, прямо апеллирующая к тогдашним микротопонимам нынешнего Центрального района Петербурга, дифференцировала два вида «торговых» (публичных) наказаний, исполнявшихся на Конной площади. С нее тогда открывался вид на Знаменскую церковь (разрушенную в 1955 г.) на западе и на собор Воскресенского женского монастыря примерно на северо-востоке в селе Смольном, названном так по дегтярному заводу, а по церкви именовавшемуся Спаским. Привязанный палачом осужденный мог смотреть только в одном из этих направлений, чем и объясняется возможность появления данных выражений в арго. В 1842 г., ко времени создания В.И. Далем словарика «байкового» языка, оба вида наказаний были еще актуальны, однако вскоре, по Закону от 21 января 1846 г., наказание

кнутом из соображений гуманности было заменено увеличенным числом ударов плетьюми [А.Я. 1895: 465]. Так что с 1846 г. бинарная семантическая оппозиция сугубо петербургских выражений *смотреть на Смольное* – *смотреть на Знаменье* распалась. Вне этого противопоставления и последнее выражение, потеряв ясность образа, было, вероятно, обречено на скорое забвение, что и отражено у В.И. Даля невключением этих выражений в офенские материалы 1854–1855 гг., где представлены актуальные слова байкового языка мазуриков (с пометой *маз.*). После 1863 г. плети также были исключены из публичных наказаний [Тимофеев 1902: 294].

В повести В.Ф. Одоевского «Живой мертвец», написанной в 1838 году, но напечатанной только через шесть лет [Одоевский 1844: 305–332], один из этих видов наказания (в форме *на Смольное глазеть*) упоминается беглым камердинером Филькой: «<..> да теперь вмѣсто честнаго житья – того и смотри, что буду на Смольное глазѣть <..> (***)». Авторское подстрочное примечание содержит лаконичное пояснение, никак прямо не упоминающее кнут: «(***) Уголовное наказаніе» [Одоевский 1844: 316].

Очевидно, примечание указывает на то, что для таких жуликов из простонародья, как Филька, наказание кнутом являлось началом обычного пути на каторгу. Остается неясным, на каком основании в проекте исторического «Словаря русского языка XIX века» выражение *на смольное смотреть*, справедливо отнесенное в разряд «Фразеологические единицы, которые употреблялись в XIX в. и ушли из употребления в этот же период», приобрело конкретное явно неточное значение ‘сидеть в тюрьме’ [Сл. русск. яз. XIX: 148], отсутствующее как у В.И. Даля, так и у В.Ф. Одоевского. Социальная сфера употребления выражения не учитывается, источник толкования не указан. Если так было трансформировано толкование В.Ф. Одоевского ‘уголовное наказание’ при выражении *на Смольное глазеть*, то существенно, что виды уголовного наказания заведомо не исчерпывались тюремным заключением, да и последнее далеко не всегда предполагало публичное наказание плетьюми. Кроме того, нет оснований считать, что сугубо питерское выражение *смотреть / глазеть на Смольное* применялось к наказанию кнутом, производимому в других городах империи.

Выражение *смотреть / поглядеть на Знаменье* из материалов В.И. Даля 1842 г. у М.А. Грачева произвольно преобразуется в *посмотреть на знаменье*, где странным образом отождествлено наказание плетьюми и лишение свободы: «В аргю наблюдается бравирование и презрение перед официальным наказанием – лишением свободы: *посмотрѣть на знáмение* – ‘быть наказанным плетьюми’» [Грачев 1997: 133]. Нельзя согласиться как с написанием имени собственного *Знамение* (равно как и *Смольное*) со строчной буквы, так и с усматриваемым здесь «бравированием и презрением» (как был выведен этот коннотативный компонент, не уточняется). Скорее, перед нами эвфемизм, использовавшийся, чтобы случайно не накликать на себя наказание его прямым упоминанием. Позднее толкование этого выражения приобретает ряд деталей, отсутствующих не только в словарики «байкового» языка Даля, на который имеется ссылка, но и в истории: «быть наказанным кнутом на Сенатской площади в Петербурге» [Грачев 2003: 724; 2006: 467].

Таким образом, пара сугубо петербургских выражений *смотреть / глазеть на Смольное* ‘быть наказанным кнутом на Конной площади публично’ (актуальное до начала 1846 г.) и *смотреть / поглядеть на Знаменье* ‘быть наказанным плетьюми на Конной площади публично’ (возможное до 1863 г.) примечательны не только четкой географической привязкой, но и довольно редкой для жаргонных выражений возможностью надежно обосновать верхнюю хронологическую границу их употребления, что также должно найти отражение в словаре.

В связи с рассмотренным примером ошибочной трактовки двух жаргонных выражений становится весьма явной опасность неосторожного компилирования сведений предшественников, которое в весьма велеречивой форме смутно декларируется в академическом проспекте словаря русского языка XIX века: «Научные исследования в области национально-культурной и историко-культурной семантики <...> позволят обобщить, суммировать, свести воедино тематические классификации лексики с куль-

турным компонентом в русском языке XIX в., которые предлагаются в этих исследованиях с последующим дополнением и насыщением их за счет данных <...> современных историко-лексикографических материалов (например, созданных под руководством Р.П. Рогожниковой словарей-справочников <...>» [Сл. русск. яз. XIX: 132–133].

Однако упомянутые в Проекте словари, созданные под руководством Р.П. Рогожниковой [Редкие слова 1997; Рогожникова, Карская 1996], никак не могут быть образцами. Недостатки первого из них уже получили освещение в рецензии [Пильщиков 1998] и в данной статье со словом *сунир*. Из недочетов второго здесь стоит ограничиться одним примером беспримерного отождествления совсем разных слов:

«**ЖАЛОНЁР**, -а, и **ЖОЛНЁР**, -а, м. Солдат, поставленный для указания линии, по которой должна строиться воинская часть. *Друзья! Ужасное мученье <...> Быть на параде жалонёром Или на бале быть танцором.* Лермонтов. Монго. *Потом сам отправился вперед выбирать позицию для привала, <...> дожидался жолнёров, расставлял их, встречал дивизию, размещал полки.* Голубов. Багратион. [От франц. *jalonneur* – расстановщик вех]» [Рогожникова, Карская 1996: 170].

Здесь все грубые ошибки в разработке этих слов-паронимов доверчиво взяты из БАС₁, не исключая и формы *отправился* вместо *отправлялся*, находимой в первоисточнике [Голубов 1947: 97–98]:

«**Жалонёр**, а, м. Устар. Солдат, поставленный для указания линии, по которой должна строиться воинская часть. *Друзья! Ужасное мученье.. Быть на параде жалонером Или на бале быть танцором.* Лерм. Монго.»;

«**Жолнёр**, а, м. 1. Польский ратник, солдат-пехотинец. [Вишневецкий:] *Случись еще подобная тревога, Я жолнерам стрелять велю.* А. Остр. Дм. Самозванец. *Навстречу красноармейцу, по своей сторожевой тропинке, движется польский жолнер.* Н. Остр. Как закал. сталь. 2. То же, что жалонер. *Потом сам отправился вперед выбирать позицию для привала, осматривал ее, дожидался жолнеров, расставлял их, встречал дивизию, размещал полки.* Голуб. Багратион.») [БАС₁, IV: 23, 181].

Все это сохранено при переиздании [БАС₂, V–VI: 68, 161–162; БАС₃, V: 568, 679]. Ошибки второй словарной статьи были отмечены В.В. Виноградовым: «Так называемое второе значение, связанное с формой *жолнёр* <?>, является результатом контаминации со словом *жалонёр* (франц. *jalonneur*) (т. IV, с. 181). Таким образом, в данном случае мы имеем дело с историческим взаимодействием разных, хотя и близких по звучанию слов, с взаимодействием, приведшим к своеобразной омонимии <в современной лексикологии она получила название паронимии. – И.Д.>, а затем, по-видимому, и к частичному слиянию омонимов. В Академическом словаре антиисторизм в подходе к словарному материалу сказался в резком искажении семантической перспективы» [Виноградов 1956: 87; Добродомов 2003: 70–72].

К этому справедливому указанию В.В. Виноградова следует добавить, что в тексте ранних изданий романа С.Н. Голубова «Багратион», который не значится в числе источников большого академического словаря, читалось вовсе не ошибочное *жолнёр*, а орфографически ущербное (без употребления буквы *ё* в малоизвестном слове) *жалонер*: «дожидался жалонеров» [Голубов 1943а: 82–83; 1943б: 82–83]. Подмена одного созвучного слова другим произошла из-за некомпетентности редакторов последующих изданий романа С.Н. Голубова (начиная с 1947 г.), где стало печататься неуместное *жолнер* [Голубов 1947: 97–98]. Ошибка оказалась весьма агрессивной. Составители и редакторы словаря не заметили анахронизма в романе С.Н. Голубова, который ошибочно перенес слово *жалонёр*, обозначавшее реалию, существовавшую в русской армии лишь с 1819 г., во время жизни П.И. Багратиона (1765–1812) и не смогли подобрать безупречную цитату.

Все три рассмотренных случая (и полузабытое, но не такое уж редкое слово *супир* с вариантами, и два жаргонных выражения, зафиксированных В.И. Далем, и «странное сближение» *жалонёра* и *жолнера*) объединяются наличием неточностей в словарном толковании, обнаружить и исправить которые позволяет привлечение источников, содержащих материал для реконструкции предметного (для слов *супир*, *жалонёр* и *жолнер*) или реального (для *смотреть на Смольное / Знаменье*) содержания, стоящего за ушедшей в пассив номинативной единицей.

Представленные в настоящей статье лексикографические данные нового времени можно было бы оценить пессимистическими словами В.В. Виноградова: «На этом материале легко видеть, что восстановление полной семантической истории слова даже в пределах XVIII–XIX вв. только по данным толковых словарей почти невозможно» [Виноградов 1994: 41], – хотя большее количество привлеченных для исторических разысканий словарей способно побудить исследователей приблизиться к этой истории [Добродомов 1999: 21–35], но только трудный сам по себе для анализа текстовой материал, на котором должны строиться и словари, способен создать прочную базу для воссоздания истории слова¹¹.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ашукин, Ожегов, Филиппов 1993 – Н.С. Ашукин, С.И. Ожегов, В.А. Филиппов. Словарь к пьесам А.Н. Островского. М., 1993.
- А.Я. 1895 – [А.Я.] Кнутъ // Энциклопедическій словарь / Изд. Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. XV (29). СПб., 1895.
- Байбурин, Беловинский, Конт 2004 – А. Байбурин, Л. Беловинский, Ф. Конт. Полузабытые слова. СПб.; М., 2004.
- БАС₁ – Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л., 1948–1965.
- БАС₂ – Словарь современного русского литературного языка: В 20 т. Т. I–VI. М., 1990–1991.
- БАС₃ – Большой академический словарь русского языка. Т. 1–8. М.; СПб., 2004–2007.
- Беловинский 1999 – Л.В. Беловинский. Российский историко-бытовой словарь. М., 1999.
- Бестужев-Марлинский 1981 – А.А. Бестужев-Марлинский. Сочинения: В 2 т. / Сост., подгот. текста, коммент. В.И. Кулешова. Т. 1. М., 1981.
- Бондалетов 2004 – В.Д. Бондалетов. В.И. Даль и тайные языки в России. М., 2004.
- Бронников (1990) – [А.Г. Бронников] 10000 слов: Словарь уголовного жаргона. [Пермь, 1990].
- Быков 1994 – В.Б. Быков. Русская феня. Смоленск, 1994.
- Вагнер 1885 – [Н.П. Вагнеръ.] Князь Костя. Изъ пансіонской жизни. Гл. IX–XVIII. Окончаніе // Русскій вѣстникъ. 1885. № 6.
- Виноградов 1956 – В.В. Виноградов. О некоторых вопросах теории русской лексикографии // ВЯ. 1956. № 5.
- Виноградов 1968 – В.В. Виноградов. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры // ВЯ. 1968. № 1.
- Виноградов 1994 – В.В. Виноградов. История слов. М., 1994.
- Ганцовская 2003 – Н.С. Ганцовская. Костромское народное слово. Кострома, 2003.
- Голицынский 1860 – А.П. Голицынский. Уличные типы. М., 1860.
- Голубов 1943а – С.Н. Голубов. Багратион. М., 1943.
- Голубов 1943б – С.Н. Голубов. Багратион. М., 1943.
- Голубов 1947 – С.Н. Голубов. Багратион. М., 1947.
- Грачев 1997 – М.А. Грачев. Русское аргю. Нижний Новгород, 1997.
- Грачев 2003 – М.А. Грачев. Словарь тысячелетнего русского аргю. М., 2003.
- Грачев 2006 – М.А. Грачев. Толковый словарь русского жаргона. М., 2006.
- Григорович 1852 – Д.В. Григоровичъ. Проселочныя дороги // Отечественныя записки. Год 14-й. Т. LXXX. № 1–2; Т. LXXXI. № 3–4. СПб., 1852.
- Даль₁ – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Ч. I–IV. М., 1863–1865.

¹¹ За ряд контекстов, любезно указанных Н.И. Епишкиным, В.Н. Калиновской, И.А. Пильщиковым, В.В. Шаповалом, автор выражает им свою признательность.

- Даль₂ – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. СПб.; М., 1881–1882.
- Дилакторский 2006 – П.А. Дилакторский. Словарь областного вологодского наречия. М., 2006.
- Добродомов 1995 – И.Г. Добродомов. Проблема источников для русской исторической лексикологии нового времени // ВЯ. 1995. № 1.
- Добродомов 1996 – И.Г. Добродомов. Строить куры // Zeszyty naukowe Wyższej szkoły pedagogicznej w Rzeszowie. Seria filologiczna, zeszyt 20 / 1996. Językoznawstwo 3. Rzeszów, 1996.
- Добродомов 1999 – И.Г. Добродомов. История слова по лексикографическим данным и труды В.В. Виноградова по русской исторической лексикологии // Научные труды Московского педагогического гос. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. М., 1999.
- Добродомов 2002 – И.Г. Добродомов. Царское слово в поэме А.С. Пушкина «Граф Нулин» // Историко-лексикологические заметки: Межвуз. сб. статей. Орехово-Зуево, 2002.
- Добродомов 2003 – И.Г. Добродомов. Дмитрий Николаевич Ушаков // Отечественные лингвисты XX века. Ч. 3. М., 2003.
- Добродомов, Пильщиков 2002 – И.Г. Добродомов, И.А. Пильщиков. Облучок // Живое слово и жизнь. Архангельск, 2002.
- Добродомов, Шаповал 2005 – И.Г. Добродомов, В.В. Шаповал. О призрачных словах у лексикографов // Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi. Opole, 2005.
- Долопчев 1909 – В. Долопчев. Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи. Варшава, 1909.
- Дубягин, Теплицкий 1993 – Ю.П. Дубягин, Е.А. Теплицкий. Краткий англо-русский и русско-английский словарь уголовного жаргона. М., 1993.
- Дубягина и др. 2006 – О.П. Дубягина, Ю.П. Дубягин, А.Г. Горелов, О.И. Гречишников. Средства коммуникации преступного мира. М., 2006.
- Дубягина, Смирнов 2001 – О.П. Дубягина, Г.Ф. Смирнов. Современный русский жаргон уголовного мира. М., 2001.
- Елистратов 1997 – В.С. Елистратов. Язык старой Москвы. М., 1997.
- Епишкин 1999 – Н.И. Епишкин. Краткий исторический словарь галлицизмов русского языка. Чита, 1999.
- Жадовская 1885 – Ю.В. Жадовская. Полное собрание сочинений. Т. II. СПб., 1885.
- Иванов 1985 – Е.П. Иванов. Меткое московское слово. М., 1985.
- Инверс. индекс 2000 – Инверсионный индекс к Словарю русских народных говоров. СПб., 2000.
- Костин 1887 – М. Костинъ. Матросскій линчъ // Дѣло. 1887. № 2.
- Костин 1888 – М. Костинъ. На каменьяхъ // Русская мысль. 1888. № 1.
- Лейкин 1874 – Н.А. Лейкинъ. Веселые рассказы. СПб., 1874.
- Лермонтов 1956 – М.Ю. Лермонтов. Сочинения: В 6 т. Т. 5. М.; Л., 1956.
- Лермонтов 1980 – М.Ю. Лермонтов. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. Л., 1980.
- Лермонтов 1989 – М.Ю. Лермонтов. Полное собрание стихотворений: В 2 т. Т. 1. Л., 1989.
- Лухманова 1904 – Н.А. Лухманова. Институтка. Роман. М., 1904.
- Марлинский 1833 – А.А. Марлинскій. Фрегатъ Надежда // Сынъ отечества и Сѣверный архивъ. 1833. Т. XXXIV. № 9–14; Т. XXXV. № 15–17.
- Михельсон – М.И. Михельсон. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Т. 1–2. М., 1994.
- Мокиенко, Никитина 2000 – В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина. Большой словарь русского жаргона. СПб., 2000.
- Нефедов 1868 – Ф. Нефедовъ. Дѣвичникъ // Отечественныя записки. 1868. № 9. 1 отд.
- Овсянников 1867 – Н.Н. Овсянниковъ. О торговлѣ на Нижегородской ярмаркѣ // Нижегородскій сборникъ. Т. 1. Ч. 2. Нижній Новгородъ, 1867.
- Огиенко 1911 – И.И. Огіенко. Словарь неправильныхъ, трудныхъ и сомнительныхъ словъ, синонимовъ и выражений въ русской разговорной речи. Киевъ, 1911.
- Одоевский 1844 – В.Ф. Одоевскій. Живой мертвецъ // Отечественныя записки. 1844. № 1–2. 1 отд.
- Островский 1869 – А. Островскій. Горячее сердце // Отечественныя записки. 1869. № 1.
- Островский 1974 – А.Н. Островский. Полное собрание сочинений: В 12 т. Т. 3. М., 1974.
- Пильщиков 1998 – И.А. Пильщиков. Жантильом, бель-фам и розовая ксандрейка // Пушкин. 1998. 1 июня. № 3 (9).

- Писарев 1823 – *А.И. Писаревъ*. Лукавинъ, комедія въ пяти дѣйствіяхъ въ стихахъ. М., 1823.
- Потапов 1927 – *С.М. Потапов*. Словарь жаргона преступников (блатная музыка). М., 1927.
- Редкие слова 1997 – Редкие слова в произведениях авторов XIX века: Словарь-справочник / Отв. ред. Р.П. Рогожникова. М., 1997.
- Рид 1986 – *П.Дж. Рид*. Геммологический словарь. Л., 1986.
- Рогожникова, Карская 1996 – *Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская*. Школьный словарь устаревших слов русского языка. М., 1996.
- Ромбелинский 1910 – *А. Ромбелинскій*. Еще о драмѣ въ жизни писателя // Русская старина. 1910. № V.
- Росси 1991 – *Ж. Росси*. Справочник по ГУЛАГу. Ч. 1–2. М., 1991.
- Симаков 1913 – *В.И. Симаковъ*. Сборникъ деревенскихъ частушекъ. Ярославль, 1913.
- Сл. Новосиб. – Словарь русских говоров Новосибирской области. Новосибирск, 1979.
- Сл. орл. 1994 – Словарь орловских говоров. Вып. 6. Орел, 1994.
- Сл. Приам. 1983 – Словарь русских говоров Приамурья. М., 1983.
- Сл. Приам. 2007 – Словарь русских говоров Приамурья. Благовещенск, 2007.
- Сл. русск. яз. XIX – Словарь русского языка XIX века. СПб., 2002.
- Сл. Ср. Урала 1987 – Словарь русских говоров Среднего Урала. Т. IV. Свердловск, 1987.
- Снегов 1991 – *С.А. Снегов*. Язык, который ненавидит. М., 1991.
- Соболевский 1883 – *А.И. Соболевскій*. Греко-славянскіе этюды // Русскій филологическій вестникъ. 1883. Т. IX (год 5-й). № 1.
- Соболевский 1891 – *А.И. Соболевскій*. Лекціи по исторіи русскаго языка. СПб., 1891.
- Соллогуб 1845 – *В.А. Соллогуб*. Тарантасъ. Путевыя впечатленія. Соч. графа В.А. Соллогуба. СПб., 1845.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1–. М.; Л.; СПб., 1965–.
- Станюкович 1907 – *К.М. Станюковичъ*. Полное собраніе сочиненій. 2-е изд. Т. XII. СПб., 1907.
- Стихотв. ком. 1964 – Стихотворная комедия конца XVIII – начала XIX в. М.; Л., 1964.
- Тимофеев 1902 – [*А. Тимофеев*] Тѣлесныя наказанія // Энциклопедическій словарь / Изд. Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. XXXIV (67). СПб., 1902.
- Тимофеев 1971 – *В.П. Тимофеев*. Диалектный словарь личности. Шадринск, 1971.
- Толк. сл. угол. жарг. – Толковый словарь уголовных жаргонов. М., 1991.
- Фаресов 1894 – *А. Фаресовъ*. Волга и волгари. Путевыя замѣтки // Сѣверный вѣстникъ. 1894. № 2.
- Шаповал 2007 – *В.В. Шаповал*. О некоторых ошибках в современных жаргонных словарях // ВФ. 2007. № 1.
- Шапошников 1969 – *В.И. Шапошников*. Красносельские ювелиры. Ярославль, 1969.
- Шеметова 1995 – *Р.Е. Шеметова*. Митя // Отечество. 1995. Вып. 6.
- Шеридан 1794 – [*Р. Шеридан*] Школа злословія. Комедія въ пяти дѣйствіяхъ. [Пер. И.М. Муравьев-Апостол]. СПб., 1794.
- Шишков 1932 – *В.Я. Шишков*. Странники. 2-е изд., перераб. Л., 1932.
- Шишков 1983 – *В.Я. Шишков*. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 3. М., 1983.
- Элиасов 1980 – *Л.Е. Элиасов*. Словарь русских говоров Забайкалья. М., 1980.
- Яросл. обл. сл. 1990 – Ярославский областной словарь. <Вып. 9.> С–Тятя. Ярославль, 1990.
- Jochym-Kuszlukowska 2005 – *L. Jochym-Kuszlukowska*. Rzeczowniki na -inż i -ing we współczesnym języku rosyjskim i polskim // Ogród nauk filologicznych. Opole, 2005.
- Piotrowski 2005 – *T. Piotrowski*. Pseudoanglicyzmy czy neoanglicyzmy? // Ogród nauk filologicznych. Opole, 2005.
- Słownik 1861 – Słownik języka polskiego / Wydany staraniem i kosztem Maurycego Orgelbranda. Cz. 1–2. Wilno, 1861.

© 2009 г. А.С. САМИГУЛЛИНА

«СКРЫТАЯ ПАМЯТЬ» СЛОВА
(на примере метафорических номинаций)

Статья посвящена рассмотрению понятия «внутренняя форма» в контексте современных семантико-когнитивных теорий языка. Концептуальную основу статьи составляют теоретические положения Т.М. Николаевой о «скрытой памяти» языка и постулаты Московской семантической школы, изложенные в трудах Ю.Д. Апресяна. В статье описываются некоторые механизмы образования внутренней формы языковых номинаций в целом и метафорических номинаций в частности, а также указывается на трудности изучения внутренней формы в онтологии.

0. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В силу того, что целью настоящей статьи является многоаспектное рассмотрение понятия «внутренняя форма», считаем необходимым предварить обсуждение данной проблемы следующими размышлениями.

Во-первых, мы берем за основу мысль о том, что любое лингвистическое описание должно, с одной стороны, выстраиваться в соответствии с принципом интегральности, а с другой, осуществляться с установкой на реконструкцию языковой картины мира, что методологически восходит к постулатам Московской семантической школы (см., например, работы [Апресян 1995а; 2005; Апресян и др. 2004]). Собственно реконструкция языковой картины мира невозможна без обращения к понятию «внутренняя форма», поскольку, по словам ведущих теоретиков указанного научного направления, принцип реконструкции в тенденции реализуется при учете следующих постулатов (подробнее в [Апресян 2005: 7]): 1) материалом для реконструкции должны служить исключительно факты языка – лексемы, грамматические формы, словообразовательные средства, просодии, синтаксические конструкции, правила лексико-семантической сочетаемости и т.п.; 2) картина мира, нашедшая свое отражение в языке, существенно отличается от научной картины мира, поскольку имеет характер «наивной онтологии»; 3) языковая картина мира лингво- и этноспецифична, то есть ее основу конституирует особый способ мировидения, присущий тому или иному языковому сознанию и представляющий собой набор ключевых идей, или «семантических лейтмотивов». Методика интегрального описания фактов языка также обладает несомненной значимостью для современной лингвистической мысли, которая находится в состоянии перехода от «эпохи эпистемологии без онтологии» к «онтологической гносеологии», когда исследователь, выходя за традиционные логико-гносеологические рамки, возвращается в мир бытия. Таким образом, обозначенный подход к изучению понятия «внутренняя форма» обеспечивает не только системность языковедческого анализа, но и позволяет эксплицировать девиации культурологического свойства, так как, по свидетельству М.М. Маковского [Маковский 2006: 8], «язык несравненно проще, и несравненно сложнее любой идеально созданной системы», а любые системные образования, продолжая мысль исследователя, неизменно порождают такие явления, которые находятся в явном противоречии с теми видами системности, в недрах которых они возникли (ср. с известными антиномиями В. Гумбольдта и Ф. де Соссюра).

Во-вторых, поскольку мы поддерживаем положение Г.Г. Шпета [Шпет 2003: 117] о том, что внутренняя форма представляет собой «прием, способ, метод формирования понятий», то ее реконструкция позволяет распределить так называемую «скрытую память» языка [Николаева 2002: 26]. Основопологающим моментом в определении «скрытой памяти» языка, согласно Т.М. Николаевой, можно считать презумпцию о способности языка воспроизводить одну и ту же модель построения концепта на протяжении достаточно масштабного временного периода. При этом, по словам ученого, существует несколько трактовок самого понятия «скрытая память» языка: 1) «скрытая память» есть определенная способность лексем, грамматических форм, синтаксических моделей и т. п. к свободному замещению друг друга в процессе коммуникации; 2) «скрытая память» есть явление диахронного порядка сродни этимологическому значению; 3) «скрытая память» представляет собой набор определенных правил для регулярного «овнешнения» того или иного концепта посредством языка. Нам ближе третий тип понимания «скрытой памяти», поскольку он предполагается для синхронного состояния языка, а также зиждется на идее об облике «далекого» периода в последующих манифестациях единиц вербалики на других уровнях языкового существования. Т.М. Николаева приводит целый ряд убедительных примеров того, как повторяемость, о которой идет речь, обнаруживается в содержательной составляющей квазисинонимичных форм *хоть* и *хотя*, в семантических структурах таких речевых клише, как *Здравствуйте, Пожалуйста, Спасибо* и т.п. (см., например [Николаева 2001; 2002]), в просодических контурах языков Балканского союза [Николаева 1996] и т.п. Именно в данном толковании понятие «скрытая память» содержательно приближается к понятию системообразующего смысла, который характеризуется, цитируя Ю.Д. Апресяна, «многообразием обликов» и «единообразием проявлений» [Апресян 2005: 11].

В-третьих, вопрос о внутренней форме слова приобретает особую актуальность в процессе изучения механизмов метафоризации в силу того, что в структуре метафоры обнаруживается некое движение, последовательная смена моментов, отображающая развитие самого смысла, начиная с индивидуальных «наивных» представлений и заканчивая конвенциональными схемами языкового употребления. Например, «когда мы говорим не только о человеке, что он *идет*, но и о дожде (*дождь идет*), о поезде (*поезд идет*), о времени (*годы идут*), то здесь семантика глагола *идти* выступает одновременно и как устойчивая, и как подвижная» (Р.А. Будагов) – цит. по [Апресян 1974а]. Кроме того, внутренняя форма знаков вторичной номинации значительно информативнее по сравнению с внутренней формой знаков прямой номинации, поскольку структура первой предполагает тесную взаимообусловленность номинативного, предикативного и действенного аспектов смыслообразования, а собственно изобразительная наглядность метафоры создается посредством одновременного «видения двух картин». Мы полагаем, что внутренняя форма метафорических образований имеет иерархическую структуру, поскольку, по словам Э. Бенвениста [Бенвенист 2002: 136], форма языковой единицы представляет собой способность последней разлагаться на конститутивные элементы низшего уровня, подобно «иерархии сем»: когда речь идет о наличии сем различной степени обобщенности [Мурясов 1972]. При этом, на наш взгляд, техника интегрального описания языка третьего тысячелетия очевидным образом восходит к концепции физикализма о «воплощенной» (телесной) природе разума (*embodiment of mind*), что не только способствует преодолению картезианского дуализма в понимании значения (*signification*), но и расширяет наше знание об особенностях концептуализации и категоризации действительности средствами языкового означивания.

1. ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА И ЕЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС

В абсолютном смысле в языке не может быть материи без формы, а потому размышления на эту тему занимают умы теоретиков языка уже без малого несколько столетий.

В. Гумбольдт разграничивает понятия «внешняя форма» (звуковая форма) и «внутренняя форма» (форма языка), которые, по его мнению, находясь в отношениях взаимообусловленности и взаимовлияния, обеспечивают мобильность языковой системы в целом. Под внешней формой мыслится звуковое оформление высказывания, его морфологическая структура, а также значение. В лингвофилософской концепции ученого внутренняя форма (*innere Sprachform*) имеет три толкования: 1) внутренняя форма – это способ соединения понятия со звуком, то есть внутренняя форма представляет собой некую эпидигматическую связь, существующую в виде обобщенно-абстрагирующего признака; 2) внутренняя форма есть выражение «духа народа» в языке, или в современной терминологии, – языковая картина мира; 3) внутренняя форма являет собой суммарный итог всех основных языковых структур, совокупность всех элементов языка, рассматриваемых в системе.

А.А. Потебня в своих ранних работах рассматривает понятие «внутренняя форма» в ономаσιологическом ключе, а именно выстраивает свою концепцию с опорой на механизмы апперцепции, постулируя факт обусловленности каждого конкретного восприятия предыдущим опытом человека. В данном случае явно прослеживается связь теоретических обобщений А.А. Потебни с физикалистской концепцией Лакоффа–Джонсона, а также их последователей. В рамках ономаσιологического подхода к экспликации сущностных свойств рассматриваемого явления внутренняя форма выводится за пределы семантической структуры слова и, соответственно, понимается, во-первых, как отношение содержания мысли к сознанию, а во-вторых, как образ образа, то есть представление, которое А.А. Потебня сравнивает с внутренней силой, обеспечивающей движение мысли в направлении ‘познанное → познаваемое’. Впоследствии ученый переосмысливает понятие «внутренняя форма» с позиции семасиологической перспективы. А.А. Потебня считает, что в слове есть два содержания: объективное и субъективное, иначе говоря, «ближайшее» и «дальнейшее» значение. Внутренняя форма представляет собой этимологическое значение, лишенное субъективного измерения, то есть «ближайшее» значение понимается как способ объективации интеллектуально-эмоционального содержания, как «скрытая память» языковой номинации, системообразующий смысл последней.

Г.Г. Шпет, находящийся под влиянием идей В. Гумбольдта, квалифицирует внутреннюю словесно-логическую форму как «закон самого образования понятия» [Шпет 2003: 117]. Основной конститутивной единицей внутренней формы, по Г.Г. Шпету, является «предметный остов» [Шпет 1989], то есть амодальный образ, по своим свойствам напоминающий «ближайшее» значение слова А.А. Потебни. Внутренняя форма Г.Г. Шпета выполняет две важные функции: номинативную, указывающую на референт слова, и семасиологическую (функцию оживления внутренней формы как главного источника неоднозначности в языке), наделяющую модель внутренней формы процессуальными признаками, впоследствии служащими образованию того или иного «сокровенного смысла».

С проблематикой внутренней формы связан целый ряд спорных моментов (подробный обзор см. в [Алефиренко 2005: 129–138]). Во-первых, языковеды дискутируют на предмет того, принадлежит ли внутренняя форма языковой или внеязыковой реальности. Во-вторых, неразрешенным остается вопрос о том, можно ли считать внутреннюю форму синхронным компонентом языковой семантики или же рефлексом диахронии, то есть этимологической составляющей номинации. В-третьих, факт признания того, что внутренняя форма все-таки локализуется в семантической структуре языкового знака, влечет за собой вопросы, связанные с денотативной, коннотативной или сигнификативной природой этой сущности. В-четвертых, мнения ученых расходятся относительно того, можно ли ставить знак равенства между моделями «регулярной многозначности» (подробнее о регулярной многозначности см. в [Апресян 1974б]) и образцами внутренней формы. К примеру, Анна А. Зализняк выявляет следующие способы представления регулярной многозначности (семантической деривации), которые лежат в основе создания того или иного типа внутренней формы: 1) иерархиче-

ски упорядоченный набор частных значений, 2) так называемые «семантические мосты» И.А. Мельчука, 3) инвариант и выводимые из него многочисленные варианты, 4) образ-схема, а также 5) абстрактная схема и набор формальных операций ее логического преобразования [Анна Зализняк 2004: 34–35]. Интересны в данной связи обобщения Р.З. Мурясова [Мурясов 1987; Murjazov 1994], касающиеся «изограмматических признаков», или так называемых «грамматикоподобных функций», словообразования. Речь идет о грамматикоподобных правилах в словообразовании, которые можно с полным правом квалифицировать как продуктивные модели, обеспечивающие «мотивационную прозрачность» производных номинаций. Например: (нем.) *Leser* (читатель) – «*jemand, der... etwas liest*» (тот, кто что-то читает) [Murjazov 1994: 69]. Таким образом, представляется возможным дополнить классификацию Анны А. Зализняк еще одним типом внутренней формы, который мы бы условно обозначили как динамическая схема, позволяющая посредством грамматических трансформаций производного слова в частности и любой другой номинации в целом не только реализовать объяснительную функцию, но и установить степень грамматичности, поскольку, по свидетельству Р.З. Мурясова [Мурясов 1989: 50], «модели образуют шкалу», то есть являются динамичными образованиями.

Мы полагаем, что внутренняя форма слова принадлежит к системе языкового узуса, поскольку в противном случае языковед углубляется в сферу психологии, покидая при этом твердую лингвистическую почву, то есть, нарушая тем самым первое правило процедуры реконструкции языковой картины мира (см. пункт «0. Вводные замечания»). Говоря словами Н.Г. Комлева, внутренняя форма есть точка для фиксации взгляда, «стержень для нанизывания на него истинного, главного, а не только кажущегося значения» [Комлев 2006: 69]. Поскольку мы причисляем понятие внутренней формы к третьему типу «скрытой памяти» языка, то проблема синхронной/диахронной реальности бытования рассматриваемого явления решается в пользу синхронии. Вслед за Н.Ф. Алефиренко [Алефиренко 2005: 135], полагаем, что внутренняя форма есть обобщенный признак, содержащий в себе «деривационную память об источниках лингвосемиозиса номинативного, структурно-семантического и когнитивного характера», а потому внутренняя форма слова представляет собой единицу сигнификативного пространства языка, единицу, осуществляющую эпидигматическую связь между денотатом и коннотацией. Образцы внутренней формы, на наш взгляд, должны, удовлетворять следующим условиям. Во-первых, они должны являть собой продуктивные модели смыслообразования, когда «для любого слова, имеющего значение типа 'А', верно, что оно может быть употреблено и в значении типа 'В' (если 'А', то 'В')» [Апресян 1974б: 191]. Во-вторых, подобно любой модели вообще (см. подробнее [Баранов 2003: 9]), образцы внутренней формы должны обладать прогностическим и экспланаторным потенциалом. В-третьих, модель внутренней формы должна представлять собой иерархию слов, пошаговое раскодирование которых позволяет установить закономерности в порождении нового знания, а также выявить основные конститутивные составляющие нашего опыта, с помощью которых происходит «вхождение действительности в человека». Заметим, что, поскольку нам свойственно мыслить метафорами, то за основу мы берем понятие «образ-схема», наиболее конкретный случай концептуальной метафоры (самый низший уровень иерархии), понимаемый как динамическая аналоговая репрезентация (а) пространственных отношений и (б) различных передвижений в пространстве (подробнее см. [Lakoff 1990; Johnson 1990; Gibbs, Colston 2006]).

2. ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА И МОТИВИРОВАННОСТЬ

Традиционно под мотивированностью понимается «наличие некоторой прозрачной содержательной связи между состояниями А и В» [Анна Зализняк 2004: 36], механизм семантической деривации, изучение которого позволяет прогнозировать дальнейший путь семантического развития языка в рамках уже сложившейся внутренней логики

репрезентации знания, полученного эмпирическим путем. Другими словами, мотивированность есть «образ или идея, положенные в основу номинации» [Анна Зализняк 2005: 87].

Заметим, что подобное понимание мотивированности идет вразрез с обобщениями Ф. де Соссюра, постулирующего примат произвольности, или арбитrarности, языкового знака. Само понятие образа, согласно концепции монографии «Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности» [Человеческий фактор 1991: 27], несет на себе печать частного случая эмоциональной мотивации, наряду с морфологическими, звуковыми, интонационными и другими средствами. Данное обстоятельство в определенной степени подтверждает нашу гипотезу о том, что за бесконечным разнообразием языковых проявлений скрывается достаточно жесткая семиотическая логика – логика, ограничивающая варьирование наблюдаемой языковой формы и устанавливающая истинностные связи между поверхностной структурой номинации и ее когнитивной моделью. Выявить эту семиотическую логику возможно, на наш взгляд, единственным способом: посредством построения объяснительной теории об устройстве и использовании естественного языка, которая бы опиралась на гипотезу о глубинной онтологической связи языка и мышления для последующего обеспечения реконструкции когнитивной структуры, стоящей за тем или иным вербальным знаком.

Рассмотрим понятия «мотивированность», «частичная мотивированность» и «немотивированность» на примере английских *as ... as* конструкций (синхронный подход).

Мы полагаем, что *as ... as* конструкция мотивирована тогда, когда в ее семантической структуре проступает стержневой элемент мысли («предметный остов» в терминологии Г.Г. Шпета). Ср.: *as agile as a monkey* – образ мотивирован: < обезьяна → проворный, ловкий >; *as like as two peas* – образ мотивирован: < горошины → существует понятие стандартного размера → похожий >; *as blind as a bat* – образ мотивирован: < летучая мышь → слепой >; *as brave as a lion* – образ мотивирован: < лев → смелый >; *as busy as a bee* – образ мотивирован: < пчела → занятой >; *as cold as ice* – образ мотивирован: < лед → холодный >; *as cunning as a fox* – образ мотивирован: < лиса → хитрый > и т.п.

Частичная мотивированность *as ... as* конструкции устанавливается в том случае, когда наряду с «номинативной предметностью» проступает и «предметность смысловая», то есть происходит оживление внутренней формы номинации. Ср.: *as deaf as a post* (completely deaf) – образ частично мотивирован (метафоризация): < столб → глухой >; *as drunk as a drowned mouse* – образ частично мотивирован (метафоризация): < утопшая мышь → нахлебаться воды / пьяный >; *as dull as a dishwasher* – образ частично мотивирован (метафоризация): < посудомоечная машина → скучный (видимо, из-за монотонного звука) > и т.п.

Понятие «немотивированность» в общем-то крайне условно, так как, с одной стороны, немотивированный знак может не давать никакой ясности по части возникновения образа, а с другой стороны, он может иметь свою генетическую историю. Ср. выражение *as mad as a hatter* в синхронии и диахронии. В синхронных лингвистических описаниях создаваемый идиомой образ немотивирован: < шляпник → безумный >, тогда как с точки зрения этимологического значения, по-видимому, сложно вести речь о немотивированности по двум причинам: 1) по причине прецедентности анализируемого выражения и 2) по причине соотнесенности последнего с реальными фактами, взятыми из истории Британии.

Прецедентность реализуется в силу того, что традиционно *as mad as a hatter* ассоциируется с известным произведением Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес», хотя появилось данное метафоризованное сравнение еще в 30-е годы XIX столетия, когда в моде были фетровые шляпы. Первоначально эти шляпы изготавливали из меха бобра, но затем стали изыскивать более дешевые способы и материалы: во-первых, перешли на кроличий мех, во-вторых, внесли изменения в сам процесс выделки этого пушного сырья. М. Квинион описывает это следующим образом: A complicated set of processes was needed to turn the fur into a finished hat. With the cheaper sorts of fur, an early step was to

brush a solution of a mercury compound on to the fur to roughen the fibers. The fibers were then shaved off the skin and turned into felt [Mad as a Hatter: [www.worldwidewords.org / qa / qa-mad2.htm](http://www.worldwidewords.org/qa/qa-mad2.htm)]. Все это происходило в маленьких душных помещениях, в которых шляпники постоянно дышали парами ртути, что не могло пагубно не сказаться на их здоровье. Известно, что в первую очередь ртуть поражает почки и головной мозг. К основным симптомам отравления ртутью относят выпадение зубов, потерю координации, нарушение артикуляции, ухудшение памяти, депрессию, раздражительность, что и подразумевается семантикой *a mad hatter syndrome* (при этом лексема *mad* в данном контексте больше похожа на *being very angry*, чем на *insane*). Правомерно ли в данном случае утверждать, что у выражения *as mad as a hatter* отсутствует внутренняя форма, зачастую понимания как осознаваемая говорящими мотивированность?

По-видимому, понятия «внутренняя форма» и «мотивированность» суть два аспекта одного и того же явления: с одной стороны, мотивированность представляет собой способ образования внутренней формы; с другой – внутренняя форма есть прием создания экспаланаторности (мотивированности), способствующей визуализации ментальной картинки.

3. ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА И ОБРАЗ-СХЕМА

Разрабатываемая в отечественной лингвистике теория значения на основе компонентного анализа (например, работы Ю.Д. Апресяна, И.А. Мельчука, А.К. Жолковского) позволяет выявить семантические первоэлементы (самый первый уровень иерархии), находящиеся в сфере когнитивной деятельности человека и представляющие собой фактически те же самые категории, о которых идет речь в хрестоматийных работах по американской когнитивистике (Р. Лангакер, Дж. Лакофф, М. Джонсон и др.). Поскольку внутренняя форма является, как мы уже отмечали выше, компонентом семантики, то закономерно было бы предположить, что она также обладает «слоистой» структурой, объединяющей в себе пучки обобщенно-ассоциативных признаков, образующих определенную иерархию.

Начнем с того, что внутренняя форма зачастую воспринимается и переживается как образ, возникающий в точке пересечения денотативного и коннотативного компонентов значения номинации, а потому можно предположить, что первооснову внутренней формы конституирует такое понятие, которое, с одной стороны, способствует реализации принципа инвариантности в языке (*Invariance principle*), а с другой, обеспечивает схематизацию образной составляющей языковой единицы.

В процессе повседневного рефлексирования над фактами и явлениями объективной действительности любой носитель языка регулярно пользуется двумя дюжинами разнообразных образов-схем и их смысловых трансформаций (см. [Gibbs, Colston 2006: 239]). Среди образов-схем, имеющих наиболее широкое хождение, традиционно выделяют конструкторы типа контейнер (CONTAINER), баланс (BALANCE), источник-путь-цель (SOURCE-PATH-GOAL), центр/периферия (CENTER/PERIPHERY) и т.п., специфика которых сопряжена с особенностями функционирования пространственного кода культуры в целом. Подобные образы-схемы покрывают огромное количество экспериенциальных структур (*experiential structures*), которые обладают особой маркированностью в ментальной составляющей процесса вербализации какой-либо идеи, выстраиваемой на основе опытных данных, а также имеют определенно очерченную внутреннюю конфигурацию и могут быть переосмыслены метафорически с тем, чтобы наше понимание специфики более абстрактных сущностей было максимально точным и исчерпывающим. Например, Р. Лангакер изучал то, как образы-схемы участвуют в процессе создания грамматических форм; К. Бругман и Дж. Лакофф рассматривали понятие образа-схемы в контексте исследования предлогов английского языка; С. Линднер задействовала образ-схему для семантизации английских фразовых глаголов типа *глагол + up* и *глагол + out*; К. Бругман также размышляла над наречием *'very'* в категориях образов-схем; Дж. Лакофф подводил специфику японского опе-

ратора 'hon' под понятие «образ-схема». Последние исследования в области философии языка посвящены изучению таких абстрактных метафорических концептов, как, например, каузация, причина (например [Dirven 1995]), смерть, мораль, гнев (например [Kövesces 1995: 181–196]) и т.п., трактуемых через ту или иную образ-схему (см. подробнее также [Grady 1997: 80–85]).

Несмотря на то, что образы-схемы являют собой результат перцептивной деятельности и двигательной активности (моторики), специфика образов-схем не сводима к описанию исключительно сенсомоторного (sensorimotor) механизма их порождения. Напротив, подобные когнитивные модели, по М. Джонсону [Johnson 1990: 30], репрезентируют первичные средства, с помощью которых мы создаем, или устанавливаем порядок. Образы-схемы никак нельзя назвать пассивно существующими ячейками для хранения опытных данных перцептивного характера. Напротив, с точки зрения генезиса образы-схемы представляют собой продукты непропозиционального восприятия действительности и функционируют как структуры, упорядочивающие факты эмпирического свойства на уровне физического восприятия и движения.

По свидетельству Дж. Лакоффа [Lakoff 1990: 272–277], любая образ-схема структурируется в соответствии с опытом, который накапливает человек в процессе взаимодействия с действительностью (bodily experience); распадается на ряд структурных элементов (structural elements); а также имеет в своей основе определенную базовую логику (basic logic). Например, специфика образа-схемы КОНТЕЙНЕР может быть эксплицирована следующим образом:

Опыт, основанный на физических ощущениях (Bodily experience): Наша собственная ментальная локализация самих себя сравнима с контейнером, заполненным тем или иным набором вещей.

Структурные элементы (Structural elements): Внутренняя часть (interior), граница (boundary), внешняя часть (exterior).

Базовая логика (Basic logic): Что-то расположено либо внутри контейнера, либо за его пределами – Р или не Р. Если контейнер А находится в контейнере В, а Х – в контейнере А, то тогда Х содержится в В [Там же: 272]. Приведенное Дж. Лакоффом логическое утверждение конституирует основу *modus ponens*: Если все А суть В и Х локализуется в А, тогда Х есть В.

Примеры метафор в контексте трансформаций рассматриваемого образа-схемы (Sample metaphors): Поле зрения часто воспринимается в терминах контейнера, то есть вещи имеют тенденцию *come into sight* и *go out of sight*. Взаимоотношения людей также представляются как вместилища: *one can be trapped in a marriage* и *get out of it* и т.п. Так, данная образ-схема, актуализируясь в метафорическом контексте, может быть успешно применена при категоризации непространственного опыта (например, *put ideas into words, the contents of an essay, empty words; be in love, fall out of love* и т.п.).

Образ-схема ОБЩЕЕ ЕСТЬ СПЕЦИФИЧНОЕ (GENERIC IS SPECIFIC) облегчает, к примеру, процесс интерпретации пословиц и других выражений-клише, поскольку последние в тенденции строятся на базе метафор конкретного уровня. В качестве иллюстрации рассмотрим пословицу 'the early bird catches the worm' (подробный анализ см. в [Kövesces 2002: 39]), где BIRD, CATCH и WORM суть концепты конкретного уровня (specific-level concepts). Процедура установления внутренней формы данного языкового клише значительно облегчается посредством образа-схемы ОБЩЕЕ ЕСТЬ СПЕЦИФИЧНОЕ (GENERIC IS SPECIFIC), которая указывает нам на обобщенный характер рассматриваемой пословицы: ранняя птичка (the early bird) десигнирует любого человека, которому всегда удастся выполнять какую-либо работу первым, ловить – значит добывать (catching is obtaining), червяк (the worm) представляет собой обобщенный вариант того объекта, которым можно завладеть первым. Таким образом, представляется возможным репрезентировать генерализованное значение пословицы следующим образом: «Если ты делаешь что-либо первым, то ты получаешь то, что хочешь, раньше других».

Одна их трансформаций образа-схемы ПРОСТРАНСТВО – ДВИЖЕНИЕ может иметь, к примеру, вид ДЕНЬГИ ЕСТЬ ЖИДКОСТЬ (MONEY IS A LIQUID): *My euros are all dried up; Investing in their stock at the moment is like pouring your money down the drain; They have only just started liquidating the assets. I wonder how long they are going to stay afloat...; In a situation like that, anybody would find it difficult to keep their head above water, financially I mean...; The situation was desperate. Harold was drowning in debts and couldn't keep going much longer* и т.п.

На наш взгляд, привлекательность понятия «образ-схема» для теории категоризации и концептуализации связывается с тем, что, во-первых, образы-схемы обладают экспланаторной силой, то есть объясняют закономерности нашего мышления, а также особенности работы нашего воображения, поскольку образы-схемы в тенденции составляют базис для формирования других концептов; а во-вторых, само существование фиксированного набора образов-схем подтверждает факт креативности метафоры в целом, так как они не только упорядочивают опытные данные и создают мотивированность языкового знака, но и репрезентируют этапы формирования структурных конфигураций человеческой менталики, раскрывая при этом способ соединения понятия со звуком.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Для того чтобы решить задачу описания внутренней формы, необходимо, в первую очередь, установить закономерности синтезирования этой сущности не только в терминах построения теоретической модели, но и с позиции восприятия и создания внутренней формы номинации пользователями языка.

Совсем недавно лингвистические исследования по семантике преимущественно ориентировались на так называемое «ближайшее» значение А.А. Потебни, поскольку именно оно является объективным отражением действительности в языке. Однако ситуация, сложившаяся в современном языкознании, способствует изучению и «дальнейшего» значения в связи с устремленностью лингвистических штудий к так называемому «антропроектированию», то есть к познанию «человеска в языке», к реконструкции языковой картины мира.

Наш тезис состоит в том, что онтологически развитие внутренней формы проходит путь от схематического образа (самого общего представления) до постепенного расчленения последнего на оппозиции частных значений. Подобный взгляд на внутреннюю форму несколько противоречив. С одной стороны, он подводит исследователя к идее об иерархичности структуры внутренней формы. С другой стороны, позволяет постулировать факт недискретности существования рассматриваемой сущности в языке как системе, хотя данное обстоятельство не должно заставить лингвиста-теоретика отказаться от рефлексирования над отдельными составляющими внутренней формы, изучение которых необходимо в случае, если исследователь стремится организовать информацию о слове оптимальным образом (например, по принципу «лексикографического портрета» – термин в [Апресян 1995б]).

Изучение внутренней формы метафорической номинации важно как с точки зрения установления регулярных способов взаимодействия единиц языкового и когнитивного сознаний, так и с позиции создания «портрета» одной ситуации через призму другой. При этом удачное моделирование внутренней формы вторичной номинации неизменно ведет к возникновению мотивированности, объясняющей тот или иной прием порождения изобразительной ментальной картинки, запечатленной в «скрытой памяти» языка, что, в конечном счете, оптимизирует исследовательские практики по части изучения особенностей отражения, а может быть, и отображения действительности в средствах вербальных репрезентаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алефиренко 2005 – Н.Ф. Алефиренко. Спорные проблемы семантики: Монография. М., 2005.
- Апресян 1974а – Ю.Д. Апресян. Значение и оттенок значения // ИАН СЛЯ. 1974. Т. XXXII. Вып. 4.
- Апресян 1974б – Ю.Д. Апресян. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
- Апресян 1995а – Ю.Д. Апресян. Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Апресян 1995б – Ю.Д. Апресян. Лексикографический портрет глагола *выйти* // Ю.Д. Апресян. Избранные труды. Т. II. М., 1995.
- Апресян 2005 – Ю.Д. Апресян. О Московской семантической школе // ВЯ. 2005. № 1.
- Апресян и др. 2004 – Ю.Д. Апресян, В.Ю. Апресян, Е.Э. Бабаева, О.Ю. Богуславская, И.В. Галлактионова, М.Я. Гловинская, С.А. Григорьева, Б.Л. Иомдин, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, А.В. Птенцова, А.В. Санников, Е.В. Урысон. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ. рук. акад. Ю.Д. Апресяна. 2-е изд., испр., доп. М.; Вена, 2004.
- Баранов 2003 – А.Н. Баранов. Введение в прикладную лингвистику: Учеб. пос. М., 2003.
- Бенвенист 2002 – Э. Бенвенист. Общая лингвистика / Общ. ред., вступ. ст. и коммент. Ю.С. Степанова. М., 2002.
- Зализняк Анна 2004 – Анна А. Зализняк. Феномен многозначности и способы его описания // ВЯ. 2004. № 2.
- Зализняк Анна 2005 – Анна А. Зализняк. Проблема внутренней формы слова в типологическом аспекте // Язык. Личность. Текст: Сб. ст. к 70-летию Т.М. Николаевой / Отв. ред. В.Н. Топоров. М., 2005.
- Комлев 2006 – Н.Г. Комлев. Компоненты содержательной структуры слова. М., 2006.
- Маковский 2006 – М.М. Маковский. Системность и асистемность в языке: Опыт исследования антиномий в лексике и семантике. 2-е изд. М., 2006.
- Мурясов 1972 – Р.З. Мурясов. Структура словообразовательных полей лица и инструмента в современном немецком языке // ВЯ. 1972. № 4.
- Мурясов 1987 – Р.З. Мурясов. Грамматика производного слова // ВЯ. 1987. № 5.
- Мурясов 1989 – Р.З. Мурясов. Словообразование и теория номинализации // ВЯ. 1989. № 2.
- Николаева 1996 – Т.М. Николаева. Просодия Балкан. М., 1996.
- Николаева 2001 – Т.М. Николаева. Металингвистический иконизм и социолингвистическая дистрибуция этикетных речевых стереотипов // Язык и культура: Факты и ценности. К 70-летию Ю.С. Степанова / Отв. ред. Е.С. Кубрякова, Т.Е. Янко. М., 2001.
- Николаева 2002 – Т.М. Николаева. «Скрытая память» языка: Попытка постановки проблемы // ВЯ. 2002. № 4.
- Человеческий фактор 1991 – Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности / Отв. ред. В.Н. Телия. М., 1991.
- Шпет 1989 – Г.Г. Шпет. Герменевтика и ее проблемы. М., 1989.
- Шпет 2003 – Г.Г. Шпет. Внутренняя форма слова (этюды и вариации на темы Гумбольдта). М., 2003.
- Dirven 1995 – R. Dirven. The construal of cause: The case of cause prepositions // J.R. Taylor, R.E. MacLaury (eds.). Language and the cognitive construal of the world. Berlin; New York, 1995.
- Gibbs, Colston 2006 – R.W. Gibbs, H.-L. Colston. The cognitive psychological reality of image schemas and their transformations // D.Geeraerts (ed.). Cognitive linguistics: Basic readings. Berlin; New York, 2006.
- Grady 1997 – J. Grady. THEORIES ARE BUILDING revisited // Cognitive linguistics. 1997. 4 (4).
- Johnson 1990 – M. Johnson. The body in the mind: The bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago; London, 1990.
- Kövesces 1995 – Z. Kövesces. Anger: Its language conceptualization and philosophy in the light of cross-cultural evidence // J.R. Taylor, R.E. MacLaury (eds.). Language and the cognitive construal of the world. Berlin; New York, 1995.
- Lakoff 1990 – G. Lakoff. Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago; London, 1990.
- Murjazov 1994 – R.Z. Murjazov. Isogrammatische Merkmale der Wortbildungen // Deutsche Sprache. 1994. № 1.

© 2009 г. К.В. БАБАЕВ

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ЯЗЫКАХ МИРА

В работе исследуются источники происхождения личных местоимений в языках мира, проводится их типологический анализ и классификация. На основании анализа выдвигается ряд гипотез о происхождении индоевропейских личных местоимений.

Задачей данной работы является дать краткий типологический обзор источников вторичного происхождения личных местоимений, а также путей их трансформации на материале различных языков мира. В статье разрабатывается классификация таких источников и приводятся примеры использования этой классификации для уточнения этимологии личных местоимений при сравнительно-историческом анализе.

В настоящее время общепризнанным является мнение, что местоимения как морфологическую категорию нельзя считать изначальной данностью в языке. Они являются продуктом развития других лексических или морфологических единиц языка. Безусловно, это не всегда может быть показано на синхронном уровне, однако довольно отчетливо проявляется при диахроническом анализе развития морфологической системы языка.

Для того чтобы доказать, что личные местоимения возникают в результате трансформации более древних полнозначных слов, необходимо продемонстрировать и систематизировать источники их происхождения в различных языках мира. При этом мы не задаемся амбициозной целью установить первичное происхождение местоимений как класса слов в языке – это значительно более объемная задача, требующая привлечения данных не только языкознания, но и антропологии, этологии и других дисциплин. Однако следует учитывать, что в процессе развития языка из него выпадают определенные слова, на место которых приходят другие (с теми же значениями). Это происходит и с личными местоимениями, и вопрос заключается в том, что является источником их образования в уже развитом человеческом языке.

Происхождение личных местоимений – вопрос, при изучении которого необходимо привлекать данные как сравнительно-исторического языкознания, так и диахронической типологии. Синтез двух данных дисциплин позволяет классифицировать различные варианты генезиса слов, используемых как местоимения. Такого рода классификация даст возможность делать более точные, типологически обоснованные выводы о происхождении личных местоимений не только в исторически засвидетельствованных языках, но и в праязыках различных семей, что может стать существенным шагом вперед в области лингвистической реконструкции праязыков.

С точки зрения сравнительно-исторического языкознания, вопросам происхождения личных местоимений уделялось некоторое внимание еще с начала девятнадцатого века, в частности, в фундаментальных работах по индоевропейскому языкознанию Ф. Шлегеля [Schegel 1808], Ф. Боппа [Bopp 1833], А. Шлейхера [Schleicher 1861–1862]. Выдвигаемые ими мысли об истоках индоевропейской системы местоимений морфологии носили в основном эмпирический характер, не будучи обоснованными сравнительно-историческим материалом. Наиболее качественный анализ был проведен по вопросу происхождения и развития местоимений третьего лица в индоевропейских языках. Вместе с тем во многих, даже относительно современных работах по индоев-

ропейской сравнительной морфологии К. Уоткинса [Watkins 1969], О. Семереньи [Szémerenyi 1990], Р. Бекеса [Beekes 1995] происхождение личных местоимений первых двух лиц не акцентируется, последние воспринимаются как данность, существовавшая на уровне праязыка.

Привлечение данных внешнего сравнения к изучению индоевропейских языков позволило выдвинуть ряд гипотез, основанных на анализе дальнего родства индоевропейских с другими языками Старого Света. В частности, в работе Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова [Гамкрелидзе, Иванов 1984], как и в других трудах последнего [Иванов 1981], проводится исследование праязыковой системы личных местоимений, основанное в т. ч. на данных других языков, вводимых в состав ностратической макросемьи, прежде всего уральских, алтайских, афразийских. В рамках ностратической гипотезы происхождение личных местоимений в различных языках Евразии исследовали В.М. Иллич-Свитыч [Иллич-Свитыч 1971–1976], Л. Палмайтис [Палмайтис 1972], А.Б. Долгопольский [Dolgopolsky 1984], В. Блажек [Blažek 1995a], Дж. Гринберг [Greenberg 2000], А. Бомхард [Bomhard 2003] и другие авторы.

Вопросами происхождения местоимений языков других семей также занимались многие компаративисты. Среди наиболее современных работ можно назвать работы Н.А. Баскакова по тюркским языкам [Баскаков 1981], И.М. Дьяконова [Дьяконов 1967; 1991], В. Блажека [Blažek 1995a; 1995b] и В.Э. Орла [Орел 1990] по афразийским местоимениям, Дж. Кука по языкам Юго-Восточной Азии [Cooke 1968], Й. Хельмбрехта по языкам индейцев Северной Америки и Кавказа [Helmbrecht 1996a; 1996b], М. Сибатани [Shibatani 1990] и О. Исиямы [Ishiyama 2008] по японскому языку. Этими вопросами в разной степени интересуются авторы сравнительно-исторических грамматик языков мира, как, например, М.С. Андронов в области дравидологии [Андронов 1994], Г.И. Рамстедт в области алтаистики [Рамстедт 1957] и другие исследователи.

Недостатком многих работ по сравнительному языкознанию, особенно по дальнейшему сравнению языков различных макросемей, является их пренебрежение данными диахронической типологии, что легко увидеть и на примерах реконструкции праязыковых форм личных местоимений. Так, для ностратического праязыка с помощью сравнительного метода можно восстановить едва ли не десяток форм местоимения со значением «я», как это делает А. Бомхард [Bomhard 2003], при этом их конкретные значения в праязыке не уточняются, и ностратический праязык такого рода автоматически становится виртуальным, обреченным на недоверие серьезных лингвистов. В разное время высказывались самые экзотические гипотезы о происхождении индоевропейских местоимений (так, местоимение **me* 'меня' генетически связывалось с именным суффиксом **-mo-*, куда для убедительности примешивали еще и окончание индоевропейского винительного падежа **-m*). При этом ни сколько-нибудь серьезной этимологической базы, ни типологических параллелей такого рода развития в других языках мира зачастую не приводилось. Между тем Р.О. Якобсон писал в свое время о важной роли типологических данных при сравнительно-историческом анализе и праязыковой реконструкции: «Конфликт между реконструированным состоянием языка и общими законами, которые открывает типология, делает реконструкцию сомнительной... Реалистичный подход к технике реконструкции – это ретроспективный путь от одного состояния к другому и структурное соответствие каждого из этих состояний данным типологии» [Jakobson 1962: 528–529].

В то же время типологическое языкознание в этом вопросе также работает преимущественно «на себя», не проецируя выводы на сравнительно-исторические исследования. Типологией и сопоставлением местоименных систем различных языков мира в последние десятилетия активно занимаются преимущественно ученые американской школы общего и типологического языкознания. Среди наиболее выдающихся трудов в этой области можно назвать работы А. Северской [Siewierska 2004], М. Сисоу [Cysouw 2003], Б. Хайне и Т. Кутевой [Heine, Kuteva 2007], В. Шульце [Schulze 1998], а также более ранние труды П. Форхеймера [Forchheimer 1953] и Э. Бенвениста [Benveniste 1956]. Скрупулезное и детальное исследование диахронического развития личных ме-

стоимений проводит Й. Хельмбрехт в своей работе [Helmbrecht 2004]. В Советском Союзе серьезные исследования типологии происхождения и развития личных местоимений проводились лишь академиком И.И. Мещаниновым [Мещанинов 1945], К.Е. Майтинской [Майтинская 1969; 1974].

Отдельному, масштабному исследованию генезиса личных местоимений, которое охватило бы достижения как сравнительно-исторического, так и типологического языкознания, еще предстоит появиться.

Личные местоимения как грамматический класс (или часть речи) не являются лингвистической универсалией: существует множество языков, где такой части речи нет. Однако необходимо корректно разделять термины «личные показатели» и «личные местоимения»: первые присутствуют во всех языках мира и, безусловно, являются универсалией как грамматическая категория. Ранее ряд исследователей приводили изолирующие языки Юго-Восточной Азии как пример отсутствия показателей лица – прежде всего во вьет-мыонгских, тай-кадайских и ряд бирманских языков, где не только не существует глагольного спряжения по признаку лица, но и нет отдельного класса независимых личных местоимений. Однако современный взгляд на проблему [Siewierska 2004: 247] позволяет взглянуть на независимые личные показатели шире, чем контекст собственно личных местоимений. Отсутствие такой части речи, как местоимение, или такой категории глагольного словоизменения, как лицо, вовсе не означает, что категория лица отсутствует в языке в целом. Она выражается грамматическими или лексическими средствами, большинство из которых и могут впоследствии в ходе развития языка образовать грамматический класс личных местоимений.

Если коснуться вкратце вопроса о первичном происхождении личных местоимений в языке человека, то, анализируя древнейшие стадии развития человеческого языка, можно сделать вывод, что личные местоимения появляются в нем сравнительно поздно – во всяком случае, позже имен и глаголов. Известно, что дети начинают пользоваться личными местоимениями позже, чем другими классами слов (в 2,5–3 года), и для указания на лицо используют личные имена или термины родства [Хакулинен 1953: 68]. Аналогичная особенность отмечена при анализе «речи» приматов: так, человекообразные обезьяны при обучении их элементам языка не употребляют личных местоимений, даже будучи ознакомлены с ними, а стабильно используют вместо этого имена собственные – свое, собеседника или третьих лиц [Heine, Kuteva 2007: 139–140]. Использование личных имен как лексических маркеров лица, заменяющих личные местоимения, отмечается и во многих языках Африки, Австралии, Азии. В арабском языке такого рода замещение характерно в том числе для выражения первого лица: 'Абдул сделает' в значении 'я сделаю'. Таким образом, формирование личных местоимений можно отнести к относительно позднему хронологическому уровню онтогенеза человеческой речи.

В процессе развития языка личные местоимения, однако, демонстрируют поразительную устойчивость. Они входят в состав любого списка базовой лексики языка, и поэтому используются при историческом сравнении языков, праязык которых отстоит от нас более чем на десять тысяч лет. Подобная хронологическая глубина сильно затрудняет определение источника их происхождения в большинстве языков мира. Пожалуй, существует только один обширный географический ареал, где личные местоимения в языке на удивление быстро исчезают, заменяясь новообразованиями – это Восточная и Юго-Восточная Азия. К примеру, индоевропейскому местоимению **me*ne 'меня, мне' никак не меньше десяти тысячелетий, а японскому *watakushi* 'я' – всего лишь несколько веков. Именно поэтому при типологическом анализе источников происхождения личных местоимений языки этого ареала предоставляют наиболее показательный материал.

Ниже проводится анализ основных источников происхождения личных местоимений в языках мира. При этом необходимо учитывать, что в настоящей работе личные местоимения всех трех лиц рассматриваются в едином контексте, что соответствует классическому определению парадигмы личных местоимений. Известно, что суще-

ствуют фундаментальные синтаксические и семантические различия между местоимениями первых двух лиц и местоимениями третьего лица, так что последние довольно часто характеризуются как «не-лицо» [Benveniste 1971]. Однако данное утверждение верно лишь для тех языков, где личных местоимений третьего лица в парадигме просто не существует, вместо них присутствуют другие показатели лица – как, к примеру, указательные местоимения в классической латыни и многих других индоевропейских языках. Мы же в своем анализе будем основываться на языках, где личные местоимения третьего лица прочно входят в парадигму личных местоимений и четко отделены от прочих грамматических категорий.

1. Имя существительное является одним из основных и наиболее распространенных источников генезиса личных местоимений. Во множестве языков мира, среди которых, пожалуй, наиболее убедительными примерами служат языки Восточной и Юго-Восточной Азии, существительные стабильно используются в качестве показателей лица, при этом собственно класс личных местоимений формируется лишь в некоторых из них. В большинстве сино-тибетских, австроазиатских, тай-кадайских языках, а также в японском, корейском и ряде австронезийских языков личные местоимения – даже если они формируют собою четкий морфологический класс – не функционируют в составе парадигмы в том понимании, в котором она известна в индоевропейских или уральских языках. Имен существительных, обозначающих лицо, в пределах одного языка или диалекта может существовать до нескольких десятков, и синтаксически они в речи не различаются.

Градация между такими именами проходит в основном по стилям вежливости. Так, в качестве лексических показателей первого лица в языках Восточной и Юго-Восточной Азии чрезвычайно употребительны существительные с уничижительным значением. Характерны значения «слуга» (индонез. *saya* 'я' < малай. *sahaya* 'слуга', вьет. *tôi*, *tô* 'я' < 'слуга'), «раб» (ачех *ulon* 'я' < 'раб', кхмер. *khnum* 'я' < 'раб'), «послушник» (бирм. *dabedov* 'я' < 'королевский послушник') [Cooke 1968; Shibatani 1990; Helmbrecht 2004]. Эти термины, несомненно, изначально употреблялись при общении с вышестоящим собеседником, ср. русское *Ваш покорный слуга*. Однако большинство из них со временем претерпевает трансформацию и «опускается» до нейтрального или даже просторечного стиля дискурса – как, например, яп. *boku* 'я', также этимологически происходящее из лексемы со значением 'слуга, раб' [Ishiyama 2008: 197].

После того, как происходит подобная трансформация значения, в языке появляются новые имена, служащие для оформления вежливой речи, подчеркивающие более низкий статус говорящего по отношению к собеседнику. В тайском языке при обращении к монарху и членам королевской семьи использовался показатель первого лица *kraphōm* 'волос головы', обозначающий, что собеседник находится столь высоко над говорящим, что у последнего видны лишь волосы почтительно склоненной головы. В настоящее время его сокращенная форма *phōm* употребляется в нейтральной речи, в то время как для почтительного стиля вырабатываются новые показатели. Таким образом происходит довольно быстрое обновление корпуса показателей лица – в китайском языке срок существования такого рода квазимероимений составляет обычно несколько столетий [Иванов, Поливанов 2001: 42–48].

Во втором лице мы видим аналогичную ситуацию. В качестве личных показателей употребляются имена с почтительными значениями: «господин», «хозяин» (бирм. *huyin* 'ты' < 'господин, хозяин', тай. *naaj* 'ты' < 'хозяин'), «князь» (тай. *câw* 'ты' < 'князь, господин'), «император» (яп. *kimî* 'ты' < 'господин, император', бирм. *minx* 'ты' < 'король') [Cooke 1968; Shibatani 1990]. На сегодняшний день все перечисленные лексемы функционируют в языке на нейтральном уровне речи, хотя источники свидетельствуют об их более раннем использовании при обращении к вышестоящим.

Подобное типологическое явление присуще не только языкам Юго-Восточной и Восточной Азии, оно распространено в целом в языках мира. В польском языке слово *pan* 'господин' активно используется в вежливой речи в качестве показателя второго

лица. В древнеиндийском в том же значении употреблялось имя *bhavant-* 'Вы' < 'богатый, благодатный' [Майтинская 1974: 98; Mayrhofer 1996: 254].

Очень любопытно семантическое развитие значений такого рода существительных из «почтительных» в «уничижительные» и обратно. Например, в языке ачех слово *tu-wan* 'господин' получило значение местоимения 'я' в вежливой речи: очевидно, что здесь имел место переход значения '2 л. > 1 л.' [Durie 1985: 116–117]. Зеркально обратная ситуация произошла в тайском языке, где местоименное слово *fàabàad* 'Вы' при обращении к членам королевской семьи означает буквально ' подошва ноги', но говорящий с его помощью семантически характеризует не себя, а собеседника [Helmbrecht 2004: 236–237].

Во всех перечисленных примерах речь идет о создании новых квазистоимений из имен существительных для отражения почтительного отношения к собеседнику. Однако это не является единственной причиной перехода именной лексемы в разряд личных местоимений. В языках мира довольно распространено образование местоимений от существительных с нейтральными значениями.

Для всех трех наиболее распространенными такого рода значениями являются «человек» и «тело». Это хорошо видно на примерах самых различных языков. Так, в африканском языке нгити нило-сахарской семьи существительное *alɛ* 'человек' проникло в парадигму личных местоимений в качестве формы 1 л. ед. ч., а также в систему личных префиксов глагола в виде *lɛ- / l-* [Heine, Kuteva 2007: 68–69]. Бирманское *koww* 'я' имеет первое значение 'тело'. В южноамериканском языке вари (Wari) слово *wari* 'человек' обозначает также местоимение 'мы', точно так же, как в аргентинских языках гуайкуру местоимение *qomí* 'мы' образовано от *qom* 'люди' с добавлением аффикса плюральности. Этот южноамериканский шаблон мог повлиять на развитие в бразильском варианте португальского языка, где словосочетание *a gente* 'люди' все чаще употребляется в качестве референции 'мы'. Современное японское общеупотребительное *watakushi* 'я' имеет первое значение '[мое] личное' и в качестве местоимения используется не более нескольких столетий [Ishiyama 2008: 67–73].

Вместе с тем утверждения о том, что с понятиями «тела» и «человека» говорящий отождествляет прежде всего себя самого, неверны. Столь же распространенными являются и производные от лексем с этими значениями во втором и третьем лицах, ср. тай. *tua* 'ты' < 'тело', венг. *taga* 'Вы' < 'тело'. Независимые личные местоимения 2–3 лиц ненецкого языка (*пыдар* 'ты', *пыдара* 'вы', *пыда* 'он') являются по происхождению посессивными формами существительного 'тело' [Cooke 1968; Майтинская 1974: 98]. Местоимения 3 л. мексиканского языка миштек (*Yosondúa Mixtec*) представляют собой грамматикализованные лексемы: *dā* 'он' < *chaa* 'мужчина', *ñā* 'она' < *ñāhā* 'женщина' [Helmbrecht 2004: 384–385]. Образование личных местоимений любого из трех лиц от существительных 'человек' и 'тело' – одно из наиболее распространенных типологических явлений такого рода.

Процесс подобной трансформации, по-видимому, нередко проходит через стадию функционирования лексемы в качестве неопределенно-личного или рефлексивного местоимения.

В первом случае мы имеем развитие типа хрестоматийного французского местоимения *on*, происходящего из лат. *homo* 'человек'. В современном языке оно из неопределенно-личного превратилось в личное местоимение 1 л. мн. ч., все чаще заменяя в субъектных формах привычное *nous* (*on dit* 'говорят' и 'мы говорим'). Определенные следы трансформации такого же рода замечены и для немецкого неопределенно-личного аналога *man* < *Mann* 'мужчина, человек'.

Во втором случае личные местоимения (чаще всего первого лица) образуются из диахронически более раннего местоимения 'сам'. Известно, что одним из наиболее типичных источников генезиса последнего являются именно существительные 'тело' и 'человек'. Это хорошо видно на примерах из алтайских языков: тув. *подум* 'я сам' буквально означает 'мое тело'; маньч. и эвенк. *бэжэ* 'тело' имеет и значение 'сам', употребляясь с личными местоимениями для придания им возвратного оттенка [Суник

1978: 242–252]. Возможно, что цитируемые выше ненецкие местоимения типа *пыдар* ‘ты’ < ‘тело-твое’ прошли тот же путь через рефлексивное значение ‘самость-твоя’ > ‘сам-ты’ > ‘ты’, ср. русское выражение *Как сам?* в значении «как ты поживаешь?». В классическом тибетском языке местоимение *rang* означало ‘сам’, в сегодняшней разговорной речи оно имеет значение местоимения ‘я’ [Парфионович 1970: 82–83].

Между тем говорить о том, что все имена со значением ‘тело’, трансформировавшиеся позже в личные местоимения, проходили стадию неопределенно-личного или возвратного значения, не приходится.

2. Важным подтипом при классификации именного генезиса личных местоимений является их происхождение из сочетания «местоимение + имя» или «имя + местоимение».

Сращивание словосочетаний очень характерно при образовании вежливых форм личных местоимений, преимущественно второго лица. Это типологическое явление присуще многим языкам Европы, где местоимение ‘Вы’ нередко происходит из словосочетания со значением ‘ваша милость’ или ему подобных. Так, широко известным примером является испанское *Usted* ‘Вы’ < *vuestra merced* ‘Ваша милость’, но сравнительно редко в литературе можно встретить примеры кальки этого местоимения в сицилийском диалекте *vossia* ‘Вы’ < *vossignuria* или в бразильском португальском *você* ‘Вы’ < *vossa Mercê*. Еще одним классическим примером является нидерландская форма *U* ‘Вы’ < *Uwe Edelheid* или *Uwe Edele* ‘ваше благородие’ [Howe 1996]¹.

Лексические показатели лица такого рода, не дошедшие до стадии личных местоимений, имеются во множестве языков мира – стоит привести хотя бы русские *Ваша милость* или *Ваше благородие* (в значении второго лица единственного числа) и уже упомянутое выше *Ваш покорный слуга* (в значении первого лица единственного числа).

Интересно, что и формы европейских языков, приведенные выше, спрягаются с глаголом в третьем лице, не потеряв, таким образом, своей исконной связи с существительным. В румынском языке мы видим более позднюю стадию трансформации: вежливые местоимения 2 л. *dumneata* ‘Вы (ед. ч.)’ и *dumneavoastra* ‘Вы (мн. ч.)’, происходящие из словосочетания со значением ‘твое/ваше господство’, уже спрягаются с глаголом в форме второго лица.

Не только вежливые, но и вполне нейтральные формы местоимений могут появляться похожим образом из сочетаний с именами ‘другой (-ие)’, ‘остальной’, ‘все’, ‘люди’. Примеры из европейских языков включают исп. *vosotros* ‘вы’ < ‘вы [и] другие’ и нид. *jullie* ‘вы’ < *gij lieden* ‘вы ребята’. Эти местоимения были образованы всего несколько веков назад для заполнения лакун, образовавшихся в местоименной парадигме после того, как более старые местоимения со значениями 2 л. мн. ч. перешли в разряд вежливых обозначений 2 л. ед. ч. Схожий процесс происходит на наших глазах в разговорном английском языке, где созданная несколько десятилетий назад в США форма *you guys* (букв. ‘вы ребята’) употребляется сегодня и в Великобритании, и в Австралии для обозначения 2 л. мн. ч., отделяя его от вежливого *you*. Другими диалектными формами являются у’алл ‘вы’ < ‘вы все’ на юге США и *you lot* ‘вы-множество’ в Англии [Maynor 2000]. Не лишне также заметить, что в испанском языке создание местоимения *vosotros* повлекло за собой выравнивание ряда местоимений множественного числа с помощью утверждения аналогического новообразования *nosotros* ‘мы’ < ‘мы [и] другие’.

Значения ‘другой’, ‘остальные’ при образовании испанского местоимения 2 л. мн. ч. находят типологические параллели в других языках мира. Так, в тибето-бирманском

¹ Если бы не документы по истории языка, реконструкция происхождения этой формы была бы абсолютно невозможна, что лишний раз показывает, насколько трудной является задача воссоздания праязыковых форм моносиллабических личных местоимений.

языке кая-ли (Kayah Li) на западе Таиланда местоимение 2 л. мн.ч. *si* буквально означает 'и другие' [Solnit 1997: 184].

После того, как мы рассмотрели различные случаи образования личных местоимений от имен и сочетаний с именем, зададим себе очень важный вопрос: являются ли указанные нами слова именами или местоимениями, лексическими или грамматикализованными показателями лица? Ответ на него дать очень сложно, так как, к примеру, в языках Восточной и Юго-Восточной Азии очень редко функционирует система личного спряжения глагола, и потому форма глагола не согласуется с показателями лица. Отсутствие парадигмы личных местоимений не позволяет сказать, к какому грамматическому классу относятся перечисленные выше формы тайского или японского языков. По подсчетам Дж. Кука [Cooke 1968], всего в тайском языке насчитывается 27 лексических форм, используемых для выражения первого лица, и 22 формы для выражения второго лица. Все они ведут свое начало из полнозначных лексических единиц в виде имен существительных или словосочетаний с именем. У немногих лингвистов повернется язык назвать эти лексемы личными местоимениями. В результате во множестве исследований такие формы осторожно называют «лексическими показателями лица» [Siewierska 2004] или «местоименными словами» [Майтинская 1974]. Однако некоторые способы разделения собственно личных местоимений и имен существительных по характерным признакам одного или другого класса существуют.

Важным признаком местоимений играет в первую очередь отнесение лексемы к значению конкретного лица. Например, во вьетнамских грамматиках можно нередко встретить «личные местоимения» *anh* 'ты' или *em* 'я'. Между тем эти лексемы на самом деле являются терминами родства, означают соответственно 'старший брат' и 'младшая сестра' и могут употребляться в значении как первого, так и второго лица. Безусловно, при таком использовании в языке их нельзя назвать личными местоимениями. То же самое, по справедливому замечанию Й. Хельмбрехта [Helmbrecht 2004: 237] можно сказать о вьет. *minh* 'тело, сам', которое широко употребляется во всех трех лицах, хотя Дж. Кук ошибочно классифицирует его как местоимение [Cooke 1968: 112].

В языках, где имеется глагольное согласование личных местоимений, границу между именем в значении местоимения и собственно местоимением можно показать, как мы сделали это несколькими абзацами выше, на примере вежливых местоимений 2 л. испанского и румынского языков. В румынском они согласуются с глаголом во втором лице и, таким образом, стали полноценными личными местоимениями. Испанское *Usted* 'Вы' управляет глаголом в третьем лице. Кроме того, *Usted* обнаруживает свой именной характер и в том, что образует вполне типичную для существительных форму множественного числа *Ustedes* 'Вы (мн. ч.)', как и яп. *watakushi*, имеющее форму плюралиса со стандартным именным аффиксом *-tachi*.

В языках, где личные показатели продолжают сохранять черты полнозначных именных лексем, довольно часто существует противопоставление личных местоимений по роду (или полу). Эта корреляция типична для языков азиатского ареала: к примеру, бирм. *tuataq* 'я' используется исключительно женщинами и буквально означает 'рабыня'.

По сравнению с такими квазимерами вперед по шкале грамматикализации продвинулись личные местоимения, прошедшие трансформацию из первоначально полнозначных именных лексем через показатели именных классов. Это явление мы можем наблюдать в африканских и ряде американских языков – то есть в тех ареалах, где и сохранилась грамматическая категория класса имени. Известно, что показатели именных классов происходят из некогда полнозначных имен. В то же время они нередко демонстрируют анафорическое значение и в этом качестве образуют личные местоимения третьего лица: к примеру, в африканском языке занде (семья убанги нигеро-конголезской макросемьи) в третьем лице засвидетельствованы независимые местоимения *kó* 'он' < **ko* 'мужчина' (занде *ko-mba* 'мужчина'), *ni* 'они' < **ni* 'человек', *he* 'оно' < 'вещь' [Heine, Reh 1984: 224]. Многочисленные классификаторы, свойствен-

ные банту, в ряде языков этой семьи перешли в разряд личных местоимений третьего лица и употребляются фактически параллельно с ними [Helmbrecht 2004: 387–388]. Именные классификаторы используются в качестве личных местоимений и в языках майя [Siewierska 2004: 248–249]. Подобное развитие можно назвать еще одним, пусть и «окольным», путем превращения имени в личное местоимение.

3. Утверждения о том, что основным источником личных местоимений в языках мира являются местоимения указательные, весьма часто встречается в литературе (ср. [Heine, Kuteva 2007: 87]). Эту точку зрения нельзя назвать верной хотя бы в силу чрезвычайно широко распространенного именного происхождения личных местоимений, о котором мы говорили выше, однако демонстративы действительно могут являться материалом для формирования личных местоимений. Это логически объяснимо, если учитывать, что личные местоимения по своей семантике довольно тесно связаны с понятием дейксиса: говорящий отождествляет себя с понятием ‘здесь’ (ср. англ. выражение *this country* в значении ‘наша страна’), собеседник по отношению к нему находится в относительном отдалении, а третье лицо, как правило, удалено еще больше. Эта корреляция приводит к семантическому сходству противопоставления трех лиц местоимений и наиболее распространенной в языках мира трехзначной модели указательных местоимений: ‘этот’, ‘тот, вблизи’, ‘тот, далеко’. Анафорическое употребление последних ведет их к грамматикализации в виде личных местоимений третьего лица.

Употребление древних указательных местоимений для формирования местоимений третьего лица – типичная черта индоевропейских языков (что, видимо, и послужило причиной возведения этого явления едва ли не в ранг универсалии). Очевидно, что в индоевропейском праязыке, как и во многих современных языках мира, парадигма личных местоимений состояла из двух лиц, в то время как третье лицо выражалось существительными или указательными местоимениями. В баскском языке, к примеру, любое указательное местоимение может быть употреблено в значении ‘он’ или ‘она’. Маркированность третьего лица в системе личных показателей видна и в индоевропейском глаголе, где третье лицо нередко имеет нулевое окончание: это то самое «не-лицо», о котором говорилось выше. Однако на более позднем уровне развития индоевропейских языков личные местоимения третьего лица начинают появляться. Хрестоматийные примеры преобразования латинских *ille, iste* в личные местоимения 3 л. различных романских языков хорошо известны. Немецкое *er* и английское *he*, конечно, также происходит из индоевропейского указательного **is* ‘этот’ [Lehmann 1995: 39], а старославянское *онъ* имеет первое значение ‘тот, вдалеке; оный’. Эти и другие примеры, являющиеся отчасти, безусловно, следствием ареальных контактов индоевропейских языков между собой, заставляли ряд неограмматиков сравнивать все индоевропейские личные местоимения с дейктическими маркерами: греч. *εμός* ‘мой’ с др.-инд. *amañ* ‘этот, здешний’, а общеиндоевропейское **te* ‘тебя’ с основой указательного местоимения **to-* ‘этот, тот’ [Brugmann, Delbrück 1916: 306–307; Савченко 1960: 12–13]. В индоевропеистике хорошо известна гипотеза об общем происхождении номинативного местоимения первого лица ед. ч. **eg’hōm/*egō* из дейктической частицы **ghe/o* с личным глагольным окончанием. Все эти гипотезы, скорее всего, неверны.

Вместе с тем, безусловно, вне индоевропейской семьи данный механизм – использование дейктических маркеров для формирования местоимений третьего лица – имеет широчайшие параллели в языках мира. Древнеегипетское дейктическое *rw* ‘этот’ использовалось также в качестве общего местоимения 3 л. ‘он, она, оно, они’. Семитские местоимения 3 лица прослеживают очевидное происхождение из указательных частиц [Гранде 1972: 203]. В лезгинском языке местоимение *am* ‘он, она, оно’ является по происхождению демонстративом *a* ‘тот’, снабженным маркером абсолютива [Heine, Kuteva 2007: 88].

Случаи трансформации указательных местоимений в личные для второго лица встречаются значительно реже – хотя, тем не менее, встречаются. Можно назвать ин-

донезийскую форму *di-situ* 'ты' < 'тот' (в другом австронезийском языке – муна – *ihintu* 'ты'), сингальское местоимение *ouā* 'ты' < 'тот', тай. *nii* 'ты (жен.)' < 'этот'.

И уж совсем уникальными можно назвать случаи перехода демонстративов в местоимения первого лица. Многие тюркологи сравнивали турецкие личные местоимения с тремя степенями градации демонстративов: *ben*, *sen*, *o* и *bu*, *şu*, *o*, соответственно. Н.А. Баскаков выводит первые из форм родительного падежа последних: **bul* 'этот, у меня' > **bu-nu* 'этого, это нечто' > **ben* 'я' [Баскаков 1981: 62–63]. Однако, хотя материальное сходство между парадигмами личных и указательных местоимений очевидно, влияние могло идти и в другую сторону: ср. схожую ситуацию в мальдивском (дивехи) и сингальском языках, где ближайшие указательные местоимения имеют формы *mī*, *mē* 'этот' – возможно, созданные по аналогии с личными местоимениями и соседней формы дивехи *tī* 'тот' [Cain, Gair 2000].

Аналогическим воздействием объясняется и удивительное превращение итальянского наречия *ci* 'здесь' в объектную форму местоимения 1 л. мн. ч. 'нас, нам'. Этот переход объясняется наличием в языке двух омофоничных слов *vi* 'там' из лат. *ibi* и *vi* 'вас' из лат. *vos*. В сознании говорящего эти лексемы были отождествлены, и поэтому *ci* 'здесь' (из лат. *esse hic* 'вот это') по аналогии вытеснило исконное личное местоимение (которое, исходя из лат. *pos*, по идее, должно было звучать **ni*).

Вместе с тем нередко личные местоимения первого лица генерируются если не из чистых дейктических маркеров, то из имени, снабженного демонстративом. Это явление подробно описано для армянского языка, где указательные аффиксальные местоимения *-s*, *d*, *-n* семантически весьма близки личным показателем и, к примеру, слово *ter-s* 'этот господин' употребляется в значении местоимения 'я' [Brugmann 1904: 43]. Наиболее широко засвидетельствованными источниками образования личных местоимений по такой схеме являются сочетания типа 'этот человек', 'эта сторона' для первого лица (яп. *kono ho*, *kochira* 'я' < 'эта сторона'), 'тот человек' и 'та сторона' для 2–3 лица (яп. *sono ho*, *sochira*, *anata* 'ты, Вы', ачех *gor-nyan* 'он' < 'тот другой человек', авукая *gUlá* 'он' < 'тот человек') [Бюлер 2000: 125; Siewierska 2004: 248].

Это явление можно увязать с уже описанными выше переходами именных лексем и сочетаний с ними в категорию личных местоимений.

4. Личные местоимения часто кристаллизуются в языке путем грамматикализации старых финитных глагольных форм. Это явление связано с постоянным диахроническим процессом обновления системы личного маркирования: композитные конструкции, состоящие из глагола и личного аффикса, заменяют собой независимые личные местоимения. Как правило, в качестве глагольной основы в таких композитах выступают спрягаемые формы вспомогательного глагола 'быть' («copula verb» в западной литературе), оформленного старым показателем лица.

Семантическое значение таких новообразований первоначально схоже со значением главного предложения в сложноподчиненной конструкции типа 'это [есмы] я, который...'. Впоследствии данная фраза сращивается в форму со значением независимого личного местоимения, а глагол придаточного предложения начинает играть роль основного сказуемого в предложении. В западноафриканском языке бокобару (семья манде ниегро-конголезской макросемьи) независимые эмфатические личные местоимения состоят из личного префикса и сращенного с ним бывшего вспомогательного глагола:

1 л. ед.ч.	<i>ma-mbé</i>	1 л. мн. ч.	<i>wá-mbé</i>
2 л. ед.ч.	<i>o-mbé</i>	2 л. мн. ч.	<i>á-mbé</i>
3 л. ед.ч.	<i>à-mbé</i>	3 л. мн. ч.	<i>áâá-mbé</i> [Jones 1998: 141]

Подобное явление свойственно также многим языкам афразийской семьи. В частности, известны парадигмы личных местоимений нескольких омотских языков, построенных таким образом [Bender 2000] (хотя в каждом случае используется различный вспомогательный глагол, что не позволяет реконструировать данное явление на праомотском уровне).

Другой пример относится к области исторического языкознания. Независимые местоимения прямого падежа афразийских языков возводятся к единым праформам (напр., аккад. *'an-āku* 'я', *'an-tī* 'ты' и пр., др.-егип. *in-k* 'я', ташельхит *nki, nək* 'я') [Дьяконов 1967: 222–225]. Так как в суффиксальных местоимениях засвидетельствованы формы типа семитского **-āku* в значении первого лица (аккад. *gašr-āku* 'я сильный'), установлено, что общеафразийское независимое местоимение 1 л. ед. ч. **ʔn-āku* состоит из двух частей: собственно местоименной основы и препозитивной частицы **ʔan-*. Частица эта присутствует при местоимениях почти во всех группах афразийских языков, выступая в виде *'an-* в семитских, *n-* в берберских, *in-* в древнеегипетском, *'an-* / *'a-* в кушитских и, возможно, также (*'a)n-* в чадских языках [Blažek 1995b]. В.Э. Орел [Орел 1990: 54] убедительно доказал, что она является основой субстантивного глагола, который сохранился в афразийских языках и в своем прямом значении 'быть' [Гранде 1972: 234–235]. Можно сделать вывод, что независимое местоимение в афразийских языках происходит из старой глагольной словоформы, где личные суффиксы присоединяются к основе т. н. *verbum substantivum*.

Аналогичные явления зафиксированы в ряде языков Америки, в айнском языке [Siewierska 2004: 257–259]. Возможно, к тому же типу приближается современный ирландский язык, ср. предложения типа *táim a foghlaim* 'я учу', букв. 'я-есть в обучении'.

Одним из наиболее известных (и в высшей степени дискуссионных) исторических примеров, который мог бы генетически соответствовать указанным случаям, является уже упомянутое выше индоевропейское личное местоимение первого лица ед. ч. в им. п. **eg'hom / eg'ō*. Затемненность его происхождения позволила выдвинуть, в частности, гипотезу о том, что по структуре данное местоимение является древней глагольной формой, образованной при помощи нормальных личных окончаний 1 л. – соответственно, атематического **-m* и тематического **-ō*, различных по диалектам. Впрочем, эта гипотеза для индоевропейского местоимения не может быть подтверждена, пока не определено синтаксическое значение смыслового глагола данной формы, который в индоевропейских языках нигде более не засвидетельствован. Но изолированность образованной таким методом формы только 1 л. ед. ч. не является уникальной: в некоторых омотских языках от вспомогательного глагола образованы формы только 1 л. ед. ч., остальные формы парадигмы имеют иное происхождение [Bender 2000: 77].

Хотя мы говорим о независимых личных местоимениях, можно добавить, что спрягаемые глагольные формы часто являются источником и связанных показателей лица. Типичный пример такого рода – польский язык, где спрягаемая глагольная форма перфекта происходит из древнего сочетания причастия на **-l-* с личной формой вспомогательного глагола 'быть'. Сращивание этих двух изначально обособленных синтаксических элементов в конструкцию типа *padłeśm* 'я упал' – один из многочисленных примеров аналогичного развития старых аналитических видо-временных форм во флексивные личные конструкции в новых индоевропейских языках как Европы, так и Азии.

5. Наконец, необходимо отметить большое количество засвидетельствованных случаев, когда источниками возникновения личных местоимений становятся другие личные местоимения.

Наиболее типичным случаем здесь, конечно, является т. н. *majestic 'we'*, использование местоимения 1 л. мн. ч. в значении единственного числа в речи царствующих особ: «Мы, Екатерина, Божьей милостью императрица...». Практика такого перехода широко распространилась на рубеже Средних веков и Нового времени по Европе. Другой общеевропейской инновацией, распространившейся в последние столетия едва ли не по всему миру, является замена в вежливой речи старого местоимения 2 л. ед. ч. на местоимение 2 л. мн. ч., т.е. использование 'Вы' со значением 'ты' (знаменитая формула *T–V*, происходящая изначально, по-видимому, из французского языка). При этом для различения 'вы' и 'Вы' нередко создаются новые формы 2 л. мн. ч.

Вежливые формы создаются не только из старых местоимений 2 л. мн. ч. Их источниками могут быть и формы 3 л. ед. ч. (нем. *er* 'Вы' < 'он' в языке XVII–XIX веков), и 3 л. мн. ч. (в современных датском, итальянском, хинди, тагальском языках), и даже 1 л. мн. ч. (в айнском языке и языке науатль) [Helmbrecht 2004: 357–360].

Существуют и примеры такого рода из нейтрально окрашенной речи. Так, в разговорном турецком языке местоимение *biz* 'мы' иногда используется в значении 1 л. ед. ч., что приводит к образованию инновации *bizler* 'мы' с обычным аффиксом плюральности [Helmbrecht 2004: 254].

Парадигма личных местоимений – единый механизм, в рамках которого нередко диахронические процессы аналогического воздействия – как по «вертикали», т.е. по формам разных лиц, так и по «горизонтали», т.е. по формам разных чисел тех же лиц. Нередки случаи и взаимодействия форм разных падежей. В результате такого воздействия происходит выравнивание системы, и старые местоимения вытесняются либо своими «соседями» по парадигме, либо новообразованиями, созданными по образу и подобию этих «соседей».

В индоевропейских языках этот процесс виден довольно часто. В латинском языке форма косвенных падежей *vōs* 'вас' вытеснила форму прямого падежа по аналогии с *nōs* 'мы' [Тронский 2001: 197]. В среднеперсидском языке личное местоимение номинатива *az* (< др.-перс. *adam* 'я') было вытеснено косвенной формой *man* (< др.-перс. *mana* 'меня') в целях парадигматической унификации [Серебренников 1970: 242], и аналогичный процесс выравнивания происходит во множестве языков семьи, от кельтских до индоарийских. Типологическая параллель обнаруживается и в языках алтайской семьи, где, к примеру, почти все тюркские языки демонстрируют личное местоимение 1 л. ед. ч. *ben / men*, и лишь чувашская форма *erĕ* позволяет установить, что исконное значение формы **hen* – косвенный падеж. Существуют и примеры обратного процесса – когда прямая форма местоимения вытесняет косвенные.

6. В литературе описаны некоторые другие, менее распространенные и, по-видимому, единичные случаи происхождения личных местоимений от иных лексических единиц. Й. Хельмбрехт описывает пример образования местоимения 3 л. в чадском языке гидер из глагола 'сказать' [Helmbrecht 2004: 390]. Впрочем, форма этого местоимения *na* перекликается с многими другими языками, как чадскими, так и другими афразийскими, что не дает возможности четко постулировать ее происхождение.

Еще одним интересным случаем является генезис местоимения из эвиденциального маркера: в литературе описаны случаи из тибетского языка и родственного ему невари. В этих языках действует категория эвиденциальности, проводящая четкое различие между говорящим (*locutor*) и остальными участниками речевого акта. Аффикс, определяющий говорящего, близок по синтаксическому употреблению в значении местоимения первого лица. Схожие конструкции находят в южноамериканских языках ава-пит и туюка [Siewierska 2004: 260–261].

Однако эти и другие случаи (иногда и перфективный маркер может непостижимым, казалось бы, образом стать личным показателем) можно назвать маргинальными – они заслуживают упоминания, но либо еще недостаточно исследованы, либо не являются сколько-нибудь распространенными в известных языках планеты.

7. Генетическое происхождение личных местоимений из других лексем данного языка не является универсальным. Необходимо рассмотреть вопрос о заимствовании как одном из нелексических способов появления в языке новых личных местоимений.

Мнения лингвистов по этому вопросу широко расходятся. Часто высказывается точка зрения, что личные показатели вообще (и местоимения в частности) почти никогда не заимствуются [Nichols, Peterson 1996]. По мнению К.Е. Майтинской, местоименные слова (т.е. местоимения и их производные) образуют как бы музей языка: они почти не заимствуются и сохраняют в своем составе следы древних звуковых изменений, исчезнувших падежных и словообразующих формантов, способов редупли-

кации и словосложения [Майтинская 1964: 3]. Эта точка зрения делает личные местоимения одним из столпов сравнительного анализа.

Более современная позиция основана на ряде фактов несомненного заимствования личных местоимений – более того, чем глубже исследуются языки мира, тем больше таких фактов обнаруживается, что служит для противников теорий дальнего родства солидным аргументом при отрицании генетической связи между личными местоимениями, например, различных ностратических языков [Campbell, Poser 2008]. В каждом случае, впрочем, заимствование личных местоимений имеет свое объяснение, и системным это явление назвать в любом случае не получается.

Основной корпус такого рода данных может быть почерпнут из языков, заимствующих отдельные личные местоимения из близкородственных идиомов. Так, английский язык воспринял в древнеанглийскую эпоху скандинавское местоимение 3 л. мн. ч. *they*, дравидийский язык колами – местоимение 2 л. ед. ч. *niv* из древнего телугу (ставшее позже в колами и связанным маркером 2 л. ед. ч.). Никарагуанский язык мискито (семья мисумальпа) заимствовал местоимения 1 л. *yaŋ* и 2 л. *taŋ* из северного суму, соседнего языка той же семьи [Siewierska 2004: 274]. Существует множество примеров заимствования отдельных местоимений из соседних языков Африки, Латинской Америки, Новой Гвинеи.

Заимствования из языков, принадлежащих другим семьям, в языках мира крайне редки – можно сказать, единичны. Тем не менее такие примеры тоже приводятся исследователями. Так, микронезийский язык чаморро использует местоимение 1 л. ед. ч. *yo*, заимствованное, как полагают, из испанского [Topping 1973: 107]. Малайский диалект острова Амбон использует местоимение 2 л. ед. ч. *ose*, имеющего португальское происхождение. Интересное явление зафиксировано в тайском языке: здесь в качестве личных местоимений в просторечном языке используются англицизмы *ʔaj* ‘я’, *juu* ‘ты’ и китаизмы *ʔiá* ‘я’ и *lúy* ‘ты’ [Cooke 1968: 11–12].

Для объяснения этих и подобных примеров нужно, впрочем, отметить два факта: во-первых, нередко заимствованные формы используются исключительно в определенном социалингвистическом контексте (напр., тайские китаизмы – в беседе с торговцами и официантами каитайского происхождения), во-вторых, ареал Юго-Восточной Азии, как уже говорилось выше, уникален тем, что здешние языки используют до пятидесяти личных местоимений и обновляют их с поразительной скоростью, в результате чего эта категория является абсолютно открытой для новообразований, в т.ч. и заимствований. Вьетнамские заимствования из французского *toa* и *toa* [Cooke 1968: 114] объясняются аналогично.

Социалингвистическую подоплеку, видимо, имеют примеры заимствования местоимений в языках Новой Гвинеи. Так, в трех территориально смежных, но не близкородственных папуасских языках иатмул, камбот и мияк местоимение *win* означает соответственно ‘я’, ‘ты’ и ‘он/она’; в то же время в иатмул находим *puin* ‘ты (женщина)’, в камбот *ni* ‘я’ [Lausock, Z’Graggen 1975: 732, 737]. Такое положение вряд ли можно объяснить иначе как именно заимствование, основанное на принципе социалингвистической аккомодации к речи собеседника.

Другие примеры такого рода могут иметь в качестве первопричины пиджинизацию языка. Приведенный выше пример языка чаморро, ставший хрестоматийным как образец заимствованного местоимения ‘я’, активно используется в литературе, но следует помнить, что народ чаморро, проживающий на острове Гуам, был практически полностью истреблен испанцами в XVII–XVIII веках, нынешние чаморро – это метисы от браков островитян с испанскими колонистами, и их язык использует в основном испанскую лексику. Известно этрусское местоимение *mi* ‘я’, возможно, заимствованное из латыни в тот период, когда распад этрусского языка был уже свершившимся фактом, и население использовало подобие этрусско-латинского пиджина. Типологически именно пиджин заимствует из языка-лексификатора личные местоимения в форме косвенного падежа в значении именительного: ср. ток-писин *mi* ‘я’ < англ. *me* ‘меня’, кяхтинское (русско-китайское) *моя* ‘я’. Папуасские формы местоимений, за-

имствованные из соседних австронезийских языков [Vooghoeve 1982], могут относиться к примерам такого же рода, учитывая, что австронезийские языки Папуа нередко используются в качестве межплеменного койне [Леонтьев 1974].

Является ли установление фактов заимствования личных местоимений препятствием для их особой роли при сравнительно-историческом анализе? Очевидно, что нет. Случаи такого заимствования явно носят единичный характер, нередко объясняются уникальными социолингвистическими обстоятельствами и ни в коем случае не могут быть названы типичными. Мы можем назвать десятки – быть может, сотни – случаев заимствования именных и глагольных лексем из стословного списка Сводеша, при всего лишь пяти-десяти случаях восприятия языком заимствованных личных местоимений. Более того, если одиночные местоимения еще могут подвергаться замене заимствованиями, примеров заимствования, даже частичного, местоименной парадигмы в целом в языках мира не засвидетельствовано. Именно поэтому, например, присутствие в индоевропейских, уральских, алтайских языках модели **mV – *tV* для местоимений первых двух лиц является одним из обоснований гипотезы генетического родства между ностратическими языками.

Подводя итог проведенному анализу, мы попытаемся суммировать наиболее распространенные источники происхождения личных местоимений в языках мира в таблице 1.

Таблица 1

источник	лицо	примеры исходных значений	примеры языков
имя существительное	1 л.	<i>сам, человек, тело (> сам), люди, раб, слуга</i>	японский, кхмерский, вьетнамский, французский, вари, нгити
	2 л.	<i>человек, тело, люди, господин, хозяин, остальной</i>	польский, тайский, бирманский, японский
	3 л.	<i>человек, вещь, остальной, и другие</i>	занде, миштек
имя + личное местоимение	1–3 л.	<i>тело мое (1 л.) Ваша милость (2 л. ед. ч.) вы все, вы люди, вы-другие (2 л. мн. ч.)</i>	испанский, румынский, японский, английский, ненецкий
имя + указательное местоимение	1–3 л.	<i>этот господин (1 л.), его благородие (3 л.)</i>	армянский, японский
указательное местоимение	3 л.	<i>этот, тот</i>	индонезийский, сингальский, итальянский
глагольная связка + личное местоимение	1–3 л.	<i>это [есть] я, который... (1 л.)</i>	афразийские, айнский
другое личное местоимение	1–2 л.	<i>мы > я вы > ты он, она, они > Вы</i>	немецкий, турецкий, хинди, тагальский
заимствование из другого языка	1–3 л.		чаморро, английский, ятмул, тайский, вьетнамский

Такой анализ важен не только для понимания типологических закономерностей в языках мира. Гораздо важнее его роль при сравнительно-историческом языкознании, где местоимения традиционно служат одним из краеугольных камней морфологиче-

ского сравнения. Языков, где мы можем легко отследить происхождение личных местоимений, не так уж много: в большинстве своем это те языки, где обновление корпуса личных показателей происходит в пределах нескольких столетий (это прежде всего уже упоминавшиеся языки Юго-Восточной и Восточной Азии). В таких языках, как индоевропейские, где личные местоимения существуют в практически неизменном виде в течение тысячелетий, их происхождение сильно затемнено, и его исследование требует скрупулезного анализа. Типология в данном случае может подсказать, «где искать» возможные источники происхождения личных местоимений.

В качестве примера возьмем основное индоевропейское личное местоимение 1 л. ед. ч. (косвенную форму) **me*. Исследователи дальнего родства языков сравнивают ее с другими схожими формами языков ностратической макросемьи: алтайскими **bi*, **mäñ*, картвельским **men*, уральским **mV*. Реконструируемая ностратическая праформа может иметь вид **mV*, где гласный сложно поддается восстановлению [Бабаев 2008: 93–113]. В то же время для ностратического праязыка также восстанавливается лексема *mVn-* ‘человек, мужчина’ (ср. и.-е. **manu-* ‘человек’, финно-угор. **mañćV* ‘мужчина, человек’, дравид. **man* ‘мужчина, муж’, афраз. *mVn-* ‘мужчина’) [ND 2008: 1422; Иллич-Свитыч 1971–1976: 21; Rédei 1988: 866–867]. Версия о выведении личного местоимения из имени со значением ‘мужчина’ соответствует типологическому шаблону, широко применяемому в самых различных языках мира. Следовательно, данная связь по крайней мере заслуживает тщательной проработки с помощью сравнительно-исторического метода.

Происхождение других индоевропейских местоимений – **tū* / **t(w)e* ‘ты’, **wei-* / **wes* ‘мы’, **nos* ‘нас’, **uī-* ‘вы’ – также сильно затемнено. На внутреннем индоевропейском материале происхождение большинства из них не может найти объяснения просто потому, что образовались они еще на доиндоевропейском уровне, в ностратическом праязыке или даже ранее. Их исследование, таким образом должно включать анализ и других семей языков, относимых к ностратической макросемье. Индоевропейским новообразованием, по-видимому, является из них лишь **wei-* / **wes*, которое вполне надежно может быть возведено к числительному «два». Это объяснение базируется на следующем.

В индоевропейских языках не зафиксировано ни одного личного местоимения единственного числа, восходящего к показателю на **w-*. Весь материал относится к формам двойственного (с основой **wē-*) и множественного (с основами **wei-* / **wes*) числа, что дает объективную возможность реконструировать значение первого лица не-единственного числа для этого индоевропейского корня.

Индоарийская форма личного местоимения номинатива двойственного числа *vām* < **wēt* ‘мы двое’ дополняется формой множественного числа др.-инд. *vayam* < **weiom*. В косвенных падежах используется основа от показателя **ne* / *o*. Глагольные окончания др.-инд. дв. ч. *-vas* (первич.) и *-va* (вторич.), *-vahi* / *-vahe* (средний залог) свидетельствуют о праформе **we-*. Этим данным соответствуют древнеиранское (авестийское) местоимение дв. ч. в им. п. *āvat*, мн. ч. авест. *vaēt*, др.-перс. *vayam*, а также глагольные аффиксы авест. дв. ч. *-vahi* (первич.), *-va* (вторич.).

В германских и балтийских языках форма двойственного числа личного местоимения образована слиянием основы **we-* с числительным **dwo* (гот. *wit*, лит. жемайт. *vedu*) и является новообразованием. В глагольной системе балтийских языков *-va* является маркером 1 л. дв. ч.

Во множественном числе германские языки показывают **weis* в номинативе (но не в других падежах). Наряду с индоиранскими эта форма – единственная, позволяющая реконструировать индоевропейскую основу **wei-* наряду с **we-*.

В славянских языках существует форма номинатива местоимения ст.-слав. дв. ч. *vě* < **wē* (косвенные падежи образованы от **ne* / *o*), а также глагольное окончание дв. ч. *-vě*. Во множественном числе употребляются показатели **tu* (в номинативе) и *na-* < **no-* (в косвенных падежах).

В хеттском языке основным местоимением 1 л. мн. ч. является *wes* (иероглифическое лувийское *waza*? [Meriggi 1980: 317]), в косвенной основе находим рефлекс показателя **ne/o*. В качестве родственной формы в системе глагола можно назвать хеттское окончание 1 л. мн. ч. *-weni*, палайское *-wani*. Его интересно сравнить с формами двойственного числа других индоевропейских языков, особенно с учетом широко цитируемой хеттской глоссы *šaku-wa* 'глаза', в которой видят отголоски (или зачатки?) двойственного числа в анатолийских языках. При наличии параллельного *-men(i)* в системе глагола окончания *-wen*, *-weni* могут свидетельствовать о следах дуалиса в хеттском [Иванов 1981: 17–18].

В тохарских языках **wo-* формирует формы независимых местоимений двойственного (в тохарском В) и множественного числа. В двойственном числе мы видим тох. В *wene* с аффиксом дв. ч. *-ne*, в тохарском А *wi* или *we*, т.е. просто числительное «два» в роли местоимения дв. ч. Во множественном числе оба языка возводят свои формы к **wes*. В тохарском глаголе также засвидетельствовано окончание 1 л. ед. ч. претерита *-wā*, которое Д. Адамс реконструирует на пратохарском уровне как перфектный аффикс **-wā* [Adams 1988: 57], хотя более правильной фонетической реконструкцией было бы **-wā* (С.А. Бурлак, устное сообщение).

В связи с тохарским материалом необходимо отметить, что с личным местоимением **we-* можно сравнить ряд глагольных форм первого лица различных индоевропейских языков на **-u-* / **-w-*. Речь, в частности, идет об анатолийских формах настоящего времени типа лувийского 1 л. ед. ч. настоящего времени *-wi*, в ликийском *-u/-v*. Эти формы уже довольно давно сравнивали с тохарским претеритным окончанием 1 л. ед. ч. *-wā*, которое, в свою очередь, может быть генетически родственным латинскому перфектному окончанию 1 л. ед. ч. *ui* / *-vi*, др.-инд. перфекту 1 л. ед. ч. *-u* и албанскому аористу на *-va* [Иванов 1981: 48], а также литовским формам прошедшего времени на *-au*.

Однако именно сравнение этих окончаний не позволяет выделить в них показатель первого лица **we-* по причине того, что **-w-* явственно проявляется и в других лицах: в латинском окончания перфекта содержат *-v-* во всей парадигме, а в древнеиндийском перфектная форма типа *raprāu* 'наполнил' означает и первое, и третье лицо. Кроме того, в перечисленных примерах (кроме лувийского) **-w-* явно тяготеет к не-презентным видо-временным конструкциям.

Лувийская форма может рассматриваться как контаминация **-u-* и показателя актуальности **-i* (он присутствует во всей парадигме), где первый может быть выведен из индоевропейского **-ō*. Это окончание в данном контексте сравнивается с хетт. претеритным *-un*, ликийским и лидийским *-u* / *-v* [Семереньи 1980: 262–263].

В этой связи представляется более обоснованным опираться на другие гипотезы о происхождении глагольного **-w-* / **-u* в не-презентных формах. В. Краузе полагал, что сонант **-u-* мог образоваться чисто фонетически перед перфектным показателем **H*, в качестве модели мог выступать глагол **bhū-*: лат. *fuī* < **fuvai*. Под влиянием таких форм возникает перфект латинских каузативов типа *monui*, *doui* [Krause 1955].

Г. Шмидт, отрицая фонетическую гипотезу происхождения **-u-*, считает этот элемент маркером «не-презентности» и сравнивает его с указательным местоимением, к которому восходят скр. *asau* 'тот', слав. *ovъ* [Schmidt 1984]. Этой точки зрения придерживается и К.Г. Красухин [Красухин 2004: 110–111]. Вероятнее всего, глагольное **-u* / **-w-* с местоименным показателем лица связано не было.

Итак, систематизируя вышесказанное, мы получаем следующую таблицу соответствий:

языки	форма местоимения	форма глагольного аффикса
анатолийские	хетт. мн. ч. <i>wes</i>	мн. ч. <i>*-wen(i)</i>
индоарийские	дв. ч. <i>*(e)wēm</i> , мн. ч. <i>*weṛom</i>	дв. ч. <i>*-we(s)</i>
иранские	дв. ч. <i>*e-wem</i> , мн. ч. <i>*weṛom</i>	дв. ч. <i>*-we-</i>
германские	гот. дв. ч. <i>wit</i> < <i>*we-dwo</i> , мн. ч. <i>*weis</i>	
балтийские	лит. дв. ч. (жемайт.) <i>vedu</i> < <i>*we-dwo</i>	лит. дв. ч. <i>-va</i>
славянские	ст.-слав. дв. ч. <i>vě</i> < <i>*wē</i>	ст.-слав. дв. ч. <i>-vě</i>
тохарские	дв. ч. <i>*we-</i> , мн. ч. <i>*wes</i>	мн. ч. перфекта <i>*-wā</i> ?

То есть индоевропейский личный показатель **we-* обнаруживается в местоимениях и глагольных формах:

- а) только двойственного числа в славянских и балтийских;
- б) только множественного числа в анатолийских (при отсутствии дуалиса в языке в целом);
- в) в обоих этих числах в индоарийских, иранских, германских и тохарских.

Таким образом, единственным языком, где *we-* не засвидетельствовано в двойственном числе, является хеттский, где этого числа не существовало вовсе. Так как существует множество языков, где **we-* функционирует в дуалисе и плюралисе, или же только в дуалисе, но нет ни одного, где он был бы только в плюралисе, можно считать доказанным, что первоначальным значением основы было именно значение двойственности, позже перенесенное на множественное число. И возражение о том, что морфологическое двойственное число, как полагают, развилось в индоевропейском только после выделения анатолийских диалектов, здесь не играет роли: значение двойственности может выражаться в языке синтаксически, причем очень тривиально: с помощью числительного «два».

Противопоставление показателей 1 л. во множественном и двойственном числах номинатива **me*, **ne/o* и **we-* по-разному объясняется в современных исследованиях. Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванов [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 254] считают **we-* инклюзивной основой – отсюда сдвиг на значение двойственного числа, – при этом **ne/o-* рассматривается как эксклюзив. Однако ни то, ни другое значение в индоевропейском языке не может быть реконструировано по причине тотального отсутствия категории инклюзивности/эксклюзивности в индоевропейских языках. К тому же в этом случае игнорируется местоимение множественного числа от показателя **me*, что, конечно, недопустимо, так как оно тоже имеет индоевропейское происхождение. А включение его в парадигму сделало бы ее абсолютно несистемной, так как значение третьего местоимения ‘мы’ объяснить довольно сложно.

Обычно считается, что индоевропейское местоимение **wes* могло быть стандартной формой номинатива множественного числа, вытесненного в ряде языков (напр., итальянских и тохарских) косвенной основой **ne/o*, а в ряде других (балтийском, славянском и армянском) – основой ед. ч. **me* с частицей плюральности **-s*.

Однако более логично было бы вслед за О. Семереньи [Семереньи 1980: 232–234] придать **we-* «вторичный и неместоименный характер», справедливо указав на одну важную его особенность: эта лексема существует и во втором лице двойственного и множественного числа: местоимение 2 л. мн. ч. **we-/wo-* ‘вы’ восстанавливается для индоевропейского праязыка. Нам, таким образом, приходится иметь дело с корнем местоимений, выражающих значения и первого, и второго лица, причем общим значением при этом является значение не-единственного числа.

Если мы будем искать лексические источники происхождения индоевропейского местоимения двойственного числа, то логичнее всего предположить, что изначальное значение этого показателя парности в индоевропейском – числительное «два», употреблявшееся в качестве синтаксического маркера еще до создания в праязыке морфологического маркирования категории дуалиса. Позже числительное распространилось на формы множественного числа с расширением плюральными частицами **-i-* и **-s*.

Подобная типологическая модель – употребление числительного «два» для обозначения двойственного числа с его последующей грамматикализацией в качестве личного местоимения – имеет типологические параллели в языках мира. Так, в североамериканских языках группы миуок в качестве личного местоимения дв. ч. закрепилось старое числительное **?oti-* ‘два’: ср. бodega-миуок *?óc.i* ‘мы двое’, юж. сьерра-миуок *?oti.me-* ‘мы двое’, где *-me* является аффиксом 1 л. мн. ч., присоединенным для различения формы дв. ч. от другого местоимения *?oti.c.i-* ‘я, ты и он’ [Callaghan 1974: 385–386].

Переход местоимения дв. ч. в сферу множественного числа с добавлением плюрального аффикса – также распространенное типологическое явление. В нганасанском языке местоимения мн. ч. системно образуются от местоимений дв. ч. с помощью добавления суффикса *-ŋ* (*mi* ‘мы двое’ – *miŋ* ‘мы’ и т.д.). Аналогичный пример засвидетельствован в южноамериканском языке дамана (семья чибча): *nabi* ‘мы двое’ – *nabi-nyina* ‘мы’; *tabi* ‘вы двое’ – *tabi-nyina* ‘вы’ и т.д. Эти и другие примеры приводит М. Сисоу [Cysouw 2003: 195–199].

Помимо типологической, для подобной гипотезы существует надежная фонологическая база. В.М. Иллич-Свитыч [Иллич-Свитыч 1976: 54], поддержавший точку зрения о происхождении индоевропейского **we-* из форм дуалиса, ориентируется на более ранние доводы А. Кюни в пользу рассмотрения **we-* как морфемы со значением «два» [Cuny 1924].

Ряд рефлексов этого числительного в индоевропейском показывают, что в праязыке существовал не только надежно реконструируемый корень **dwō* [Pokorny 1959: 228–232], но и его алломорф с анлаутным **w-*. Можно сравнить лат. *vīginti* ‘двадцать’, греч. эол. *ἑῖκοσι*, арм. *k`san*, ирл. *fiche*, тох. А *wiki* < **wi-dkmti* [Тронский 2001; Бурлак 2000: 257], галл. этнонимы *Vo-corii* и *Vo-contii* (ср. *Tri-corii*), тох. А *wu*, *we*, В *wi* ‘два’, др.-инд. *u-bhau* ‘оба’, а также, возможно, др.-инд. *vi-* ‘раздельно, надвое’ [Walde, Hoffmann 1938: 789]. Эти данные никак нельзя назвать диалектными – они относятся ко всей индоевропейской общности и позволяют реконструировать несколько вариантов анлаута в лексеме «два» на праязыковом уровне.

На основании значительного фонетического расхождения между различными рефлексами начального согласного индоевропейского числительного «два» Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванов делают попытку реконструировать специфическую праязыковую фонему – «глоттализированную дентальную с признаками лабиализации» [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 133]. Впрочем, других надежных лексем, подтверждающих существование этой фонемы, авторы не представляют. В другом своем исследовании Вяч.Вс. Иванов склонен постулировать фонетический переход **dw- > *w-* [Иванов 1981: 20], сравнивая глагольное окончание дв.-мн. ч. на **-w-* с падежным окончанием им. п. дв. ч. имени в лексемах типа др.-инд. *pādaui* ‘обе ноги’, и.-е. **ok'tō-u* ‘восемь’. Сходство данного именного показателя дуалиса с рассмотренными выше местоименными и глагольными формами заставляет предположить их генетическое родство между собой и общее происхождение.

Приведенные данные еще раз подтверждают гипотезу: в индоевропейском существовал аллофон лексемы **dwe-* / **dwo-* с анлаутным **w-* и значением «два, двое», значение которой позже трансформировалось в «мы двое», «вы двое».

Гипотеза об индоевропейском новообразовании личного местоимения **we-* косвенно подтверждается и тем, что его внешние связи в ностратических языках не прослеживаются.

Реконструируемое А.Б. Долгопольским ностратическое личное местоимение **wVyV* ‘мы’ [ND 2008: 2555], из которого автор выводит индоевропейские формы, не

находит надежных параллелей в других языках семьи. В качестве его рефлексов привлекаются данные афразийских южно-омотских языков, для которых вряд ли возможно предположить надежную праафразийскую реконструкцию (древнеегипетскую форму зависимого местоимения 1 л. ед. ч. *wu* сам же А.Б. Долгопольский помечает как более чем сомнительную с точки зрения происхождения). Указывается также на *w-* в картвельской форме личного и притяжательного местоимения 1 л. мн. ч. **čwen-*, происхождение анлаутного *č-* в которой до сих пор вызывает серьезные разногласия. При анализе родственных сванских форм *gu-šgwej* и *ni-šgwej* с префиксами 1 л. мн. ч. инклюзива/эксклюзива становится понятно, что форма **čwen-* была нейтральна по отношению к этой категории [Климов 1964: 219–220]. Конечно, южно-омотских и индоевропейских данных, мягко говоря, недостаточно для реконструкции общеностратической морфемы.

Другие исследователи ностратических языков не склонны постулировать для ностратического праязыка существования местоименного корня на **w-*.

Представляется, что индоевропейский личный показатель **we-* является не ностратическим наследием, а индоевропейской инновацией и скорее всего восходит к числительному «два», применявшемуся в индо-хеттский период в качестве синтаксического маркера двойственности местоимений (затем и множественности), а в собственно индоевропейский период послужившему основой нового показателя дв. ч. в имени, местоимении и глаголе, распространившегося позже на формы множественного числа. По замечанию И.М. Тронского, «двойственное число индоевропейских языков... в известной мере тяготеет к множественному; в корневой оппозиции супплетивных личных местоимений корню единственного противостоит общий корень двойственного и множественного» (цит. по [Иванов 1981: 20]).

По-видимому, могут быть найдены изначальные полноточные лексемы, послужившие источниками происхождения и других индоевропейских и ностратических личных местоимений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Андронов 1994 – М.С. Андронов. Сравнительная грамматика дравидийских языков. М., 1994.
 Бабаев 2008 – К.В. Бабаев. Происхождение индоевропейских показателей лица. Исторический анализ и данные внешнего сравнения. М., 2008.
 Баскаков 1981 – Н.А. Баскаков. Алтайская семья языков и ее изучение. М., 1981.
 Бурлак 2000 – С.А. Бурлак. Историческая фонетика тохарских языков. М., 2000.
 Бюлер 2000 – К. Бюлер. Теория языка. Репрезентативная функция языка. М., 2000.
 Гамкрелидзе, Иванов 1984 – Т.В. Гамкрелидзе, Вяч.Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. 1–3. М., 1984.
 Гранде 1998 – Б.М. Гранде. Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1998.
 Дьяконов 1967 – И.М. Дьяконов. Языки древней Передней Азии. М., 1967.
 Дьяконов 1991 – И.М. Дьяконов. Афразийские языки. Кн. I. Семитские языки. М., 1991.
 Иванов, Поливанов 2001 – А.И. Иванов, Е.Д. Поливанов. Грамматика современного китайского языка. М., 2001.
 Иванов 1981 – Вяч.Вс. Иванов. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол: индоевропейские истоки. М., 1981.
 Иллич-Свитыч 1971–1976 – В.М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков. Т. 1–2. М., 1971–1976.
 Климов 1964 – Г.А. Климов. Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.
 Красухин 2004 – К.Г. Красухин. Аспекты индоевропейской реконструкции. М., 2004.
 Леонтьев 1974 – А.А. Леонтьев. Папуасские языки. М., 1974.
 Майтинская 1964 – К.Е. Майтинская. Местоимения в мордовских и марийских языках. М., 1964.
 Майтинская 1969 – К.Е. Майтинская. Местоимения в языках разных систем. М., 1969.
 Майтинская 1974 – К.Е. Майтинская. Местоимения и универсалии // Универсалии и типологические исследования. М., 1974.
 Мещанинов 1945 – И.И. Мещанинов. Члены предложения и части речи. М., 1945.

- Орел 1990 – В.Э. Орел. К происхождению личных местоимений в семито-хамитском // Сравнительно-историческое языкознание на современном этапе. Конференция памяти В.М. Иллич-Свитыча. М., 1990.
- Палмайтис 1972 – Л. Палмайтис. Личные местоимения в связи с вопросом реконструкции бо-реальной грамматической системы // Материалы Конференции по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. М., 1972.
- Парфионович 1970 – Ю. Парфионович. Тибетский письменный язык. М., 1970.
- Рамстедт 1957 – Г.И. Рамстедт. Введение в алтайское языкознание. М., 1957.
- Савченко 1960 – А.Н. Савченко. Проблема происхождения личных окончаний глагола в индоевропейском языке. Ростов-на-Дону, 1960.
- Семереньи 1980 – О. Семереньи. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
- Серебреников 1970 – Б.А. Серебреников (ред.). Общее языкознание: формы существования, функции, история языка. М., 1970.
- Суник 1978 – О. Суник. Местоимения 'сам', 'свой' и их морфологические дериваты в алтайских языках // Очерки сравнительной морфологии алтайских языков. М., 1978.
- Тронский 2001 – И.М. Тронский. Историческая грамматика латинского языка. Общеиндоевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции). М., 2001.
- Хакулинен 1953 – Л. Хакулинен. Развитие и структура финского языка. Ч. 1. М., 1953.
- Adams 1988 – D. Adams. Tocharian historical phonology and morphology. New Haven, 1988.
- Beekes 1995 – R. Beekes. Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Amsterdam; Philadelphia, 1995.
- Bender 2000 – L.M. Bender. Comparative morphology of the Omotic languages. Munich, 2000.
- Benveniste 1956 – E. Benveniste. La nature des pronoms // M. Halle, H.G. Lunt (eds.). For Roman Jakobson. Hague, 1956.
- Benveniste 1971 – E. Benveniste. Problems in general linguistics. Miami, 1971.
- Blažek 1995a – V. Blažek. Indo-European personal pronouns (1-st and 2-nd persons) // Dhumbadji! Journal for the history of language. 2–3. 1995.
- Blažek 1995b – V. Blažek. The microsystems of personal pronouns in Chadic, Compared with Afroasiatic // D. Ibriszymow, R. Leager (eds.). Chadica et Hamito-Semitica. Köln, 1995.
- Bomhard 2003 – A. Bomhard. Reconstructing Proto-Nostratic. Charleston, 2003.
- Bopp 1833 – F. Bopp. Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Gotischen und Deutschen. Berlin, 1833.
- Brugmann 1904 – K. Brugmann. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Heidelberg, 1904.
- Brugmann, Delbrück 1916 – K. Brugmann, B. Delbrück. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Heidelberg, 1916.
- Cain, Gair 2000 – B. Cain, J. Gair. Dhivehi (Maldivian) // Languages of the World. Munich, 2000.
- Callaghan 1974 – C.A. Callaghan. Increase in morphological complexity // Proceedings of the 11-th International congress of linguistics. Bologna, 1974.
- Campbell, Poser 2008 – L. Campbell, W. Poser. Language classification. History and method. Cambridge, 2008.
- Cooke 1968 – J.R. Cooke. Pronominal reference in Thai, Burmese and Vietnamese // University of California publications in linguistics. 52. 1968.
- Cuny 1924 – A. Cuny. Études prégrammaticales sur le domaine des langues indo-européennes et chamito-sémitiques. Paris, 1924.
- Cysouw 2003 – M. Cysouw. The paradigmatic structure of person marking. Oxford, 2003.
- Dolgopolsky 1984 – A. Dolgopolsky. On personal pronouns in the Nostratic languages // Linguistica et philologica. Gedenkschrift für B. Collinder / Hrsg. von O. Geschwantier et al. Vienna, 1984.
- Durie 1985 – M. Durie. A grammar of Acehnese. Cinnaminson, 1985.
- Forcheimer 1953 – P. Forcheimer. The category of person. Berlin, 1953.
- Greenberg 2000 – J. Greenberg. Indo-European and its closest relatives: The Eurasiatic language family. V. 1: Grammar. Stanford, 2000.
- Heine, Kuteva 2007 – B. Heine, T. Kuteva. The genesis of grammar. A reconstruction. Oxford, 2007.
- Heine, Reh 1984 – B. Heine, M. Reh. Grammaticalization and reanalysis in African languages. Hamburg, 1984.
- Helmbrecht 1996a – J. Helmbrecht. On the grammaticalization of 1-st and 2-nd person pronominal affixes in North American Indian languages // Proceedings of the Berkeley linguistic society. 22. Berkeley, 1996.

- Helmbrecht 1996b – *J. Helmbrecht*. The syntax of personal agreement in East Caucasian languages // *Sprachtypologie und Universalienforschung*. 2. 1996.
- Helmbrecht 2004 – *J. Helmbrecht*. Personal pronouns – form, function and grammaticalization. Erfurt, 2004.
- Howe 1996 – *S. Howe*. The personal pronouns in the Germanic languages: A study of personal pronoun morphology and change in the Germanic languages from the first records to the present day. London, 1996.
- Ishiyama 2008 – *O. Ishiyama*. Diachronic perspectives on personal pronouns in Japanese. Diss. State University of New York, Buffalo, 2008.
- Jacobson 1962 – *R. Jakobson*. Selected writings. V. 1. The Hague, 1962.
- Jones 1998 – *R. Jones*. The Boko/Busa language cluster. Munich, 1998.
- Krause 1955 – *W. Krause*. Zur Entstehung des lateinischen -ui und -vi Perfekts // *Corolla linguistica*. Wiesbaden, 1955.
- Laycock, Z'Graggen 1975 – *D.C. Laycock, J. Z'Graggen*. The Sepik-Ramu phylum // *S.A. Wurm* (ed.). Papuan languages and the New Guinea linguistic scene. Pacific Linguistics. Series C. № 38. Canberra, 1975.
- Lehmann 1995 – *C. Lehmann*. Thoughts on grammaticalization: a programmatic sketch. Munich, 1995.
- Maynor 2000 – *N. Maynor*. Battle of the pronouns: Y'all versus you-guys // *American speech* 75. № 4. 2000.
- Mayrhofer 1996 – *M. Mayrhofer*. Etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. II. Heidelberg, 1996.
- Meriggi 1980 – *S. Meriggi*. Schizzo grammaticale dell'anatolico // *Memorie, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*. Ser. 8. V. 24, fasc. 3. Roma, 1980.
- ND 2008 – *A. Dolgopolsky*. Nostratic dictionary. Cambridge, 2008.
- Nichols, Peterson 1996 – *J. Nichols, D.A. Peterson*. The Amerindian personal pronouns // *Language*. 1996. 72. № 2.
- Pokorny 1959 – *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
- Rédei 1988 – *K. Rédei* (ed.) Uralisches etymologisches Wörterbuch. Wiesbaden, 1988.
- Schlegel 1808 – *K.W.F. Schlegel*. Über die Sprache und Weisheit der Indier. Köln, 1808.
- Schleicher 1861–1862 – *A. Schleicher*. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Weimar, 1861–1862.
- Schmidt 1984 – *G. Schmidt*. Lat. *amavi, amasti* und ihre indogermanische Grundlagen // *Glotta*. Bd. 63. 1984.
- Schulze 1998 – *W. Schulze*. Person, Klasse, Kongruenz. München, 1998.
- Shibatani 1990 – *M. Shibatani*. The languages of Japan. Cambridge, 1990.
- Siewierska 2004 – *A. Siewierska*. Person. Cambridge, 2004.
- Solnit 1997 – *D.B. Solnit*. Eastern Kayah Li: Grammar, texts, glossary. Honolulu, 1997.
- Szémerenyi 1990 – *O. Szémerenyi*. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1990.
- Topping 1973 – *D.M. Topping*. Chamorro reference grammar. Honolulu, 1973.
- Voorhoeve 1982 – *C.L. Voorhoeve*. The West Makian language, North Moluccas, Indonesia: a field report // *C.L. Voorhoeve* (ed.). The Makian languages and their neighbours. Pacific Linguistics, D-46. Canberra, 1982.
- Walde, Hoffmann 1938 – *A. Walde, J.B. Hoffmann*. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1938.
- Watkins 1969 – *C. Watkins*. Indogermanische Grammatik. Bd. III: Formenlehre. Heidelberg, 1969.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

T. Stolz, S. Kettler, C. Stroh, A. Urdze. Split possession. An areal-linguistic study of the alienability correlation and related phenomena in the languages of Europe. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2008. (Studies in language companion series. V. 101.) x + 646 p.

Изучение европейских языков в типологической перспективе – направление, популярное в западной лингвистике приблизительно с начала 1990-х годов. Достаточно вспомнить известный проект «Евротип» (Eurotyp), в котором участвовали представители разных стран и в рамках которого вышел ряд сборников, посвященных типологическому освещению европейского ареала. К этому же направлению относится обсуждаемая ниже монография Т. Штольца, С. Кеттлер, К. Штро и А. Урдзе «Расщепленная посессивность», объектом исследования в которой стало выражение посессивности в языках Европы. Однако работа Штольца и его соавторов выросла из самостоятельного проекта и выглядит новаторской даже на фоне детальных описаний посессивных конструкций в проекте «Евротип», предпринятых М. Копчевской-Тамм (см., например [Kortjevskaja-Tamm 2003]). Это касается как методологии (широкое использование корпусов текстов), так и предмета поисков авторов: монография выросла из попытки проследить для европейских языков следы противопоставления, на первый взгляд, достаточно экзотического, – оппозиции между отторжимой и неотторжимой принадлежностью.

Под расщепленной посессивностью в книге понимается наличие в языке нескольких однотипных посессивных конструкций. При этом не имеются в виду противопоставления, ощущаемые авторами (отчасти под влиянием работы [Heine 1997]) как универсальные, тривиальные и не связанные с собственно семантикой посессивных конструкций – оппозиции между приименными и предикатными посессивными конструкциями (*машинка Дани* vs. *У Дани есть машинка*), между так называемыми HAVE-конструкциями и BELONG-конструкциями (*У Дани есть машинка* vs. *Эта*

машинка – Данина) и между приименными конструкциями с местоименным посессором и «генитивными конструкциями» с неместоименным посессором (*твоя машинка* vs. *машинка Дани*). Очевидно, что даже если не брать в расчет перечисленные противопоставления, расщепленная посессивность все равно широко распространена в Европе. Задача труда Штольца и его соавторов состояла в том, чтобы проанализировать принципы, отвечающие за выбор той или иной конструкции в условиях расщепленной посессивности, для одних языков подробнее, для других – более кратко.

Монография состоит из трех частей. В трех главах первой части излагаются теоретические взгляды авторов на семантику посессивности и типологию средств ее выражения, а также поясняется методология исследования. Вторая часть состоит всего из двух глав, но при этом занимает 420 страниц и, безусловно, образует ядро монографии. Здесь обсуждаются данные, которые легли в основу исследования: сначала авторы скрупулезно рассматривают системы посессивных конструкций в мальтийском языке, в северогерманских языках (преимущественно на материале исландского) и в кельтских языках, после этого в меньших деталях обсуждается расщепленная посессивность в ряде других европейских языков. Наконец, последняя часть включает единственную главу, формулирующую результаты исследования.

Посессивность для авторов монографии – это категория семантическая, а не грамматическая (аналогичная точка зрения, вообще говоря, неочевидная, высказывалась и в ряде отечественных работ, касающихся посессивности; ср. [Иванов (ред.) 1989; Чинчлей 1990; Бондарко (ред.) 1996]). Из этого следует, в частности, что разные типы посессивных конструкций, перечисленные выше, объединяет

именно семантика, пусть даже – и это Штольц и его соавторы вполне допускают – основанная на прототипе и допускающая отклонения от него (глава 2). Поскольку авторы исходят из семантики, в сферу рассмотрения в книге входят все конструкции, способные, по мнению авторов, выражать посессивные отношения – и не только перечисленные выше, но и так называемые *о р н а т и в ы* (конструкции вида *голубоглазый мальчуган*, выражающие посессивные отношения внутри именной группы с посессором в качестве главного слова) и *к о н ф е т и в ы* (конструкции вида *следователи ходили с воспаленными глазами*, аналогичные орнативам, но не предполагающие непосредственных синтаксических отношений между посессором и объектом обладания). Здесь, кстати, исследование смыкается с предыдущей монографией, опубликованной группой Штольца [Stolz et al. 2006] и посвященной типологии комитативных конструкций, поскольку там орнативы и конфетивы тоже рассматривались.

Теоретически при противопоставлении разных посессивных конструкций могут быть релевантны (i) тип объекта обладания, (ii) тип отношения и (iii) тип посессора. В монографии внимание в первую очередь уделяется только первым двум из этих факторов (которые, к тому же, не всегда различимы, поскольку лексическая семантика объекта обладания может определять и тип отношения). Что же касается типа посессора, то контраст конструкций по данному параметру представляется авторами периферийным: еще в начале монографии обнаруживается несколько неожиданное утверждение, что при исследовании посессивности обычно перебираются признаки объекта обладания, в то время как признаки посессора остаются неизменными (с. 25).

Как уже говорилось, в первую очередь авторов интересует противопоставление между неотторжимой и отторжимой принадлежностью, хорошо описанное для многих языков Австралии, Океании, Африки (см. в первую очередь [Chappell, McGregor (eds.) 1996]), но на материале европейских языков обсуждавшееся не очень активно (но см. уже хотя бы [Журинская 1979] для русского). Состав категорий отторжимой и неотторжимой принадлежности в монографии понимается традиционно: к неотторжимой принадлежности относятся в первую очередь обозначения частей тела и термины родства. Штольц и его соавторы и этой категории приписывают семантическую мотивацию (с. 29–31), полемизируя тем самым с работами Дж. Николс [Nichols 1988; 1992], настаивающими на том, что семантическая мотивация формального противопостав-

ления по (не)отторжимости в лучшем случае вторична. В силу постулируемой семантической основы контраста по отторжимости для авторов не так важно то, в какой конструкции выражается особый статус неотторжимых объектов обладания по отношению к отторжимым (заметим, что Николс в своих работах рассматривала только приименные посессивные конструкции). Так, например, в фарерском языке предикатные посессивные конструкции выделяют в отдельную категорию термины родства, в то время как приименные посессивные конструкции противопоставляют всем прочим объектам обладания термины родства и обозначения частей тела. Как подчеркивают авторы, «эта система более или менее гомогенна в том, что в каждой области синтаксиса выделяется по меньшей мере один класс неотторжимых объектов обладания» (с. 481).

Хотя оппозиция по отторжимости / неотторжимости и находится постоянно в фокусе исследования, она не является единственным противопоставлением, значимым для выбора той или иной посессивной конструкции. Во-первых, авторы не могли обойти вниманием известное противопоставление, основанное на постоянности / временности выражаемого отношения. Во-вторых, для приименных конструкций в книге выделяется целый класс факторов, которые не воспринимаются авторами как собственно семантические (в качестве критерия семантической в данном случае выступает, по-видимому, независимость фактора от контекста). Речь идет об определенности / неопределенности (или референтности / нереферентности) объекта обладания, о синтаксической сложности именной группы, прежде всего, о наличии у объекта обладания собственных определений, и о «прагматических» факторах, в частности, о фокусном выделении одного из участников конструкции. В-третьих, авторы с удивлением констатируют, что во многих европейских языках на выбор конструкции оказывает влияние и тип посессора (с. 405).

Для выявления факторов, влияющих на выбор той или иной конструкции, группа Штольца проделала огромную работу, проанализировав тексты на множестве европейских языков. И здесь следует заметить, что «Расщепленная посессивность» – это в какой-то мере корпусное исследование: для сравнения языков здесь нередко используются так называемые «параллельные корпуса», т.е. переводы одних и тех же произведений на разные языки. В данном случае авторы использовали серию романов Дж. Роулинг о Гарри Поттере и сказку А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», выбор которых, конечно, в

значительной степени обусловлен тем, что они переведены на подавляющее большинство европейских языков.

Во многом использование корпусов текстов обусловлено тем, что выводимые в книге закономерности не всегда являются жесткими. Соответственно, именно корпуса текстов позволяют авторам показать, что выбор конструкции может быть мотивирован не только ее непосредственными участниками, но и контекстом. Это становится особенно очевидно в тех (вовсе не редких) случаях, когда авторы обнаруживают единичные примеры, казалось бы, противоречащие их выводам, но обращение к контексту дает ключ к решению проблемы. Кроме того, в большинстве исследованных в монографии систем, по-видимому, не существует жестких формальных правил, определяющих дистрибуцию той или иной конструкции, – и поэтому для того, чтобы понять, что влияет на выбор говорящего, в книге нередко используются статистические подсчеты, тоже требующие немалой работы с текстами. Думается, что именно ориентация на корпуса текстов дала авторам возможность сделать ряд тонких обобщений, хотя, конечно, в какой-то степени и создала для них новые проблемы (например, некоторые наблюдаемые в корпусах типы распределения авторы пытаются объяснить действием «прагматических факторов», в то время как вычисление таких факторов на основе ограниченного текста не всегда выглядит убедительно). Следует сказать, что в типологически ориентированных работах Копчевской-Тамм по европейским применимым посессивным конструкциям корпусный аспект если и присутствовал, то оставался на втором плане. В этом отношении ее исследования и «Расщепленная посессивность» выгодно дополняют друг друга.

Крайне любопытная сторона работы связана с исследованием ареального распределения конструкций. Хотя его подробное обсуждение не входило в намерения авторов, книга включает множество карт ареального распределения тех или иных типов выражения посессивности – таких как, например, способы оформления орнативов и конфетивов. При этом оказывается, что их географическое распределение, с одной стороны, не всегда соответствует границам между генетическими общностями, а с другой стороны, никоим образом не является случайным.

Из сказанного не следует, что «Расщепленная посессивность» дает полностью исчерпывающее описание посессивных конструкций в языках Европы. Сама ориентация на письменные языки и тем более на конкретные тексты, естественно, в значительной степени

обедняет материал. Дело не только в том, что многие явления не проникают в литературный язык (да и не все языки имеют литературный вариант). Метод исследования параллельных корпусов имеет очевидные социолингвистические недостатки: странно было бы ожидать, например, что книги вроде романов о Гарри Поттере будут переведены на языки малых народов в условиях доминирования другого языка. Другими словами, предметом исследования в монографии оказывается, скорее всего, язык нормы (и язык большинства), что, как можно предполагать, искажает общую картину.

Именно этим ограничением, вероятно, и объясняется то, что в книге вообще не упоминаются европейские идиомы, обладающие как раз несомненной грамматической категорией неотторжимости, например, адыгейский язык и бесленеевский диалект кабардино-черкесского языка. В оправдание авторов, правда, можно сказать, что они и не претендовали на охват всех европейских языков и – в отличие от многих типологов – более ориентировались на качество материала, чем на количество исследованных языков. И действительно, та степень погружения в материал, которая наблюдается в «Расщепленной посессивности» редка даже для работ, охватывающих сравнимое количество языков, не говоря уже о типологических исследованиях, использующих более крупные выборки.

В целом, факты, приводимые в работе, представляют огромный интерес, но интерпретация их иногда выглядит несколько упрощенной. Прежде всего, это касается понимания авторами категории неотторжимой принадлежности. В монографии справедливо демонстрируется, что обозначения частей тела и термины родства нередко оказываются по разную сторону от границы, пролегающей между конструкциями отторжимой и неотторжимой принадлежности. Это, разумеется, могло бы объясняться и тем, что неотторжимость на деле – признак градуируемый, так что имена могут быть более или менее неотторжимыми и граница между конструкциями может варьировать. Вместе с тем материал некоторых неевропейских языков позволяет предположить, что обозначения частей тела и термины родства попросту могут тяготеть к разным «неотторжимым» конструкциям (такая картина наблюдается, например, в австралийском языке нунггубую [Heath 1984]). В этой перспективе разное поведение «эталонных» неотторжимой принадлежности может быть даже естественным.

Несколько смущает также исходное отношение авторов к противопоставлениям, связанным с типом посессора, как к вторичным.

Думается, что маргинальность места, которое отводится этим оппозициям в монографии, определяется исключительно видением авторов монографии. Ведь и противопоставление местоименных и неместоименных приименных посессивных конструкций, очевидно определяемое типом посессора, возможно, не является настолько базовым, как это изображается в работе. Взять хотя бы распределение между падежной и согласовательной конструкциями в русском языке, где падежная стратегия маркирования данных конструкций, типичная скорее для неместоименных посессоров, затрагивает и местоимения (ср. *его отец*), а согласовательная стратегия, преобладающая у местоимений, весьма активна и в зоне одушевленных имен (ср. *Машин отец*) – и таким образом, формальная граница между двумя конструкциями лишь отчасти связана с частью речи посессора. Более того, тип посессора вообще является одним из наиболее частотных факторов, влияющих на выбор посессивной конструкции и устройство именных групп; см., например, большинство статей в [Kim et al. (eds.) 2004]. Правда, тип посессора наименее влияет на выражаемое в конструкции отношение: зачастую (хотя и не всегда) речь идет лишь о его референтности или существенности в описываемой ситуации. Возможно, для подхода Штольца и исследователей его группы подобная привязанность к контексту как раз свидетельствует о вторичности этого фактора.

Это, впрочем, поднимает вопрос как раз о роли чисто семантических факторов в выборе посессивных конструкций. Как уже говорилось, авторы выделяют целый ряд факторов, которые, по-видимому, не осознаются ими в качестве базовых: фактически, определенность, сложность именной группы и фокус на определенных частях конструкции выглядят в их исследовании как «помехи» для изучения дистрибуции разных конструкций, иногда перевешивающие исходные факторы (с. 326). Между тем, такое противопоставление собственно семантической мотивации и прочих факторов не стоит понимать слишком строго. Известно, что и определенность, и наличие определений, и даже коммуникативная значимость отдельных участников коррелирует с ограничением на отношения, выражаемые в посессивной конструкции (см., например [Lichtenberk 2005; Lander 2004], а также [Dahl, Koptjevskaja-Tamm 2001] специально для терминов родства), так что и их нельзя рассматривать как «шум».

Поиски адекватного типологического и теоретического подхода к посессивным конструкциям фактически еще только начинаются, причем не только в функционалистском

лагере, к которому принадлежат авторы монографии. Как кажется, этой работе не помешали бы упоминания и анализ формальных работ вроде исследования К. Баркера [Barker 1995], впервые – насколько нам известно – противопоставившего «саксонский генитив» и «норманский генитив» в английском языке по возможности выражения ими отношений, заданных не лексически, или ставшей уже для многих классической статьи [Vergnaud, Zubizarreta 1992], демонстрирующей связь особого поведения французских терминов родства с семантикой их употребления. Несмотря на это, можно надеяться, что работа группы Штольца будет учитываться не только при обсуждении мальтийского, исландского и нескольких кельтских языков, в изучении которых она оставила особый вклад, не только в продолжающихся дискуссиях, посвященных месту европейских языков в общемировом контексте, но и в обобщающих исследованиях, авторы которых будут продолжать попытки понять, как устроены и функционируют посессивные конструкции в языках мира в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бондарко (ред.) 1996 – *А.В. Бондарко* (ред.). Теория функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб., 1996.
- Иванов (ред.) 1989 – *Вяч.Вс. Иванов* (ред.). Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., 1989.
- Журинская 1979 – *М.А. Журинская*. О выражении значения неотторжимости в русском языке // *В.Н. Ярцева* (ред.). Семантическое и формальное варьирование. М., 1979.
- Чинчлей 1990 – *К.Г. Чинчлей*. Типология категории посессивности. Кишинев, 1990.
- Barker 1995 – *C. Barker*. Possessive descriptions. Stanford, 1995.
- Chappell, McGregor (eds.) 1996 – *H. Chappell, W. McGregor* (eds.). The grammar of inalienability. A typological perspective on body part terms and the part-whole relations. Berlin, 1996.
- Dahl, Koptjevskaja-Tamm 2001 – *Ö. Dahl, M. Koptjevskaja-Tamm*. Kinship in grammar // *I. Baron et al.* (eds.). Dimensions of possession. Amsterdam, 2001.
- Heath 1984 – *J. Heath*. Functional grammar of Nunggubuyu. Canberra, 1984.
- Heine 1997 – *B. Heine*. Possession. Cognitive sources, forces, and grammaticalization. Cambridge, 1997.
- Kim et al. (eds.) 2004 – *J. Kim, Yu.A. Lander, B.H. Partee* (eds.). Possessives and beyond: semantics and syntax. Amherst (MA), 2004.

Koptjevskaja-Tamm 2003 – *M. Koptjevskaja-Tamm*. Possessive noun phrases in the languages of Europe // Plank (ed.). Noun phrase structure in the languages of Europe. Berlin, 2003.

Lander 2004 – *Yu.A. Lander*. Dealing with relevant possessors // J. Kim, Yu.A. Lander, B.H. Partee (eds.). Possessives and beyond: semantics and syntax. Amherst (MA), 2004.

Lichtenberk 2005 – *F. Lichtenberk*. Inalienability and possessum individuation // Z. Frajzyngier et al. (eds.). Linguistic diversity and language theories. Amsterdam, 2005.

Nichols 1988 – *J. Nichols*. On alienable and inalienable possession // W. Shipley (ed.). In honor of Mary Haas: From the Haas festival confer-

ence on native American linguistics. Berlin, 1988.

Nichols J. 1992 – *J. Nichols*. Linguistic diversity in space and time. Chicago, 1992.

Stolz et al. 2006 – *T. Stolz, C. Stroh, A. Urdze*. On comitatives and related categories. A typological study with special focus on the languages of Europe. Berlin, 2006.

Vergnaud, Zubizarreta 1992 – *J.-R. Vergnaud, M.L. Zubizarreta*. The definite determiner and the inalienable constructions in French and English // *Linguistic inquiry*. 23(4). 1992.

Ю.А. Ландер

Н.Л. Сухачев. Перспектива истории в индоевропеистике: К проблеме «индоевропейских древностей». М.: URSS, 2007. 232 с.

В 1994 г. в издательстве «Петербургское Востоковедение» скромным тиражом вышла книга языковеда-романиста Н.Л. Сухачева, озаглавленная: «Перспектива истории в индоевропеистике: К проблеме “индоевропейских древностей”». В 2007 г. вышло второе, исправленное и дополненное (впрочем, немного) издание этой книги в московском издательстве URSS, специализирующемся на издании научной и учебной литературы, особенно по лингвистике. С этим переизданием книга становится явлением в научной литературе и уже не может пройти мимо внимания исследователей.

Для серьезного языковеда рассматриваемая книга представляется странной, чтобы не сказать больше. Дело даже не в том, что в последовательности глав трудно уловить единую линию и единую мысль. Только сначала как будто бы улавливается хронологическая последовательность развития («Философия и компаративистика», «Фольклористический этап “лингвистической палеонтологии”», «От “антропологии” к археологии»), а затем историческая последовательность «тает» («Родословное древо или теория волн», «Индоевропейский и “древнеевропейский”»), потом снова появляется («Культурно-историческая реконструкция на новом этапе») и снова «тает» («Словарь и культура», «Глоттогенез как проблема истории», «Индоевропейцы в “доистории”»). Автор и сам поясняет, что главы «относительно самостоятельны», что он предпочел метод «монтажа», «сохраняющий грубые швы предварительной разметки и раскройки материала» (с. 16).

Я оставляю в стороне также тот факт, что все иллюстрации лишены ссылок на источники. Более странно другое. Книга построена на

обзоре научной литературы, причем не по первоисточникам, а по обзорам же – из вторых и третьих рук, что автор откровенно декларирует и защищает (с. 14). При таком подходе просчеты просто неизбежны. Так, в книге неоднократно упоминается известный венский археолог и глава школы В. Копперс (*W. Koppers*), повсюду превращенный автором в Коopers’a (так и в списке литературы, и в указателе); виднейший английский археолог Стюарт Пиготт стал офранцузенным С. Пигго (в указателе тоже); испанец Босх-Жимпера (*Bosch-Gimpera*) упоминается как Бош-Гимпера (это частая ошибка, но уж романист не допустил бы этой ошибки, если бы пользовался первоисточниками).

Вопиющие пробелы есть и в содержании. Малоазийская гипотеза происхождения индоевропейцев обсуждается только в связи с великолепной книгой Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова, которые действительно первыми серьезно обосновали эту гипотезу, но все же в мире эта гипотеза больше связывается с книгой англичанина К. Ренфру «Язык и археология», переведенной на множество языков. Именно Ренфру увязал распространение индоевропейцев с неолитизацией Европы. А в книге Сухачева он упоминается мельком по частному поводу.

М. Гимбутас возродила степную гипотезу происхождения индоевропейцев, которую до нее проводил из археологов Г. Чайлд, перевернувший концепцию Г. Косинны: тот выводил «индогерманцев» из Северной Европы во все стороны, в том числе и в восточноевропейские степи, а Чайлд повернул эти миграции вспять – из степей в Северную Европу. За ним то же сделала М. Гимбутас. А в книге Сухачева неоднократно сказано, что Гимбутас

«перевернула» концепцию Чайлда (с. 168–173). Что опять из Северной Европы в степи? Но она же далека от этого!

Н.Л. Сухачев спутал две концепции Чайлда: о диффузии неолитического хозяйства (да и бронзового века) из Переднего Востока в Европу и о миграциях индоевропейцев из степей. Но первую Чайлд не связывал с индоевропейцами. Это Ренфру увязал. Первым же из археологов выступил против Косинны со степной прародиной индоевропейцев его ученик Э. Вале. У Э. Вале (не упоминаемого в книге Н.Л. Сухачева), по-видимому, заимствовал эту идею Чайлд (вряд ли он не читал работы Вале) и наверняка заимствовала Гимбутас, которая стажировалась у Вале в Гейдельберге. Гимбутас придала этой идее феминистскую окраску (патриархальные степняки-индоевропейцы сокрушили матриархальную доиндоевропейскую цивилизацию Европы) и археологическую вульгаризацию (объединив дюжину археологических культур степей в одну «курганную культуру»). Благодаря этой вульгаризации гипотеза Гимбутас стала необыкновенно популярной среди не-археологов и археологов, не специализирующихся по Восточной Европе.

Почему же Н.Л. Сухачев избрал столь рискованный способ обращения с материалом? Дело в том, что он подает свою цель как «историографическую» (с. 15): «меня интересуют чаще всего не так авторские идеи в их первоизданном виде, не искаженном повторными пересказами и научным преданием, как само это “предание”, сам факт восприятия и функционирования соответствующих идей в филологической среде» (с. 14). И дальше: «Я не собираюсь ни оспаривать, ни подкреплять какие-либо из существующих гипотез “узкой прародины”» (с. 15).

Простите, явный камуфляж. Именно это автор и вознамерился сделать. Все гипотезы узкой прародины критикуются и отвергаются, кроме одной, малоазийской, которая подкрепляется всем ходом рассуждений и отстаиванию которой специально посвящена последняя глава: «В заключительной главе сделана попытка согласовать гипотезу об “азиатской прародине” индоевропейцев с выявленными к настоящему времени процессами становления древних цивилизаций Европы и Азии» (с. 16).

Вся суть в методе отстаивания, в методе решения проблемы происхождения индоевропейцев, в методе реконструкции. Видимо, издателей привлек в этой книге именно тот скепсис, с которым автор относится к существующим методам реконструкции прошлого индоевропейской семьи языков. С точки зре-

ния автора, нет продвижения ни в лингвистике, ни в археологии. Более того, его и нечего ждать.

Лингвисты выявляют звуковые законы, стараются анализировать изоглоссы, устанавливать связи между языками, реконструировать праязыки, на основе лексического материала определить территории и социум праязыков, стало быть, в общих чертах эпоху. Но во всем этом огромна доза неопределенности, знаний катастрофически не хватает, и солидные лингвисты на одних и тех же основаниях строят разные гипотезы. Минимум пять разных прародин очерчивают лингвисты. Они ждут помощи от археологов.

Археологи препарируют результаты раскопок, сравнивают артефакты, выявляют археологические культуры, обрисовывают древние миграции и культурные влияния, устанавливают хронологию и преемственность культур, но не могут с достаточной уверенностью сказать, какие народы представлены древними культурами. От каждой культуры корни расходятся в разные стороны, и археологи отдают предпочтение тому или иному по субъективным основаниям. А чаще просто подтверждают ту или иную гипотезу лингвистов – по личным склонностям или господствующей моде.

По тем представлениям, которые старательно обрисовывает автор, лингвисты и археологи перебирают и рекомбинируют одни и те же аргументы, а выйти из порочного круга не могут: «Таким образом, реконструкция прародины оказывается формулой веры, а не вопросом метода» (с. 130).

Где же выход? А выход автор (филолог) видит в обращении к третьей науке – истории: «Представляется, что коль скоро и языковеды и археологи ставят перед собой общую задачу культурно-исторического содержания, то и решать ее следовало бы на едином основании, не подверженном воздействию субъективных допущений, произвольности авторских интерпретаций, ошибкам частных методик исследования. Для этого методы реконструкции исторического прошлого, по крайней мере, ее аксиомы должны быть *не лингвистическими и не археологическими, а историческими*. Необходим разумный выход из порочного круга идей, в пределах которого лингвисты обращаются за подкреплением выдвигаемых ими гипотез к археологии, а археологи привлекают для доказательства своей правоты лингвистические доводы. И те и другие зависят в своих выводах от способа видения истории, от тех образов человеческого прошлого, которые существуют и сосуществуют в научной и культурной среде» (с. 8).

Далее автор поясняет: «Я стремлюсь разобратся в сути исторической концепции индоевропеистики, а не в результатах ее прикладного применения с целью обнаружения границ “прародины”... Я исхожу из уверенности в том, что умозаключения исторического характера должны быть соразмерны не лингвистическим, археологическим и тому подобным аргументам, а согласованы прежде всего с ходом самой истории. Они должны вытекать из сложившейся исторической концепции, которая опирается на более или менее достоверные реальности “доистории”, если таковые в принципе познаваемы» (с. 125).

Итак, «объектом внимания оказывается идея истории...» (с. 14). Нет слов, если подходить к материалу историографически, развитие и смена концепций лингвистики и археологии несомненно зависят от сдвигов общеисторического мышления и от философии истории, от политики и истории культуры. Хотя не только от них. В значительной мере движущими факторами этого развития являются новые открытия, обогащение базы фактов, а также развитие методов и техники исследования и, наконец, подключение все новых и новых отраслей знания.

Н.Л. Сухачев соглашается с В. Георгиевым в периодизации развития сравнительно-исторического языкознания (с. 118). Первый период проходил с 1816 г. по 1870 г. Это был период первоначального накопления и систематизации фактов. Поскольку господствовала библейская философия истории с девизом *ex oriente lux*, преобладала в разных вариантах концепция азиатской прародины индоевропейцев. Второй период, с 70-х годов XIX века по 20-е годы XX века В. Георгиев характеризует раскрытием закономерностей в развитии звуковой структуры слова, а Н.Л. Сухачев добавляет факторы философии истории – вдохновляющую роль дарвинизма, эволюционизма и национального самосознания центрально-европейских исследователей, усиливших притязания Европы на роль прародины индоевропейцев. Третий период В. Георгиева, с 20-х по 70-е годы XX в., характеризуется открытием ряда неизвестных ранее индоевропейских языков (кентумные языки на востоке ареала), а в силу кризиса позитивизма из философии истории в языкознание проникли идеи языкового смещения, лингвистической непрерывности, подрывавшие понятие единого праязыка. Четвертый период Н.Л. Сухачев добавил к георгиевским трем. По Н.Л. Сухачеву, он характеризуется пересмотром «исторической логики», «заложенной в основания индоевропеистики». Ухваченная некоторыми лингвистами историческая «картина мира»

неминуемо приводит к возрождению азиатской концепции прародины индоевропейцев, пусть ее и не приемлют археологи. С исторической «картиной мира» не поспоришь. Она должна иметь приоритет.

На деле на изменениях отношений к тем или иным гипотезам прежде всего сказывались открытия новых фактов и обогащение методического арсенала. Об *открытии новых языков* уже было сказано, а оно ведь первернуло представления о значении кентум-са-темного разделения индоевропейского ареала, стало быть, о ветвлении индоевропейского древа. Существенные изменения в ареальные границы вносили новые открытия *палеобиологии* – сведения о древних распределениях флоры и фауны, климатических зон и морских берегов, иные по сравнению с современными. *Археологические* открытия новых культур и новых отношений между культурами то и дело вносили существенные коррективы в старые представления. Открытая в середине XX века *глоттохронология*, при всей ее неточности, все же дает несомненную ориентировку в хронологии распада праязыков, и в тенденции это все более отодвигает в прошлое существование праязыков (поправки Старостина и компьютерные расчеты американцев и новозеландцев ведут в одном направлении). *Радиоуглеродная революция* середины XX века удревнила на тысячу – полторы тысячи лет европейский неолит и бронзовый век по сравнению с восточным, и это обусловило резкую перемену взглядов на соотношение европейской и азиатской прародин. В последние годы все больше веса приобретает *палеогенетика*, которая устанавливает заселение Европы переднеазиатским населением в неолите, но только южной и части центральной Европы, тогда как в северной части Европы, по-видимому, происходило восприятие неолитической экономики старым мезолитическим населением. Индоевропейский язык мог возникнуть как в результате приноса с юга, так и в ходе ассимиляции пришельцев.

Все это надлежит устанавливать, но исходя из анализа фактов, а не из общей «картины мира». Н.Л. Сухачев все это игнорирует. Для него все это несущественно, не меняет и не может изменить неопределенность ни лингвистических, ни археологических источников, не компенсирует их принципиальную неполноту. К фактам Н.Л. Сухачев относится пренебрежительно: «Факты – не более, чем материал для историка. Подлинными его объектами являются движущие силы, позволяющие реализоваться одним фактам и не дающие проявиться другим (автор явно путает факты с событиями. – Л.К.). До тех пор, пока куль-

турно-историческая реконструкция индоевропейских древностей будет озабочена лишь приемами согласования разных фактов, заимствованных из лингвистики, археологии, антропологии, этнографии, палеоботаники, палеоэкологии, палеогеографии и целого ряда других источников, она обречена на самые противоречивые интерпретации одних и тех же «аргументов» (с. 214).

По мнению Н.Л. Сухачева, нужно разорвать этот порочный круг, обратившись к «исторической картине мира», которую дает история, взятая в ее полном виде, то есть включая доисторию (преисторию, историю первобытного общества), и уловить новую модель доистории: «...преодоление историзма языкознания требует не только пересмотра прежних представлений, сколько полного обновления модели “доистории”. Пока этого не произошло, индоевропеистика обречена на движение в порочном круге “археологических” доказательств, в свою очередь обусловленных привычными филологическими стереотипами» (с. 167).

Я окончил исторический факультет Ленинградского университета (параллельно учась и на филологическом), а потом преподавал там. Я хорошо усвоил одну истину: что история – наука синтеза. Она опирается на источниковедческие дисциплины – письменное источниковедение, археологию, лингвистику, топонимику, физическую антропологию, этнографию, фольклористику с мифологией и другие. Обращаться к ней за решающими фактами было бы смешно. У нее нет каких-то своих, других источников, кроме тех, которые препарируют для нее эти дисциплины. На поздних этапах она пользуется почти исключительно письменными источниками и почти сливается с письменным источниковедением, но проблема происхождения индоевропейцев решается не на этих этапах, а на более ранних, где синтезная природа истории выступает в полной силе. Поэтому не археология с лингвистикой должны обращаться к истории за решением своих проблем, а история должна обращаться к археологии и лингвистике за материалом. Разумеется, не только к археологии и лингвистике, но и к топонимике, антропологии, этнографии, фольклористике и т.д.

Только в одном смысле можно понимать положительно рекомендацию обратиться к истории для решения лингвистических и археологических проблем – прибегнуть к историческому синтезу, решать их комплексно, сопоставляя лингвистические данные с данными археологии, антропологии, топонимики, палеогенетики и т.д. и разрабатывая продуктивные и надежные методы этого сопо-

ставления. Вот это действительно дело истории (в нашем случае преистории).

Но это означало бы скрупулезную возню с фактами разных источниковедческих наук, оценку и сравнение их значимости, выверку методов синтеза и интерпретации – все то, что автор с таким элегантным скепсисом отбрасывает. Вместо этого автор уповает на всепобеждающую силу «общей картины мира» – тоже, конечно, не вообще самой современной, а той, которая полюбилась ему. Много лет он участвовал с покойным археологом И.Н. Хлопиным в раскопках могильника Пархай в Туркмении (И.Н. Хлопин написал предисловие к первому изданию книги Сухачева). Они нашли там весьма древние культурные отложения, имеющие некоторые аналогии в причерноморских степях. И, как это нередко бывает с раскопщиками, оба прониклись убеждением, что в их раскопе открыты ключи к решению основных проблем преистории. Что там им приоткрылась картина мира.

Первоначально «перспектива истории» рисовалась как три стадии первобытной экономики – охотничье-собирательской, скотоводческой и земледельческой, но в последнее время она изменилась: ныне преисторики исходят из двух стадий (с. 10–11) – скотоводческо-земледельческая экономика предстала одной стадией (специализация на скотоводстве сложилась в узком регионе и поздно). Это побудило некоторых исследователей соотнести индоевропеизацию Европы с расширением ареала «земледельческо-скотоводческих культур» (с. 12). Кстати, это как раз и проделал игнорируемый Н.Л. Сухачевым Ренфру. Но он не ссылаясь на философскую картину мира.

Н.Л. Сухачев неоднократно критикует Сафронова за эклектичность и другие грехи: Сафронов попытался объединить азиатскую прародину с европейской в динамике переселения индоевропейцев – он это называет «прародины индоевропейцев». Но модель «разорванной прародины» Сухачева (с. 199, 214) – это ведь то же самое, только другими словами!

В этой аргументации обращения к «логике истории», к «философии истории», к «общей картине мира» вместо конкретных фактов сказывается в новом обличье застарелое советское пристрастие к философии (тогда, разумеется, марксистской) как науке наук, как учительнице и руководительнице всех наук, дающей им критерий верности. Тогда основной путь к истине состоял в наложении философской концепции на материал и подчинение материала этой концепции. Это в сущности продолжение натурфилософии – своеобраз-

ная социофилософия. Не случайно Н.Л. Сухачев с таким тщанием прослеживает, к каким лингвистическим выводам вела та или иная философская концепция – Гумбольдта, Гердера, Шлегеля, Кондорсе. Эту традицию выводить представления о языке из философии он протягивает в современность. Добро, если это рассматривается как историографические поиски духовных корней, но если они превращаются в метод решения проблем, то это можно рассматривать как пережиток социофилософии.

Таким образом, перспектива истории в индоевропеистике представляется мне совершенно иной, а «философско-исторический»

метод решения проблемы «индоевропейских древностей», предлагаемый Н.Л. Сухачевым, – абсолютно неприемлемым. Именно опасение за то, что эта книга посеет скепсис и разочарование в конкретных исследованиях и в сопоставлении реконструируемых языков и археологических культур, что она обратит молодых исследователей на легкий путь выведения полюболюбившихся выводов из философских «аксиом», заставило меня взяться за написание настоящей рецензии.

Л.С. Клейн

A. Erhart. Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft / Hrsg. von B. Vykypel. Übersetzt von I. Kneisel. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2006. 426 S.

Выдающийся чешский лингвист Адольф Эрхарт (1926–2003) был широко известен как один из крупнейших специалистов по сравнительно-историческому языкознанию, блестящий исследователь, выдвигавший яркие, опередившие свое время идеи, и преподаватель, вводивший своими учебными пособиями читателя в проблематику общего, сравнительно-исторического языкознания, этимологии, индоиранских, балтийских языков. Работы А. Эрхарта всегда находили доброжелательный отклик в нашей стране. Ср. обзорную статью [Герценберг 1979], рецензии [Иванов 1984; Красухин 1995]; во всех этих отзывах подчеркивался высокий уровень исследований А. Эрхарта и их большое значение для современной науки. К сожалению, сложная ситуация с книгоснабжением в 90-е гг. не позволила отечественным ученым должным образом отреагировать на позднейшие книги замечательного чешского компаративиста (к примеру [Erhart 1993]).

Выход «Избранных трудов» можно рассматривать как подарок всем специалистам по индоевропейскому языкознанию. Подавляющее большинство статей напечатано по-немецки (часть была написана на этом языке автором, часть – переведена), одна – по-французски. Исключение составляет последняя, посвященная этимологии этнонима *čech*, что объясняется значимостью темы именно для чешского языка. Большинство републикованных работ хорошо известны, некоторые стали классическими. Собрание их под одной обложкой дает представление об эволюции взглядов ученого; для рецензента же это повод поговорить о наследии А. Эрхарта.

Книга состоит из следующих разделов: I «Общие вопросы» («Пути и задачи сравнительного языкознания», «К вопросу об отно-

шении индоевропейских языков к иным языковым семьям», «Происхождение индоевропейских языков: дифференциация или интеграция?», «О классификации языков»); II «Фонология и морфология» («О чередовании индоевропейских звонких и звонких придыхательных», «Об индоевропейском консонантизме», «Праславянские смычные», «Состав общеиндоевропейских фонем», «О развитии и современном состоянии ларингальной теории», «Индоевропейское ударение и его функции», «Об индоевропейской фонологии», «Основные тенденции в развитии индоевропейского звукового строя», «Индоевропейская система согласных и классификация индоевропейской семьи языков», «Об индоевропейской фонологической системе», «К вопросу о стабильности системы согласных в языках европейского ареала»); III *Varia* («Проблема балто-славянского единства», «Заметки о назальном инфиксе в славянском», «О роли префиксов в индоевропейских языках», «О колыбели славянских языков», «Морфология индоевропейских предлогов», «Вечное *s*: Индоевропейская морфема *s* и ее проявления», «Архаика или консервативность? Анатолийский и балтийский», «Откуда наше имя? К происхождению этнонима *čech*»).

Как видим, список проблем, поднятых в 24 опубликованных статьях (печатавшихся с 1956 по 2000 гг.), весьма внушителен. Автор рассматривает как общие вопросы родства языков и классификации языковых семей, так и более частные сюжеты фонетики и морфологии. Однако, – и это особенность творчества А. Эрхарта, – и от частных тем он переходит к важным обобщениям. Объем рецензии не позволяет охарактеризовать каждую из включенных в сборник работ, поэтому по-

пробуем проследить общие тенденции рассматриваемой книги.

В статье о путях и задачах сравнительного языкознания автор прослеживает сложный путь, который проделало понятие праязыка и реконструкции. Так, Ф. Бопп размышлял о морфологии праязыка, не пытаясь дать его общего определения. А. Шляйхер, напротив, видел задачу языкознания в полной реконструкции праязыка (и написал на нем басню). Младограмматики скептически относились к этой программе: Э. Герман и А. Мейе вслед за ними считали праязык лишь «системой соответствий», а их современник Г. Хирт считал праязык реальностью (и представил свой вариант басни Шляйхера¹). Автор полагает, что эта проблема должна рассматриваться по-разному в применении к разным уровням и в зависимости от задач исследования. Так, фонемный уровень родственных языков сводим друг к другу. Как бы мы ни интерпретировали фонологическую систему праязыка, в фонемах языков-потомков наблюдается совокупность соответствий, которая и позволяет диагностировать их родство. В морфологии дело обстоит иначе: отдельные словоизменительные морфемы (не говоря уж о словообразовательных) могут иметь различное происхождение. Так, окончание генитива тематических основ, периферийных падежей мн. ч. в различных индоевропейских диалектах различаются на самых глубоких уровнях реконструкции. Тем не менее, в основе морфология родственных языков обнаруживает черты единства. Напротив, в фонетике и синтаксисе (в меньшей степени в лексике) языки обнаруживают значительные расхождения, что затрудняет реконструкцию соответствующих уровней. Автор справедливо указывает, что это связано с базовыми свойствами языка. Наименее устойчивы те уровни, которые связаны с внеязыковой действительностью (фонетика – с акустикой и устройством речевого аппарата, синтаксис – с мышлением). С нашей точки зрения, есть возможность реконструировать и базовые синтаксические структуры. Восстановлению поддаются функции падежей, системы связи в синтагмах, а на их основании – и основы сложного предложения.

¹ Все же отношение Хирта к праязыку было иным, чем у Шляйхера. Его вариант басни служил не столько доказательством реальности праязыка, сколько иллюстрацией к реконструированной фонологии и морфологии. Такую же роль играет «переписанная» басня у У. Лемана и Л. Згусты [Lehmann, Zgusta 1979].

Статья о взаимоотношении индоевропейских и иных языков (в соавторстве с А. Лампрехтом) может рассматриваться как памятник своего времени. Она была опубликована в 1967 г., до выхода таких важных работ, как [Иллич-Свитыч 1971–1984; Bomhardt 1989; Dybo, Mudrak, Starostin 2002]. Авторы полагают, что есть серьезные аргументы в пользу индоевропейско-уральского родства, тогда как индоевропейско-семитохамитские сходения следует объяснить контактом соответствующих семей.

Важную тему рассмотрел автор в статье о классификации индоевропейских языков. Автор рассматривает основные морфологические изоглоссы, членящие индоевропейскую языковую область. Автор показывает важные различия восточных (греко-арийских) и западных (балто-славянских, германских, итало-кельтских) языков в системе времен, залога, модусов и причастий. В «восточных» языках развита система первичных и вторичных окончаний, в западных она редуцирована. В восточных языках функционирует аугмент; на его базе появился имперфект (претерит презенса), существуют системы аориста и перфекта. В западных языках остатки аориста и перфекта объединились в парадигму претерита, имеется претерит на *-ā-*. В восточных языках имеются специальные флексии среднего залога; в западных они либо не развились, либо дополнены элементом *-r* (итало-кельтские). Оптатив и конъюнктив в восточных языках существуют как самостоятельные модусы; в западных они слились; в итальянском к их суффиксам прибавилось **-ā-*. Наконец, только в восточных языках известны регулярные медиопассивные причастия на **-meno-*, перфектные причастия на **-wos-/wot-* и герундии на **-tewyo-*. Эту схему необходимо дополнить. Во-первых, следы первичных и вторичных окончаний прослеживаются в славянских, балтийских и итальянских языках, хотя, конечно, система оппозиций не так развита, как в греко-арийском. Во-вторых, претерит на **-ā-* занимает различные позиции в итало-кельтском (где он образует несколько самостоятельных подсистем) и в балто-славянском, где он слился с другими образованиями в единую категорию. В церковнославянском хорошо известна категория сигматического аориста, подразделяющаяся на новый (*несохъ, брахъ*) и старый (*вѣсь* = др.-инд. *āvāksam*, лат. *vēxi*, греч. диал. (ἔφεξε). Перфект в церковнославянском не исчез полностью (как в итало-кельтском), а был замещен причастной конструкцией. Таким образом, славянские языки разделяют как восточные архаизмы, так и западные инновации. В-третьих, в гот-

ском языке сохранился синтетический медиопассив (*nimada* 'он взят' и т.д.). Следовательно, если в славянских и балтийских языках медиальные окончания могли не развиваться, то в германских они исчезли. Все эти соображения, конечно, не опровергают построения А. Эрхарта, но вносят необходимые поправки, позволяющие уточнить классификацию.

Исследователь, помимо дивергенции, придает значение и конвергенции. С опорой на работы В. Пизани [Pisani 1959] автор полагает, что итальянская группа языков могла сформироваться на базе языкового союза первоначально независимых друг от друга латино-фалисского и оско-умбрского праязыков (что не принимается большинством современных исследователей [Meiser 1986]). В греческом языке автор видит «протоионийскую» (восточную) и «западную» составляющие, благодаря которым греческий содержит такие «западные» черты, как переход $*k^h > p$ (общий с оско-умбрским и континентальным кельтским), окончание им. п. мн. ч. $*-oi$, кентумные заднеязычные, и такие восточные черты, как сложность системы времен, причастия на $*-meno-$ и $*-wot-$. На наш взгляд, это скорее говорит о положении греческого между западным и восточным ареалами. Аналогичное положение занимают и славянские языки, в глагольной системе которых достаточно изоглоссы как с балтийскими, так и с греко-арийскими языками. Схема родства индоевропейских языков, приведенная на с. 65, в свете нынешних знаний должна быть скорректирована. Фригийский язык — отнюдь не изолированный язык, а ближайший родственник греческого [Orel 1997; Красухин 2001]; аналогично и фракийский. Иллирийский и венетский обнаруживают родство с итало-кельтскими.

По мнению автора, диалектная дифференциация праиндоевропейского началась примерно в 3000 г. до н.э.²; в этот период в именах еще не сформировались до конца периферийные падежи, а в глаголах — система времен. Оформление основных фонологических и морфологических черт западных языков произошло в 3000–1500 до н.э.

В статье «О классификации языков» рассматриваются вопросы вычленения различных форм языковой общности (от группы до макрофилы), языковой конвергенции и ареальной лингвистики. Автор делает интересную попытку описать основные языковые

ареалы Земли с вычленением архаичных, первичных и вторичных языковых семей. Так, для Европы архаичны «яфетические» (кавказские, баскский и некоторые реликтовые языки³).

Большинство статей второго раздела посвящено фонетике. Это вполне обосновано. Вопросами исторической фонетики и фонологии А. Эрхарт интересовался всю жизнь, но его монографии были посвящены по преимуществу морфологии. Исследователь придерживался точки зрения, согласно которой праиндоевропейский консонантизм был прост, большинство его различительных признаков развилось в отдельных семьях языков. Так, рассматривая вопрос о соотношении простых и придыхательных звонких, он показывает лабильность признака придыхательности (ср. лат. *egō* — др.-инд. *ahám*). С другой стороны, признак звонкости/глухости тоже не всегда устойчив: др.-инд. *bhrājati* — *bhrāśate* 'сиять,' ($*bhlēg-$ / $*bhlēk-$). Это можно было бы объяснить тем, что в упомянутых корнях и лексемах встретились разные детерминативы. Но колебания возможны и в начале слова. Так, гот. *dragan* 'тащить' родственно др.-инд. *dhra-jati*. Но, возможно, тот же корень присутствует и в лат. *trahō*⁴, а также в греческом аористе (ἔδραμον, др.-инд. *dravati*, *dramati* 'бежать'. Для решения этой проблемы (ставившейся еще Г. Хиртом) автор предлагает три возможных решения. Во-первых, в индоевропейских корнях могла иметь место дистантная ассимиляция, в ходе которой придыхательная фонема могла терять этот признак или непридыхательная фонема — этот признак обретать ($*stem-bh-$ > $*stem-b/$ $*sthembh-$, снова переходившая в $*stembh-$). Во-вторых, развитию придыхательных могли способствовать ларингалы. В-третьих, сам признак придыхательности мог быть лабильным в раннеиндоевропейском языковом состоянии.

Необходимо отметить также классическую работу о функциях подвижного акцента, опубликованную впервые в 1975 г. Проблема ударения стала дискуссионной во второй половине XX века; остается таковой и в наши

³ Автор не утверждает их родство между собой. В настоящее время многие ученые полагают, что западно- и восточнокавказские языки объединяются в одну семью, а картвельские им не родственны; баскский язык остается изолированным. Вопрос о внешних связях этрусского языка тем более остается *sub iudice*.

⁴ Это спорно: восстановление *trahō* как $*tr^o3-gh$ (в нотации автора, где 3 — символ одного из ларингалов) вызывает сомнение. Возможно, *trahō* происходит из *trans-vēho*.

² В настоящее время датой распада праиндоевропейского называют 4500–4000 гг. до н.э. и связывают этот процесс с domestikацией лошади.

дни. Дело в том, что индоевропейское ударение, по-видимому, было одновременно тоновым и силовым; в атематических глагольных и именных парадигмах оно было подвижным, в тематических – неподвижным. И здесь возникли два вопроса. 1. Чем обусловлена подвижность ударения: характером слога или морфосемантическими (морфосинтаксическими) функциями? 2. Первично или вторично неподвижное ударение? Согласно В.М. Иллич-Свитычу [Иллич-Свитыч 1963] и В.А. Дыбо [Дыбо 1981], ударение могло быть подвижным или неподвижным, передвижения его либо были «заданы» изначально, либо объяснялись тонами. Иная традиция, ведущая начало от Ф. Боппа и Ф. де Соссюра, полагает, что изначально силовой акцент был связан с аблаутом (прежде всего, количественным, а, возможно, и качественным). В дальнейшем ударение утратило силовой характер, и чередование звуков приобрело фонологическую значимость. Аблаут стал индикатором древнего места акцента. Согласно А. Эрхарту, передвижение акцента прежде всего носило детерминирующую функцию. С его помощью выделялась значимая морфема. В оппозиции номинатива (**pédes* > **péd-s*) и генитива (**podés*) морфема флексии безусловно является таковой, так как она придает лексеме комплекс значений родительного падежа. Я бы прибавил к этому то, что в системе падежей окситонеза маркирует не просто детерминированные, а зависимые падежи – генитив и датив, тогда как номинатив, аккузатив и локатив (падежи подлежащего, предела и местонахождения) баритонны.

Передвижение акцента сыграло важную роль в развитии системы аспектов в индоевропейских языках. В этой статье он высказывает идею, развитую потом в книге [Erhart 1989]: один суффикс при глагольной основе придавал ей перфективное значение; два суффикса образовывали итеративное значение, которое могло «деградировать», т.е. превратиться в простое дуративное. Так автор объясняет функционирование, к примеру, назальных презенсов. Иными словами, перфективный суффикс первоначально притягивал к себе ударение (CARCA > CRCÁ), затем, в презенсе, происходила рецессия. Автор справедливо отмечает, что сама по себе ступень корня не связана с каким-то аспектом. Так, в древнеиндийском известен имперфект *ádaśat* 'кусать', а однокоренная греческая форма ἔδακον – это аорист. В действительности славянский материал демонстрирует и презенсы с 0 ступенью, противостоящие аористам в полной ступени (жърж – жрѣтѣ, ср.др.-инд. *girāti* – аорист конъюнктива *garat*) [Stang 1942: 30–31].

Можно говорить о спорадической связи аспекта и ступени корневого вокализма.

Весьма интересна статья о «вечном s». Идею, лежащую в ее основе, автор высказывал в работах [Erhart 1967; 1989]. Она заключается в том, что морфема *-s-*, представленная в восьми различных функциях (показатель номинатива; показатель – с добавочными фонемами – генитива; вместе с *e-* – показатель номинатива мн. ч. (*-es); суффикс аориста; суффикс 2 л. ед. ч. действительного и – с добавлениями – среднего залога; составная часть суффикса футурума и дезидератива; с добавлением *-i, -u* – суффикс локатива мн. ч.), является по сути единой формой. Она выражала единичность. Автор показывает, каким образом из номинатива развился генитив⁵, каким образом номинатив стал показателем и мн. ч.⁶; единичность в глаголе образует значение завершенности, что и выражено суффиксом *-s-* как аористным. Соответственно нет сомнения в связи футурального и дезидеративного суффикса с аористным, а локативное *si/-su*. Общий вывод автора таков: формант **-s* имеет значение единичности, по-разному проявляющейся в разных грамматических подсистемах. В последнее время эту идею высказывают различные исследователи. Так, в [Красухин 2004: 65–66] с опорой на ранние работы А. Эрхарта отмечается, что морфема **-t* изосемантична и изоморфна **-s*. Близка к работе А. Эрхарта реконструкция «морфологического центра индоевропейских языков **-s/-t*», предложенная Т.М. Николаевой [Николаева 2008: 234–252]. Весьма интересны наблюдения А. Эрхарта над «новым *-s*» (т.е. возвратной частицей) в новейших индоевропейских языках (славянских, скандинавских), где она «удерживает» флективный строй.

В статье об этимологии этнонима *čech* автор принимает тезис Р.О. Якобсона [Jakobson 1938] о парных этнонимах *лях/чех*, но предпо-

⁵ Эта идея была убедительно доказана еще в работе Ван Вейка в 1900 г.

⁶ Здесь необходимо дополнение. Формант **-s* на определенном этапе праиндоевропейского стал показателем мн. ч. не только в номинативе: об этом свидетельствуют формы инструментала **-ōis*, аккузатива **-ns*, периферийных падежей **-bhis/-bhias*, **-mos/-mis*. Видимо, это произошло под воздействием основ на плавные и носовые, где окончание номинатива ед. ч. выпадало (с заменительным удлинением предшествующего гласного): др.-инд. *pitā#* (*pitār#*) – *pitāras*, греч. πατήρ – πατέρες. В этой оппозиции *-s* ассоциируется с множественным числом.

лагает иное происхождение для второго из них. Согласно Якобсону, имя **lech* сопоставимо с о.-слав. **lědъ / lědo*, о.-герм. **land-* и является уменьшительным от **lędeninъ* 'житель земли людей' (возделанной земли), тогда как **čech* происходит от *čędo* 'дитя' и означает 'житель невозделанной' (детской, девственной) земли. Эрхарт же полагает, что *lech* следует толковать как 'житель низинной земли'; первичное значение общиндоевропейского корня **lendh-* именно 'низкий, низменный'. Поэтому он лежит в основе названия 'бедра': лат. *limbus*, др.-в.-нем. *lenti*, слав. *лѣдвыѣ*. Имя же *čech* происходит из **čelenin*; исследователь связывает его с и.-е. **kel-* 'поднимать' (лит. *kėlti, kálnas* 'холм', лат. *collis* 'то же', *pro-cello* 'поднимать'). Т.о., *lech* – житель низин, *čech* – возвышенности. По мнению автора, первоначально так называли жителей Моравии, затем этноним распространился и на низинную Богемию.

Отметим также прекрасно составленный аппарат книги. В ней приведена полная библиография работ А. Эрхарта (с указанием рецензий, а также оставшихся в архиве ученого рукописей), список работ об А. Эрхарте, интересный очерк его биографии, принадлежащий Б. Выкыпелу. Из него мы можем узнать, в частности, что по окончании школы А. Эрхарт колебался между филологией, химией и железнодорожным делом, но выбрал все-таки славистику, классическую филологию и компаративистику. Среди его товарищей по учению отмечаются выдающиеся лингвисты англист Ян Фирбас, славист Радослав Вечерка, эллинист Антонин Бартонек. Самым ярким из его учителей (преподававшим и названным филологам) был, конечно, В. Махек, автор не утратившего своего значения этимологического словаря чешского языка. Эрхарт сотрудничал также с лингвистом широкого профиля Павлом Тростом, балтистом, германистом, индоевропеистом, который оппонировал по диссертации Эрхарта и рецензировал его книги. Несмотря на широкое международное признание, карьера нашего героя складывалась в социалистической Чехословакии отнюдь не ровно. В звании профессора его утвердили только в 1988 г., хотя университет представил его к этому званию на 20 лет раньше (Б. Выкыпел недвусмысленно связывает это с событиями августа 1969 г.). Звание же доктора наук он получил в 1973 г. за работу [Erhart 1970].

Во второй части своего очерка автор проводит параллель между понятийным аппаратом, используемым А. Эрхартом, и теорией глоссематики. Конечно, падежная система праиндоевропейского, представленная в [Erhart 1970] отличается от классификации [Hjelmslev 1935] (хотя преемственность здесь

имеется: Ельмслев первым предложил целостное описание падежной системы на базе ограниченного количества признаков). Главное сходство в другом. Оба лингвиста отдавали предпочтение методу перед фактом. Имея дело с ненаблюдаемым объектом (праязыком или языком вообще, как чистой системой отношений), датский и чешский ученые подчеркивали необходимость создания модели действительности до обращения к конкретным фактам (а ценность модели определяется ее объяснительной силой). Взятые же вне системы факты имеют небольшую эмпирическую ценность. Ельмслев и Эрхарт неоднократно это декларировали и использовали в своих исследованиях⁷. Что же касается иных источников методологии А. Эрхарта, то влияние на него Пражской школы самоочевидно и даже специально не обсуждается Б. Выкыпелом. Мало кто из лингвистов так успешно пользовался понятиями оппозиции, маркированности и нейтрализации различных признаков.

В книге публикуются письма А. Эрхарта к Л.Г. Герценбергу с оценкой присланной ему книги [Герценберг 1981] и соображениями о развитии индоевропеистики; она иллюстрирована хорошо подобранными фотографиями. Вместе с очерком они помогают почувствовать автора – спокойного, приветливого, доброжелательного, всей душой преданного науке. Именно такое впечатление Адольф Эрхарт произвел на рецензента, который имел счастье познакомиться с ним лично в 1985 г., а затем несколько лет состоял в переписке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Герценберг 1979 – Л.Г. Герценберг. Предыстория индоевропейских языков в трудах А. Эрхарта // ВЯ. 1979. № 2.
Герценберг 1981 – Л.Г. Герценберг. Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. Л., 1981.

⁷ Попутно замечу, что объект исследования у них все-таки был различным, и это предопределило результаты. Система Л. Ельмслева поражает логичностью и законченностью; это, возможно, единственная последовательно дедуктивная модель языка, однако применять ее на практике непросто, ибо Язык вообще является очень большим обобщением действительности. Напротив, система А. Эрхарта вполне применима на практике и поддается модификации. Праязык, в отличие от Языка, – хоть и не наблюдаемая, но вполне реальная сущность.

- Дыбо 1981 – В.А. Дыбо. Славянская акцентология. М., 1981.
- Иванов 1984 – Вяч.Вс. Иванов. [Рец.] А. Erhart. Indoevropské jazyky // Балто-славянские исследования 1983. М., 1984.
- Иллич-Свитыч 1963 – В.М. Иллич-Свитыч. Именная акцентуация в балтийском и славянском. М., 1963.
- Иллич-Свитыч 1971–1984 – В.М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков. Т. 1. М., 1971; Т. 2. 1976; Т. 3. 1984.
- Красухин 1995 – К.Г. Красухин. [Рец.] А. Erhart. Das indoeuropäische Verbalssystem // ВЯ. 1995. № 1.
- Красухин 2001 – К.Г. Красухин. К интерпретации новофригийской надписи В 87 // ИАН СЛЯ. 2001. № 2.
- Красухин 2004 – К.Г. Красухин. Аспекты индоевропейской реконструкции: Акцентология. Морфология. Синтаксис. М., 2004.
- Николаева 2008 – Т.М. Николаева. Непарадигматическая лингвистика (история блуждающих частиц). М., 2008.
- Bomhardt 1989 – A. Bomhardt. The etymological dictionary of Nostratic languages. Amsterdam; Philadelphia, 1989.
- Dybo, Mudrak, Starostin 2002 – A. Dybo, O. Mudrak, S. Starostin. The etymological dictionary of Altaic languages. Leiden, 2002.
- Erhart 1967 – A. Erhart. Zur ie. Nominalflexion // SPFFBU. 1967. A 15.
- Erhart 1970 – A. Erhart. Studien zur indoeuropäischen Morphologie. Brno, 1970.
- Erhart 1989 – A. Erhart. Das indoeuropäische Verbalssystem. Brno, 1989.
- Erhart 1993 – A. Erhart. Die indogermanische Nominalflexion und ihre Genese. Innsbruck, 1993.
- Hjelmslev 1935 – L. Hjelmslev. Le cas. Aarhus, 1935.
- Jakobson 1938 – R. Jakobson. Reimwörter Cech-Lech // Slavische Rundschau. 1938. 10.
- Lehmann, Zgusta 1979 – W.P. Lehmann, L. Zgusta. The Schleiers tale after a century // Studies in diachronic, synchronic and typological linguistics: Festschrift O. Szemerényi. Amsterdam; Philadelphia, 1979.
- Meiser 1996 – G. Meiser. Lautgeschichte der umbrischen Sprache. Innsbruck, 1986.
- Orel 1997 – V. Orel. The Phrygian language. Innsbruck, 1997.
- Pisani 1959 – V. Pisani. Die indoeuropäische Sprachen in Griechenland und in Italien // Lingua poznaniensis. V. 7. 1959.
- Stang 1942 – Chr. Stang. Das slavische und baltische Verbum. Oslo, 1942.

К.Г. Красухин

W. Smoczyński. Słownik etymologiczny języka litewskiego. 798 s.; Indeks wyrazów litewskich. 308 s. Wilno: Printer Polyglott, Jost Gippert, Frankfurt a. Main, 2007.

Автор рецензируемого словаря (далее SEJL) Войцех Смочиньский – профессор индоевропейского языкознания Ягеллонского университета, автор многочисленных работ в области балто-славянского и индоевропейского языкознания. Его труды отличаются строгостью и изощренной техникой анализа, высокой филологической культурой и большой лингвистической эрудицией, а также, в не малой степени, полемическим настроем, готовностью, следуя своей логике анализа фактов, подвергнуть ревизии не только отдельные этимологии или положения сравнительной грамматики, но и целую научную традицию. Для настоящей рецензии существенно, в частности, направление исследований Смочиньского, в основе которого лежит мысль о том, что в компаративистике с давних пор сохраняются заблуждения относительно исключительной архаичности литовского языка: она видится ему сильно преувеличенной [Smoczyński 2000: 172–173].

Новый труд, фактически двухтомный (с учетом Указателя), стал закономерным следствием не только исследовательской, но и пе-

дагогической – тоже очень плодотворной – деятельности Смочиньского. Как следует из пояснений в кратком Предисловии (с. VII–IX), SEJL представляет собой развернутый вариант Малого литовского этимологического словаря того же автора, собственно, учебного пособия для студентов-литуанистов. Этим объясняется ряд отличий SEJL от широко известного классического труда Э. Френкеля – «Litauisches etymologisches Wörterbuch» (LEW), опубликованного в 50–60 гг. XX в. В отличие от специалистов, уже успевших записать LEW в устаревшую литературу, Смочиньский ничего не говорит о его устарелости, но, напротив, весьма скромно указывает, что SEJL не претендует на равенство с LEW, содержащим обширную библиографию и продолжающим оставаться надежной основой для дальнейших исследований.

В SEJL подобная библиография действительно отсутствует. Тем не менее словарь предваряется довольно представительным списком использованной литературы преимущественно последних лет. И конечно, труд Смочиньского фактически констатирует дав-

но произошедшее завершение «френкелевского» этапа развития литовской этимологии и до известной степени суммирует достижения «послефренкелевского».

Наиболее заметная примета последнего – последовательно применяемая Смочинским индоевропейская реконструкция с использованием трех ларингальных. Следует заметить, что он посвятил очень многие свои труды (включая две монографии) ларингалистической ревизии балтийской и балто-славянской реконструкции. Приметами новизны в сравнении с LEW в рецензируемом словаре является установка на лексемную, а не корневую этимологию, отказ от апеллирования к расширителям корней. Важным и заслуживающим всяческого внимания новшеством этимологического словаря является продуманный и эффективный аппарат описания словообразования, морфо(но)логии, а также процессов переосмыслений и переразложений («geapali-za»), для чего вводятся понятия «neopierwi-astek» (корень, возникший вследствие действия указанных процессов, «неокорень»), «neosnowa» («неоснова»), «neosuffiks» («неосуффикс») и др. Этот аппарат, снабженный множеством удобных сокращений, во многом обеспечивает характерные для словарных статей SEJL экономные и в то же время содержательные описания целых лексических гнезд с производными и сложениями, в чем видится одно из несомненных достоинств словаря, удачно сочетающего полексемный и гнездовой подходы к материалу. Входящие в гнездо слова подаются упорядоченным образом, снабжены указаниями на соответствующий морфо(но)логический тип или парадигму и, при необходимости, указаниями на внелитовские этимологические соответствия. Так, в статье, посвященной литов. *mèsti, meti* ‘бросать, бросить’, после описания семантики глагола и указания основных соответствий (в латышском, славянских и латинском языках) приводятся – также с указанием значения, а в ряде случаев еще и синонимов и других попутных фактов – сложения с превербами, в том числе для рефлексива *mèstis*; итератив *metinėti*; однокоренные имена с *met-*; образования с «неокорнями» *mes-* (на основе инфинитива), *mest-*; с продленной ступенью *é* в корне; со ступенью редукции *mit-/mut-* и т.п., в общей сложности намного более сотни слов. Следует заметить, что словарь В. Смочинского почти не содержит сведений нелингвистического характера.

Словник SEJL не ограничен современным литературным языком, но включает также диалектные, редкие и старолитовские слова, привлекаемые в зависимости от возможности из-

влечь из них лингвистически ценные сведения. Неоценимым подспорьем при этом оказывается *Lietuvių kalbos žodynas* – завершённый в 2002 г. двадцатитомный словарь, дающий несравненно более полное, нежели это было возможно в LEW, представление о литовском лексиконе.

Не удовлетворяясь существующими объяснениями, В. Смочинский чаще, чем в LEW, прибегает к резюме «неясно», «без этимологии». Вместе с тем, читатель нового словаря обнаружит немало этимологических новшеств, относящихся к разным срезам (пред)истории литовского языка. Эти новшества слишком многочисленны, поэтому перечислить все не представляется возможным.

В Предисловии к словарю имеется пассаж, который представляется актуальным не только для этого труда: «Ввиду наблюдаемого повсюду отхода от исследований по историческому языкознанию не приходится сетовать на состояние литовской исторической лексикографии. Известно, что качество этимологического словаря определяется не столько компетенцией его автора, сколько количеством и качеством работ, подготавливающих почву для подобного синтеза» (с. VIII–IX), т.е. трудов по отдельным разделам лексикона (фитонимы, зоонимы и проч.) и сравнительно-исторических описаний морфологии и словообразования. По мнению автора SEJL, все это пока лишь децидидераты литовской лексикологии и этимологии.

Представляется, что уже в силу накладываемых на SEJL сознательных ограничений этот словарь оставляет определенное поле для вопросов и ремарок.

Ясно, что от SEJL нельзя требовать наличия всех литовских слов. Встречаются, однако, пропуски, достойные сожаления. Отсутствуют, например, интересные в разных отношениях слова *lūknė* ‘кубышка (водное растение)’, *šeivà* ‘цевка’. Последнее анонсировано в Указателе при форме *šaivà*, но соответствующей словарной статьи нет.

В отношении библиографии (по сути – учета релевантных для литовского этимологического словаря достижений исторической лингвистики) следует заметить, что хотя бы минимум ее мог быть введен в текст словаря, как это сделано, например, в последних переизданиях немецкого этимологического словаря Ф. Клюге (под редакцией Э. Зеебольда). Это дало бы между прочим возможность лучше оценить этимологическую новизну SEJL. Соглашаясь, например, с приводимой в SEJL этимологией литов. *ragauti* ‘пробовать’ от *rāgas* ‘рог’, хотелось бы видеть указание и на ее автора, каковым в данном случае является Б. Егерс (что отражено в LEW). Его труды,

высоко оцененные в свое время в балтистике [Топоров 1963: 257–258], особенно монография «Verkannte Bedeutungsverwandtschaften baltischer Wörter», широко используемая в LEW, отсутствуют в списке литературы к SEJL.

Даже при беглом взгляде на этот список нельзя не заметить в нем пробелы, представляющиеся существенными. Так, минимальная литература, касающаяся проблематики балто-прибалтийско-финских (-финно-угорских, -уральских) связей, и есть основания думать, что в SEJL недостаточно учитывается взгляд на эту проблематику с «уральской» стороны. Этимологическая (лингвистическая) литература на кириллице представлена только словарем прусского языка В.Н. Топорова, этимологическим словарем славянских языков под редакцией О.Н. Трубачева, а также этимологическими словарями украинского и белорусского языков, издаваемыми в Киеве и Минске. Эти труды, при всей их важности, далеко не исчерпывают всех релевантных для балтистики достижений «кириллической» этимологии (не говоря об акцентологии, диалектологии и др.), в том числе соответствующих этимологий В.Н. Топорова и О.Н. Трубачева. Получается, например, что балто-славянские лингвогеографические штудии А.П. Непокупного не представляют для современного литовского этимологического словаря интереса, как и, скажем, обширная литература, посвященная одному из наиболее перспективных направлений славистики – изучению древненовгородского диалекта и его связей.

Сказанное касается отнюдь не только литературы на кириллице, но говорить здесь об этом нет возможности.

SEJL несомненно является большим вкладом в балтийское и славянское языкознание. Балто-славянские лексические схождения подаются весьма четко. Но все же хотелось бы видеть более эксплицитное отражение достижений этимологии и лингвогеографии, касающихся установления диалектных связей между отдельными частями балтийского и славянского ареалов (балто-южнославянские изоглоссы и др.). Спорадическое приведение в статьях SEJL балтизмов славянских и прибалтийско-финских языков, по-видимому, не в полной мере позволяет использовать балтизмы как существенный ресурс балтийской этимологии, дающий сведения, непосредственно не сохранившиеся в литовском, латышском и прусском языках.

Ввиду вынужденно ограниченного объема данной рецензии, при обращении к конкретным статьям SEJL приходится остановиться главным образом на тех из них, где наглядно

проявляются упомянутые выше пробелы в библиографическом списке словаря.

aĩdas, ardaĩ мн. ‘жерди, на которых развешивают лен для просушки’ – при объяснении отношений с близкими по значению русск. диал. (северо-запад) *áрдa, áрды*, карел. *ardo* принимается, что литовское слово, а также лтш. *ārdas, ārdi* мн. – из русск. < карел. Однако эта точка зрения устарела. Только так: русск. < п.-фин. < балт. [SSA 1: 48–49; МФУСЗ 1: 28].

bandà – при этимологическом разделении на омонимы значений ‘стадо’ и ‘булка и т.п.’ не учитываются балтизмы. Зафиксированное в Полесье *бóнда* ‘корова (как приданое)’ и старопольск. (в Литве) *bonda* ‘приданое в виде коровы и пары овец’ наряду с аналогиями вроде русск. диал. *корóвка* ‘обрядовое печенье в форме коровы’ позволяют уверенно говорить о генетически едином *bandà* ([Непокупный 1976: 190–191]; следует напомнить, конечно, и о русск. *коровáй* от *корóва*).

bēbras ‘бобр’ – «славянский обнаруживает неожиданный вокализм -o-», ср. русск. *бобр* и др. Ничего не говорится о хорошо известных формах с вокализмом -e- (**bebrъ*), которые представлены в южнославянском и древненовгородском, встречаются в западнославянском, в славянской топонимике. С учетом реконструкции **b^heb^hru-* стоило бы уточнить, что в славянском исходная основа на -й-.

burnà ‘рот, лицо’ – даются индоевропейские соответствия и реконструкция **b^hrH-néh₂-*, но почему-то нет славянских данных – болг. диал. *бърна* ‘губа’ и др. Если они отклоняются, то почему?

dvīnas ‘близнечный’ – стоило бы привести и прокомментировать сравнение литов. *dvynai*, лтш. *dvīņi* ‘близнецы’ со старорусским (Р. Джемс) *брат двина* ‘единоутробный брат’ (см. подробнее [Откупщиков 2001: 57]).

giñtaras ‘янтарь’ – разочаровывает упоминание русск. *янтарь* и связанных с ним проблем.

Grýva (гидроним в Жемайтии) – возможно, не стоило проходить мимо лтш. диал. *grīvis* ‘грубая длинная трава’, *grīva* ‘осока’, *grīvja zāle* ‘грубая трава в затопляемых местах’. Эти факты реализуют установленный на славянском материале известный принцип (Н.И. Толстой) обозначения сена, травы по месту косьбы. Лтш. *grīv-* фактически обозначает не только устье, но и берег реки. Эти и другие данные, в частности, блр. диал. *grýiva* ‘отмель при слиянии двух рек’ (И.Я. Яшкин), подробно анализировавшиеся А.П. Непокупным [Непокупный 1976: 60–64] и Л.Г. Невской [Невская 1977: 29], могли бы существенно уточнить картину связей литов. *Grýva*, предлагаемую в SEJL.

jūra ‘море’ – выводится из и.-е. **H₁uh₁r-*, начальный *j-* объясняется влиянием рефлекса

Heuh₁r-* в литов. *jaura* ‘подзол’, *jaura(s)* ‘топь’. Считающееся иногда балтизмом фин. *järvi* ‘озеро’ не упоминается, но это не повод для упрека. Однако стоит учесть, что в данных субстратной топонимии Русского Севера имеется основа *ягр-* (наряду с *явр-*, *явр-*) < **ja(ä)gr* или **ja(ä)γr* ‘озеро’, сохраняющая **g* ~ **γ*, утраченное вследствие развития **g*/γ* > **w* (**v*) или *ø* в прибалтийско-финско-саамско-волжских соответствиях типа фин. *järvi* (с метатезой [Матвеев 2002]) и позволяющая ставить вопрос о том, что в случае с литов. *jaura(s)* и, возможно, *jūra*, лтш. *jūra* и т.п., имело место древнее заимствование, и балтийский был реципиентом. В пользу такого решения высказался Е.А. Хелимский (устное сообщение 6 октября 2007 г.).

kadagys ‘можжевелик’ – «без хорошей этимологии». Непонятно, почему неприемлемо объяснение (впервые – Е.Н. Сетэлэ) литовского слова, а также лтш. *kadegs*, *kadags*, прусск. *kadegis* как заимствований из прибалтийско-финского. Такое заимствование поддержал В.Н. Топоров, дав подробнейшее обсуждение проблемы в своем прусском словаре [ПрЯз 3: 115–117].

kañklės ‘музыкальный инструмент’ – не упоминается точное соответствие в кельтском – др.-ирл. *cétál* ‘пение’ (< **kantlon*) и т.п. Между тем, данная параллель подтверждает также, что приводимое в SEJL фин. *kantele* – балтизм и что заимствование из прибалтийско-финского в балтийский исключено [Топоров 1973: 150–151].

krañtas ‘берег’ – сравнение с литов. *kristi*, *krintù* ‘падать’ выдвинуто довольно давно О.Н. Трубачевым [Трубачев 1980: 6–7], обосновавшим неправомочность привлечения (поддерживаемого в SEJL) русск. *крутой*, польск. *kręty* и т.п.: значение ‘отвесный, обрывистый’ – инновационное, исходно ‘извилистый, крученный’, ср. польск. *Zakręt* как название изгиба реки Вилии в Вильнюсе, литов. *Vingis*. Сказанное, кстати, не влияет на понимание фин. *ranta* ‘берег’ (не упоминаемого в SEJL) как балтизма.

laikyti ‘держат’ – сравнение со слав. **lěčiti* ‘лечить’ недоказуемо (и едва ли целесообразно) ввиду не упоминаемых в SEJL, но хорошо известных германских связей слав. **lěčiti*, **lěka* ‘лекарство’, ср. гот. *lēkeis* ‘врач’ и т.п.: в славянском, скорее всего, германизмы [ЭССЯ 14: 192–193].

lokys ‘медведь’ – «неясно». «Достойный внимания», согласно SEJL, балтийский этимон **lāk-iia-* не объясняет отношения к цитируемым здесь же прусск. *clokis* ‘медведь’, гидрониму *Tlocum(n)pelk*. Вне поля зрения SEJL остается вся проблематика, связанная с явной необходимостью реконструкции анлаутного **tl-*, о котором писалось в связи с названием медведя многократно (Беценбергер, Миккола, Френкель, Станг, Кипарский и др.); по-

дробнейшее обсуждение см. у В.Н. Топорова [ПрЯз 4: 69], в том числе в связи с судьбой **tl-* в славянских языках. Ср. правдоподобные параллели балт. **tlākja-* ‘медведь’ (= ? ‘косматый’) в слав. **dlakā* ‘шерсть зверя’, **vykodlak* ‘оборотень’, русск. диал. *волколák*, чеш. *vlkodlak* и др., сюда же (?) старопольск. *kłaki* ‘космы, клочья, пакля’ [Зализняк 1986: 122].

lunkas ‘лыко’ – сравнение со слав. **lyko* отклоняется, поскольку «славянский не знает **lōkū* < **lunkas*, а литовский не знает **lūkas* в значении ‘лыко’». Не вдаваясь в подробности, можно лишь напомнить, что этимологическое разъединение славянских и балтийских фактов в данном случае «...связано с несравненно большим риском (и последующими сложностями в объяснении деталей), нежели... сохранение точки зрения на них как на отражение общего для них исходного прототипа» [ПрЯз 8: 413].

nuoma ‘наем, аренда, прокат’ – выводится из **nuoima* < **nuo-ima* (к *nusiimi* ‘беру себе’), с выпадением *i*. Обычное отнесение литовского слова (и лтш. *nota*) к семье лтш. *neti*, диал. *nemt* ‘брать’ отклоняется, видимо, из-за указываемой в SEJL славянской аналогии – **naĩmĩ*, русск. *наём*. Однако подлинное славянское соответствие иное, и оно не отражено в SEJL, хотя теперь хорошо известно – др.-новг. *намъ* ‘проценты, лихва’ (с XI в.), убедительно истолкованное не как балтизм, а как продолжение праслав. диал. **namъ* [Зализняк 1986: 166; ЭССЯ 22: 193–194]. Древность рассматриваемого материала подтверждает авест. *nəmah-* ‘ссуда’, ‘приношение’ [Патри 2003], что также осталось вне поля зрения SEJL.

oda ‘кожа’ – предполагается этимон **Heh₂d^(h)-eh₂-* или **Hoh₂d^(h)-eh₂-*. Поскольку он имеет гипотетический характер, интересна возможность пересмотра отношений литов. *oda*, лтш. *āda* и не упоминаемого в SEJL фин. *vuota* ‘шкура (снятая)’. Согласно Е.А. Хелимскому, *vuota* не балтизм, как принято считать, а продолжение п.-фин. **wōta* < **ōta* < финно-угр. **ōḍa* ‘(сырая) шкура’ < уральск. **ōḍa* ‘плоть’, ср. самодийск. **ājā* ‘плоть, кожа, шкура’ [Helimski 2007]. Балт. < ? п.-фин.

treigys ‘трехгодовалое животное’ – выводится из **treikys* с озвончением -*k*-. Чем данная этимология лучше сравнения *treigys* с др.-русс. *тризь* ‘трехгодовалое животное’, русск. *тризна* (О.Н. Трубачев, см. [Топоров 1979])? Вызывает сомнения и предлагаемая в SEJL этимология *dveigys* ‘двухгодовалое животное’ < **dveikys*.

žviřgždas ‘крупный песок, гравий’ – на основании известного сравнения с с.-хорв. *zvrst* ‘крошащийся камень, добавляемый в глину гончарами’ реконструируется слав. **zvrstū*. Не учитываются русск. диал. (преимущественно на северо-западе, со множеством вариантов)

гверста́ 'толченный камень, щебень' и возможность праслав. *gv- [Зализняк 1986: 113].

Литовский словарь Э. Френкеля (LEW) весьма полно отражал достижения литуанистики / балтистики, накопленные к середине XX в. Словарь В. Смочиньского является скорее суммированием его собственных исследований по литовской этимологии, а также исследований ученых, близких ему по научным взглядам. Разумеется, он имеет на это полное право. Одной из наиболее важных задач словаря стал пересмотр корпуса индоевропейских этимологий литовского языка с позиций ларингальной теории. Как можно судить по SEJL (и не только по нему), подобный пересмотр обнаруживает определенные издержки: не всегда эффективное усложнение реконструкции и ослабление внимания к доказавшим свою значимость аспектам этимологического исследования – лингвогеографии, диалектным, семантическим и т.п. особенностям слов, изоглоссным связям, увязке языковых данных с данными этнической истории (древних контактов), проблеме «Wörter und Sachen». Не приходится говорить об акцентологической проблематике, которая трактуется в SEJL исключительно с позиций ларингалистики. В то же время, использование в SEJL аналитического аппарата для описания лексических гнезд оставляет место для сомнений: не теряются ли за допускаемыми в словаре комбинаторными фонетическими изменениями, «неокорнями» и «неоосновами» архаические черты? Иногда за деревьями не виден лес.

Нет, однако, сомнений в том, что публикация SEJL – событие (с большой буквы) литовского языкознания. Важность этого труда трудно переоценить. Словарь несомненно станет настольной книгой всякого специалиста, интересующегося происхождением литовской лексики. Прделав огромную и филигранную по технике исполнения работу, В. Смочиньский сумел подготовить достаточно компактный и вместе с тем содержательный труд, насыщенный обширным и аккуратно изложенным материалом. Полиграфически книга выполнена на весьма высоком уровне. Радует плодотворное сотрудничество польской и литовской балтистики: SEJL написан по-польски, но издан в Вильнюсе и имеет гриф филологического факультета Вильнюсского университета. Книга посвящена памяти великого литовского языковеда К. Буги. Автора SEJL можно поздравить с большим и заслуженным успехом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Зализняк 1986 – А.А. Зализняк. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // В.Л. Янин, А.А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1977–1983 годов. М., 1986.
- Матвеев 2002 – А.К. Матвеев. Субстратные лимнонимы Русского Севера и происхождение названия озера в финских языках // Финно-угорское наследие в русском языке. Екатеринбург, 2002.
- МСФУСЗ 1 – Материалы для словаря финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера. Вып. 1. (А–И). Екатеринбург, 2004.
- Невская 1977 – Л.Г. Невская. Балтийская географическая терминология. М., 1977.
- Непокупный 1976 – А.П. Непокупный. Балто-северно-славянские языковые связи. Киев, 1976.
- Откупщиков 2001 – Ю.В. Откупщиков. Очерки по этимологии. Л., 2001.
- Патри 2003 – С. Патри. НАМЪ: новая славяно-иранская лексическая изоглосса // ВЯ. 2003. № 4.
- ПрЯз – В.Н. Топоров. Прусский язык. Словарь. Т. 1 (А–D), 2 (E–H), 3 (I–K), 4 (K–L), 5 (L). М., 1975–1990.
- Топоров 1963 – В.Н. Топоров. Исследования по балтийской этимологии (1957–1961) // Этимология. Исследования по русскому и другим языкам. М., 1963.
- Топоров 1973 – В.Н. Топоров. Из индоевропейской этимологии // Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973.
- Топоров 1979 – В.Н. Топоров. К семантике троичности (слав. *trizna и др.) // Этимология 1977. М., 1979.
- Трубачев 1980 – О.Н. Трубачев. Из балто-славянских этимологий. Этимология 1978. М., 1980.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Вып. 1–. М., 1974 –.
- Helimski 2007 – E. Helimski. Marginalia ad UEW. Notizen eines ständigen Benutzers und harten Kritikers zu K. Rédei's «Uralisches Etymologisches Wörterbuch». Hamburg (неоконченная рукопись, готовится к публикации; см. на сайте www.helimski.com).
- Smoczyński – W. Smoczyński Litewskie wyrazy typu *iñdas*, *āpstas* oraz typu *sañdas* // Балто-славянские исследования 1998–1999. М., 2000.
- SSA 1 – Suomen sanojen alkuperä. Etimologinen sanakirja. A–K. Helsinki, 2001.

А.Е. Аникин

Индоевропейская программа Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе поражает своей активностью. Ежегодно (в течение 20 лет) проводятся конференции по индоевропеистике, которые затем регулярно воплощаются в conference volumes; кроме этого, выходят и сборники работ сотрудников программы (в настоящее время опубликованы два выпуска¹). В рецензируемом сборнике, как всегда, статьи авторитетных специалистов соседствуют с публикациями молодых докторантов.

В статье Ш. де Ламбертери «Сравнение и реконструкция» затрагивается старый, как сама компаративистика, вопрос о границах применения сравнительного метода и реальности реконструкции. Автор рассматривает в этой связи три проблемы, оказывающиеся взаимосвязанными: количественный аблаут в и.-е. **sauso-* 'сухой', развитие индоиранских аспиратов из сочетания непридыхательных согласных с ларингалами, и закон Винтера в балто-славянском. Корень, традиционно реконструированный как **sauso-/suso-* (ср. слав. *соуѣ*, но *съхнѣти*, лит. *saĩsas/sũsti*, лтш. *sàuss/sust*) может иметь вид **H₂-sus-/* (> **ahu-* > греч. *αῦος*, гомер. *αῦος*). По мнению предложившего такую реконструкцию А. Лубоцкого [Lubotsky 1985], это доказывают следующие аргументы. 1) Наличие у Гомера прилагательного *αὐστειλέος* (Od. XIX 327) с анлаутом *αῦ*, архетип **ah₂v* < **Hsus-*. Дифтонг в начале прилагательного *αῦος* объясняется исчезновением хиатуса перед другим хиатусом. 2) Архетип **sauso-* должен был развиваться в прагреческом в **hahFo-*; в эолийском такой кластер закономерно отразился бы как *αῦος*, но в аттическом – не как *αῦος*. 0 ступень вокализма дает закономерные рефлексy. Автор полагает, что она (вместо обычной *o*) могла развиваться по аналогии с глаголом [возможно, отразившимся в *ἄφ'αυεῖ* 'мучает жаждой' – (Arist. Equit. 394)]. Ср. приведенные выше балтийские и славянские пары².

При реконструкции индоиранских аспиратов возникает следующая проблема: аспирированные согласные, возникшие из сочетания смычных с ларингалом, соответствуют простым греческим (**p_hlH-ú* > *prthú* = *πλάτῡς* 'широкий'), но перед согласными после такой группы развивается вокальный призвук

(**dhugH-tér* > *duhitár* = *θυγάτηρ* 'дочь'). После сонорных такой призвук вполне закономерен (**génH-tor* > *jánitar* = *γενέτωρ* 'родитель'), но его появление после смычного говорит о своего рода «двойном рефлексе» ларингала: в виде аспирации и призвука. Здесь предлагаются три стадии трансформации рассматриваемого сочетания: 1) вокализация ларингала (**stH^oto-*); 2) падение его консонантной части в большинстве и.-е. языков после отделения анатолийской ветви (**st_htó-* > лат. *stātus*, греч. *στατός*); 3) сохранение одновременно вокальной и консонантной части ларингала в индоиранских языках (*shitah* как итог этого процесса).

Закон Винтера имеет ряд исключений; однако, по Ш. де Ламбертери, эти исключения объясняются привходящими факторами. Так, отсутствие действия этого закона в о.-слав. **vodā* можно объяснить тем, что в литовском этот корень назализован (*vanduō*). Другие исключения из закона Винтера объясняются развитием долготных альтернатив в праиндоевропейском (слав. *іасѣ* – *іедимѣ* = лат. *ēst* 'он ест' – *ēdo* 'я ем'³). По мнению автора, исключения из закона Винтера носят характер, аналогичный колебаниям *centum/satəm*. Отметим в этой связи работы Ф. Кортландта [Kortlandt 1978], который связывал действие закона Винтера с «глоттальной» теорией: переход глоттальных в звонкие сопровождался удлинением согласных. Но надо учесть, что закон Винтера признан не всеми лингвистами [Трубачев 1986]. Впрочем, проблема *centum/satəm* вызывала еще больше дискуссий.

² Некоторая спорность этого примера заключается в том, что в балто-славянских языках 0 ступень, как правило, наличествует у непереходных глаголов, как и в примерах де Ламбертери. Они образуют суффиксальные или инфиксальные презенсы и корневые претериты. В древнегреческом им соответствуют назальные презенсы с тематическими аористами с 0 ступенью корневого вокализма. Глагол же *ἄφ'αυεῖ* в приведенном контексте переходен. Впрочем, и в литовском, и в древнегреческом есть группа переходных глаголов с 0 ступенью корня: *βλάπτω* 'вредить' < **mlg-i^e/o-*, *sũkti* 'вертеть' (= *съкати*).

³ Пример не очень удачен, так как латинское удлинение возникло по закону Лахманна. Впрочем, имеются работы, связывающие долготу *e* в этом корне с его морфологией [Kümmel 1998].

¹ Отклик на труды X Лос-Анджелесской конференции (1999) и первый выпуск «Indo-European studies» см. в [Красухин 2002].

М. Фрэзер («Ударение атематических имен в ведическом санскрите и его развитие из праиндоевропейского») рассматривает ведический именной акцент в терминах «теории оптимальности», вводя следующие категории: *Max* (сохранение основного корневого акцента), *Op-Dep* (отсутствие основного акцента), *Align* (фиксация акцента на определенной морфеме; здесь различаются пре-, пост- и акцентные морфемы). Говоря о передвижении акцента, автор отмечает, что в окситонированных формах («слабых» падежах и числах) детерминирована флексия, так как именно она придает дополнительное значение словоформе. Это бесспорно, и отмечалось достаточно давно [Erhart 1975]; отсюда, что лингвист, стоящий на «эрлангенских» позициях, отмечает это: большинство представителей этой школы игнорируют морфосемантическое значение акцента. Однако в настоящее время можно дать более точное определение этой детерминированности. В генитиве и дативе она выражает подчиненность, семантическую производность, принадлежность. Формы же множественного числа отличаются от единственного производностью морфологической, т.е. здесь флексия имеет, если можно так выразиться, сугубо детерминирующий характер⁴. Применение «теории оптимальности» приводит автора к мысли о том, что существуют имена с лексическим акцентом, который приводит к иммобилизации ударения. Под лексическим акцентом автор подразумевает (со ссылкой на [Alderete 1999]) неподвижное корневое ударение или, в иной терминологии, доминантный корневой акцент. У имен, лишенных лексического ударения, акцент мобилен и передвигается, в частности, на «детерминирующую» флексию. К аналогичным выводам пришел Г. Кейдана [Keydana 2005], чья работа автором не упоминается. Г. Кейдана опирается на данные типологии. На уровне морфем аналогичную теорию построил В. Хок [Hock 1993–1994]. С его точки зрения, морфемы делятся на акцентные, пре- и постакцентные. Их комбинация и обуслов-

⁴ См. [Красухин 2005] об аблауте и акценте в именном склонении. Окончания мн. ч. в индоевропейских языках моложе, чем ед. ч. [Тронский 1946]; их сформировало передвижение акцента в ту эпоху, когда оно играло только детерминирующую роль. Передвижение же акцента в единственном числе создает грамматические оппозиции, объединяемые в единую категорию аблаутно-акцентной парадигмы (ААП).

ливает место ударения⁵. Рецензент, однако, полагает, что изначально все атематические имена имели подвижный акцент. Иммобилизация произошла в тематических именах и близких им по морфологии именах на *ā-* (**eH-*), *-ī-* (**iH-*). Затем в этот процесс втянулись основы на *-i-*, *-u-* и плавные. Затем неподвижный акцент приобрели многосложные имена, причем этот процесс в греческом более последователен, чем в древнеиндийском. Таким образом, многие выводы М. Фрейзера выглядят убедительно, но не вполне понятно, что же нового вносит теория оптимальности в рассматриваемую проблему. В качестве примера адекватного применения теории можно указать на статью Р. Люр [Lühr 2002], где с помощью теории оптимальности рассмотрены правила ударения в древнеиндийских композитах и сделана попытка объяснить исключения из них.

Р. Ким рассматривает классы тохарских глаголов, образованных суффиксом **-io-*. Так, XII класс с суффиксом *-ññ-* – это деноминативы (3 pl. med. *lareññentär* ‘они любят’ – *lāre* ‘дорогой’). Этот класс давно сравнивался с греческими глаголами типа ὀνομα ‘имя’ – ὀνομαίνω ‘называть’. Автор отмечает при этом и некоторые неотыменные глаголы: тох. В / *mānteññ-³/* ‘разрушать’ и некоторые другие. Такие глаголы Р. Ким считает назальными презенсами от корней *set*, подобными др.-инд. *gr̥bhāyāti* ‘хватать’ (йотовый производный от *gr̥bhnāti*: **gr̥bhnéH-/gr̥bhnH-ié-*); и упомянутый тохарский глагол находит параллель в др.-инд. *mathāyāti* ‘отрывать’ (презенс IX класса *mathnāti*)⁶. Автор также рассматривает и другие презенсы на **-io-*: тох. В. /*šeräy-³/* ‘охотиться’ (< **keruvo-yé-* < **keruvo-* ‘олень’⁷). Этот глагол сопоставим с др.-инд. *devayāti* ‘поклоняться богу’ (*deváh*), греч. φιλέω ‘любить’ (φίλος). В тохарском он отразился в форме субъюнктивов IV. Основа с

⁵ В. Хок по сути экстраполирует на праиндоевропейский уровень славянскую модель, представленную в трудах В.А. Дыбо.

⁶ Согласно А. Ван Виндекенсу [Van Windekens 1976: 216], тохарский глагол происходит от имени **mānkt* ‘perte, privation, subjugation’, воспроизводящего и.-е. **monk-t*. Вообще, все глаголы, упоминаемые у Р. Кима, определены у Ван Виндекенса как отыменные, у которых в некоторых случаях имя не засвидетельствовано.

⁷ Это принципиально новая этимология; у Ван Виндекенса [Van Windekens 1976: 456] приводятся гадательные сближения с и.-е. **gher-* ‘хватать’, гот. *qairu* ‘pieu’ и т.д.

суффиксом **éie-* ярче всего отразилась в тох. А *mely-*, В *malyw-* 'молоть', сопоставимом с гот. *ga-malwjan*. Статья Р. Кима – первая в литературе попытка рассмотреть все рефлексy глагольного суффикса **i^e/o-* в тохарском. Отметим, что некоторые рассмотренные Р. Кимом глаголы демонстрируют унаследованную 0 ступень вокализма: инфинитив *wsitsi* 'длиться, покоиться' наряду с презенсом IX класса *wsassām* и вариантами корня *wās-* отражает и.-е. **us-* (**uas-* 'быть, жить, протекать', ср. гот. *wisan*) [Van Windekens 1976: 456]. И 0 ступень находит параллель в др.-инд. пассиве *usyáte* (*vásati* 'жить'). В тохарском глаголе мы видим следы той же ступени при суффиксе **-i^e/o-*⁸.

Х.Х. Хок рассматривает апокопу **i#* в славянских языках. Как следствие этого процесса рассматриваются: окончание тв. п. ед. ч. основ на *ā-*: *-olj* (в основах на *i*, *-u*: *-ьмь*, *-ьмь* нет апокопы), 3 л. глагола *тъ/-0*, также в окончании 1 л. тематических глаголов *-ж* (отсутствует в атематических: *ієсмь*, *имамь*). Окончание *тъ*, по мнению автора, отражает и.-е. «первичное» **-ti#* с анаптиксой **-ъ*. В глаголе процесс апокопы **-i* более последователен, чем в имени. Автор это связывает с фразовым ударением: глагол чаще оказывался в абсолютном конце предложения, следовательно, его последний слог был устойчиво безударным⁹. Х.Х. Хок сравнивает этот процесс с редукцией конечных гласных в итало-кельтских языках: **vrtēti* > лат. *vertit*, слав. *врѣтумь*; **bhēreti* > др.-ирл. *berid* (абсолютное спряжение, глагол в начале предложения) / *'beir* (связное спряжение, глагол в безударной позиции), слав. *береть* (неапокопированный глагол) / *бере* (апокопированный) / *береть* (апокопа + новое расширение). Иными словами, автор реконструирует и для праславянского глагола ударение типа древнелатинского или древнеирландского: силовое и неконечноударное. Наличие и роль фразового ударения в древнеславянском подтверждается независимыми исследованиями ([Зализняк 2008]; о законе Вакернагеля; ср. [Николаева 2008]). Такое

ударение могло по времени предшествовать чисто тоновому, традиционно восстанавливаемому для праславянского. Отметим, что в латыни синкопа конечного **i* действительно связана с безударностью, тогда как изначально ударный гласный изменялся, но не отпадал: *et* = греч. *ἔτι*, др.-инд. *áti*, но *ante* = греч. *ἄντι* [Vine 2006]. В фонетическом объяснении оппозиции *тъ/-тъ* Хок во многом следует Мейе [Мейе 1951: 261], предполагавшим позиционную утрату мягкости. Но колебания *тъ/-тъ/-0* в славянских языках находят и иное объяснение, широко обсуждающееся в русскоязычной литературе (не использованной Х.Х. Хоком). Ф.Ф. Фортунатов [Фортунатов 1908] высказал предположение, что окончание *тъ* происходит из постпозитивного местоимения: *дѣлаіемъ* ~ *dirba-tas*. Развивая идеи Фортунатова, С.П. Обнорский [Обнорский 1953] показал, что глаголы с 0 окончанием в северо-западных говорах, как правило, ослаблены функционально (новый материал см. в [Рыко 2000]; критику теории Мейе и поддержку Фортунатова см. в [Кузнецов 1961: 101–102]). Окончание *тъ* (происходящее из и.-е. «первичного») встречается не только в презенсах, но и аористах: *бе*, как правило выполняет роль связки, *бысть* – глагола существования. Все это говорит о том, что окончания *тъ/-тъ*, будучи изофункциональными, противопоставлялись нулевому как эмфатические неэмфатическому. Окончание *тъ/-тъ* встречается и в аористах: аорист *бе* обозначал существование или служил связкой, тогда как *бысть* передавал греч. *ἐγένετο*, т. е. выражал момент становления. Отметим также идею А. Вайяна [Vaillant 1966: 31] о возможном исконно 0 окончании в тематических глаголах: слав. *несе* = лит. *neša*; это говорит в пользу прономинального происхождения *тъ*.

М. Беквис рассматривает надпись из Торторы (Южная Италия), написанную на пиценском языке. Форма перфекта *opsúd* (3 sg.), обнаруженная в ней, корреспондирует с латинским *operari*, оскским *úpsed/upsed* 'он сделал' 3 Sg (3 pl. *uupsens*). В других надписях встречаются перфекты от корня **steH-* (**stā-*): *adstaeoms* (1 pl.), *adstaiúh* (3 pl.) и некоторые другие. Автор рассматривает в этой связи систему образования итальянских перфектов. В частности, сложен вопрос о долготе / краткости гласного в оскском претерите: вышеприведенные колебания в написании первого гласного могут отражать **ō/ō̄*. По мнению М. Беквиса, этот вопрос не имеет однозначного решения. Попутно отмечается, что такой вариант корня встречается только в итальянском. Здесь, однако, необходим комментарий. Глагол с корнем **er-* 'брат; действовать' за-

⁸ Выступление И. Сержанта на XII Международной конференции Индогерманского общества (Зальцбург, 22.IX.2008) было посвящено сопоставлению именно тохарских конъюнктивов и презенсов IV класса с древнеиндийскими глаголами на *ya-*.

⁹ Отметим в этой связи, что самая безударная позиция глагола – сразу после подлежащего, куда он перемещается в утвердительных предложениях. Это подробно рассмотрено в [Wackernagel 1892: 93–103].

свидетельствован в хеттском *epzi*, также в греч. ἐπί, др.-инд. *apí* 'при' (локатив корневого имени), также *ōpi* 'позади' (то же со ступенью *o*). Др.-инд. *āpas* 'дело' / *apās* 'деятельный' также сравниваются с лат. *opus*, от которого произведено *operari*. Перед нами корень, который трудно реконструировать как **H₃ep-* (> **op-*). Хеттский глагол иногда сравнивается с лат. *apiscor* 'воспринимать', где *a-* может быть рефлексом слогового ларингала. С другой стороны, Беквис сочувственно цитирует мнение Г. Рикса, высказанное в [LIV 2001: 265] о наличии в итальянских языках двух основ рассматриваемого корня: отыменного презенса **opesa-* (помимо *operari* от него образован оскский герундив *upsannam* 'орегандам') и аориста **op-s-*, однако отмечает, что и Рикс не дал удовлетворительного объяснения долготе первого слога. Можно предположить, что это контаминированная форма с перфектной долготой (< редупликацией) и аористным суффиксом. Что же касается претеритов от корня **steH-*, то они репрезентируют основу /*staē*/, как и оск. *staief* 'они стояли'. Автор полагает, что этот корень в различных итальянских языках образовал самые разнообразные типы презенса и претерита, в которых отразились контаминации различных глагольных классов. С ними он и сравнивает рефлекс корня **op-*. На базе **opesa-/opso-* под влиянием **staio-/staeo-* мог сформироваться вариант **op-sao-/opso-*, отраженный в оскском и пиценском.

М. Кюммель посвятил свою статью 3 л. мн. ч. перфекта в архаической латыни. Автор исходит из сохранения здесь следов как аориста (в формах типа *feked*), так и перфекта (*fuveit*), о чем говорил еще Я. Сафаревич [Safarewicz 1967]. При этом *t* в форме перфекта вторично. Конечное **-t* в итальянских языках ослабевало: это проявлялось сначала в озвончении, затем в отпадении. Флексии *rol-ront* зафиксированы в архаической латыни (к статье предложен подробный список соответствующих форм). По мнению автора, невозможно утверждать позднее отпадение *-t#*; оно происходило в дописьменный период латинского языка. Ослабленное *-t*, как отмечает и М. Блеквис, превращаясь в **-d*, затем отпадало после краткого гласного и *n-*. Но возникает вопрос о причастном суффиксе **-nt-*. У причастий среднего рода с 0 флексией он превращается в **-ns*, что вызывает в памяти окончание 3 л. мн. ч. оскского претерита *-ns* (< **-nt#*). Вопрос о кластере **-nt#* в итальянских языках требует дальнейшего изучения.

В работе Б.А. Олсен речь идет о трех фонетических процессах в латинском языке. И.-е. **#ul-* по-разному отражается в латыни: *vol-* и *lu-*; это демонстрируют *lupus* (< **ul^ukos*)

и *volup-tas* (< **ulp-t*). По мнению автора, оба имени этимологически связаны, и в качестве *tertium comparationis* выступает лат. *lupa* в значении «проститутка» (автор сравнивает это с англ. *bitch*, ново-греч. σκύλα, дословно «сука»). Кластер **ul-* > *lu-* представлен также в *luscus* 'кривой' (по этимологии автора **ulid-skuo-s* 'лице-затемненный': гот. *wlits* 'лицо' + **sku-* в лат. *ob-scu-rus* 'темный, сумрачный'). Переход **ul-* > *lu-* просматривается и в греческом: λύκος 'волк', λυγίζω 'вертеть'. С точки зрения Б.А. Олсен, он возможен в некоторых индоевропейских языках в первом слоге. Замечу, что предложенные этимологии можно оспорить. Так, *volup-* естественно сравнить с др.-инд. *vrñāti* 'выбирать', а *luscus* (**ul-sko-*) – с *vulnus* 'рана', греч. ὄλλυμι 'губить'. Это, однако, не отрицает предложенного фонетического изменения.

Другая фонетическая закономерность прослеживается на именах *amārus* 'горький', *avārus* 'жадный'. Сравнение с др.-инд. *amla-* 'кислый', греч. ὠμός 'сырой' наводит на мысль о корне **H₁rH₃-*. Такой комплекс фонем должен был дать либо **amros* (полная ступень вокализма корня), либо **māros* (полная ступень суффикса). Засвидетельствованные же формы суть контаминации, причем *avarus* могло сформироваться под влиянием глагола *avēre*. Третий процесс – эпентеза *-p-* между носовым и плавным: **ex-em-lom* > *exemplum*. По мнению автора, эта закономерность проясняет этимологию лат. *templum* 'храм' < **-tlom* (**temə* 'резать', ср. греч. τέμενος 'участок при храме', образованное от того же корня; этимологически – 'отрезанное'). И здесь можно предложить иную этимологию, сравнив данную лексему с лит. *tempti* 'тянуть', *tiñklas* 'сеть'. Последнее, несмотря на разницу в значениях, может реализовать ту же цепочку морфем: **tmp-tlóm*¹⁰. Попутно замечу, что **temp-* 'тянуть', возможно, присутствует в имени *tempus* 'время'.

К. Мельцерт («Новый взгляд на хеттский стих и метр?») рассматривает хеттские песни KUB 30. 36; 30 33 (так называемый «Ритуал из Ирии»). Заменяя шумеро- и аккадограммы на (нередко реконструируемые) хеттские чтения, автор восстанавливает текст песни, сравнивая ее со знаменитой «Песней Несы о саване».

¹⁰ Утеря среднего рода произошла в дописьменном литовском (см., к примеру [Scholz 1983]). Имя *tiñklas* спрягается по второй и четвертой а. п., отражая тем самым переход из окситонного прилагательного или имени деятеля в баритонное существительное – имя результата.

Казухико Йосида («Некоторые нерегулярные медиопассивы в хеттском») рассматривает окончание 3 л. медиопассива *-aittari*, выглядящее как отступление от нормы (дифтонг *-ai* перед собственно флексией). По мнению автора, это – позднее явление, зафиксированное только у следующих глаголов: *lagāittari* (гапакс, *lagāri* ‘лежать’), *ishuaittat* (3 sg. претерита, *ishuuai-* ‘разбрасывать’), *siiēttari* (*sai/siia-* ‘разбрасывать’). Автор связывает этот дифтонг с тем, что все эти глаголы изначально относились к спряжению на *-hi*; ударение в *hi*-медиопассиве стоит на тематическом гласном (*lagāri*, *ishuuāri*, *siiāri*); аномально окончание и у *lahuttari/lahuuattari* ‘литься’. Все эти явления связаны с судьбой ударных гласных в ново-хеттский период. Прибавим к этому, что в данном случае мы имеем дело с не очень продуктивной тенденцией: из 18 глаголов на *-hi* с ударным тематическим гласным (см. [Neu 1968]) подобная аномальная флексия образовалась только у трех.

А. Меркадо исследует метр и ритм заглавной лидийской надписи. Автор полагает, что текст написан силлабическим размером. Реконструкция его выглядит так: 7-, 9-, 10-, 11-сложники с цезурой и 1–2 ударениями в первом полустихе, 2–4 – во втором. Такая схема заставляет предположить, что перед нами скорее ритмизированная проза, чем стих.

И.Э. Расмуссен рассматривает возможные рефлексы *H₁* в иероглифическом лувийском. Объектом полемики является статья А. Клухорста [Kloekhorst 2004], в которой доказывается, что **H₁* отразилось в данном языке как *a*. По мнению же Расмуссена, этот вывод основан на определенных пресуппозициях о развитии ларингалов в гортанную смычку и вокализации ее в *a*. Датский исследователь полагает, что **H₁* являлся наиболее слабо произносимым ларингалом, поэтому превращение его в смычный едва ли возможно. Иероглиф 19 (по Ларошу), или 17 (по Мериджи) он, в отличие от Клухорста, читает как *e*. Попутно отмечу, что реконструкция притяжательного местоимения 1 л. с анлаутом **Hm-*, упоминаемая в статье, лишена основания. Такие формы, как греч. ἔμός, арм. *im* ‘мой’ суть ареальные инновации – аналогическое развитие под влиянием диалектного **egō* (> греч. ἐγώ, арм. *es*). Расмуссен с полным основанием (с. 163) утверждает вторичность начального *a-* и в анатолийских языках.

М. Бочварова («Накопление суффиксов и генитивные прилагательные в хурритском, тирренском и анатолийских языках») обращается к общим ареально-типологическим чертам названных языков. По ее мнению, тиррено-этрусские языки, до того, как их носители

переселились в Европу, составили языковой союз с языками Анатолии. Приметами этого союза являются: силовое ударение и оппозиция напряженных/ненапряженных согласных, набор гласных¹¹; скудость системы времен, притяжательные прилагательные, агглютинация, «накопление суффиксов» (т. наз. *Suffixaufnahme*), порядок слов SOV. «Накопление суффиксов» заключается в том, что посессивные имена согласуются с определениями, и при склонении последних получают те же падежные окончания. Автор полагает, что именно под влиянием этрусского анатолийские языки (за исключением хеттского) развили богатую систему притяжательных прилагательных. Некоторые генитивно-адъективные суффиксы анатолийских языков и формально совпадают с этрусской формой так называемого генитива I: этр. *-l* – лид. *-l*, лик. *-λ* (по мнению автора, палатализованное **-l*), хетт. местоименное *-el*. Автор, однако, с полным основанием отмечает, что притяжательные прилагательные развились благодаря дефекту тематической парадигмы. Дело в том, что номинатив **-os* формально совпадал с окончанием атематического генитива; поэтому в различных индоевропейских языках появлялись различные формы тематического генитива: **-osio* (греко-арийский, итальянский ареалы), **-oso* (греческий, германо-балтийский). М. Бочварова подробно рассматривает различные типы генитивов в анатолийских языках. Очевидно, что ареальное воздействие в данном случае усилило те черты, которые зарождались на праиндоевропейской почве. Об этом свидетельствует развитие посессивов в латыни и особенно в церковнославянском (см. [Трубецкой 1987]).

Джоанна Николс рассматривает типологию праиндоевропейского в географическом ракурсе, уточняя какие именно черты и в каком регионе более распространены. Автор учитывает наличие 21 различных признаков в 39 языках разных семей Севера и Юга Евразии. Согласно проведенному исследованию, праиндоевропейский обладал типичными чертами северного евразийского языка: номинативной конструкцией, отсутствием множественного согласования (именно этому была посвящена статья М. Бочваровой), отсутстви-

¹¹ Автор имеет в виду отсутствие *o*; но для анатолийских языков, пользующихся вариантом аккадского письма это трудно доказать при отсутствии соответствующей графемы. Что же касается силового ударения, то оно явно унаследовано анатолийскими языками от общеиндоевропейского состояния.

ем проклитик и развитой системой энклитик, отсутствием дативного субъекта¹², маркировкой причастия, а не топики и т. д. (18 северных черт, 3 южных). В отдельных индоевропейских языках и группах могут под влиянием развиваться и чуждые праязыку типологические черты (например, эргативообразные конструкции в хеттском, новых индийских и иранских языках), но важно помнить, что это именно инновации. Это должно учитываться при определении индоевропейской прародины и реконструкции путей миграции индоевропейских племен.

В целом сборник, как и предшествующие, производит очень хорошее впечатление. Он свидетельствует о том, что индоевропеистика и в США, и в Европе находится на подъеме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Зализняк 2008 – А.А. Зализняк. Древнерусские энклитики. М., 2008.
- Красухин 2002 – К.Г. Красухин. Новая американская литература по индоевропеистике // Вопросы филологии. 2002. № 2.
- Красухин 2005 – К.Г. Красухин. Очерки по реконструкции индоевропейского синтаксиса. М., 2005.
- Кузнецов 1961 – П.С. Кузнецов. Очерки по морфологии праславянского языка. М., 1961.
- Мейе 1951 – А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951.
- Николаева 2008 – Т.М. Николаева. Непарадигматическая лингвистика (История блуждающих частиц). М., 2008.
- Обнорский 1953 – С.П. Обнорский. Очерки по морфологии русского глагола. М.; Л., 1953.
- Рыко 2000 – А.И. Рыко. Семантическое распределение 3-го л. презенса // Балто-славянские исследования 1998–1999. Вып. XVI. М., 2000.
- Тронский 1946 – И.М. Тронский. Семантика единственного и множественного числа в древнегреческом и латыни // Вестник ЛГУ. 1946. Т. 16.
- Трубачев 1986 – О.Н. Трубачев. Примечания // М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. 2 изд., стереотипное. Т. 2. М., 1986.
- Трубецкой 1987 – Н.С. Трубецкой. О притяжательных прилагательных в церковнославян-

ском // Н.С. Трубецкой. Избранные труды. М., 1987.

- Фортунатов 1908 – Ф.Ф. Фортунатов. Старославянское -тъ в 3 лице глаголов // Изв. ИОРЯС. Т. IV. 1908.
- Alderete 1999 – J. Alderete. Morphologically governed accent in optimality theory: Doctoral dissertation. University of Massachusetts. 1999.
- Erhart 1975 – A. Erhart. Der indoeuropäische Akzent und seine Funktionen // SPFFUB. 1975.
- Hock 1993–1994 – W. Hock. Der indogermanische Flexionsakzent und die morphologische Akzentkonzeption // MSS. 1993–1994. Hft. 54.
- Keydana 2005 – G. Keydana. Indogermanische Akzenttypen und die Grenzen der Rekonstruktion // Historische Sprachforschung. Bd. 118. 2005.
- Kloekhorst 2004 – A. Kloekhorst. Position of *h₁ in hieroglyphic Luvian: Two separate a-signs // Historische Sprachforschung. Bd. 117. 2004.
- Kortlandt 1978 – F. Kortlandt. Proto-Indo-European obstruents // IF. Bd. 83. 1978.
- Kümmel 1998 – M. Kümmel. Würzelprasens neben Würzelaorist im Indogermanischen // Historische Sprachforschung. Bd. 111. 1998.
- Kurzova 1999 – H. Kurzowa. Syntax in Indo-European morphosyntactic type // Language change and typological variation: In honor of W.P. Lehmann on the occasion of his 83-rd birthday. V. II: Grammatical universals and typology. Washington, 1999.
- LIV 2001 – Lexicon der indogermanischen Verben / Hrsg. von H. Rix. Aufl. 2. Wiesbaden, 2001.
- Lubotsky 1985 – A. Lubotsky. The PIE word for 'dry' // Zeitschrift für vergleichenden Sprachforschung. Bd. 98. 1985.
- Lühr 2002 – R. Lühr. Contrastive word stress in Vedic endo- and exocentric compounds // MSS. Bd. 39. 2002.
- Neu 1968 – E. Neu. Interpretation der hethitischen mediopassiven Verbalformen. Wiesbaden, 1968.
- Safarewicz 1967 – J. Safarewicz. Sur les desinences verbales en grec et en latin // J. Safarewicz. Studia jazykoznawcze. Warszawa, 1967.
- Scholz 1983 – F. Scholz. Der Verlust des Neutrums im Baltischen und seine Folge // Baltistica. V. XX (2). 1983.
- Vaillant 1966 – A. Vaillant. Grammaire comparee des langues slaves. Paris, 1966.
- Van Windekens 1976 – A. Van Windekens. Le tocharien confronté avec les autres langues indoeuropéennes. V. I: La phonétique et le vocabulaire. Leuven, 1976.
- Vine 2006 – B. Vine. On Thurneysen-Havet's law in Latin and Italic // Historische Sprachforschung. Bd. 119. 2006.
- Wackernagel 1892 – J. Wackernagel. Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung // IF. Bd. I. 1892.

¹² Субъект в дативе появляется во многих индоевропейских языках: лат. *mihi videtur* = лит. *mán rōdosi* = греч. *δοκέει μοι* = русск. *мне кажется*. Но это, по-видимому, черта, развившаяся параллельно в отдельных ветвях и.-е. семьи как развитие универсальных свойств безличного глагола. Она может рассматриваться как отступление от типа SAE (standard average European) [Kurzova 2000].

Рецензируемое исследование существенно отличается от часто встречающихся фонетических и фонологических описаний славянских диалектов благодаря тем лингвистическим задачам, которые поставили перед собой авторы, и подходам к собранному в 80-х гг. XX в. материалу. В данном случае была поставлена цель создать синхронную модель фонетической/фонологической системы диалекта как языкового идиома. Такая цель могла быть реализована лишь на основе материала, всесторонне отражающего особенности звукового строя диалекта. Для этого авторами была составлена специальная программа обследования диалекта, которая давала максимальную возможность выявить правила сочетания в последовательности гласных, согласных друг с другом и паузой (предшествующей и последующей), что явилось основой для последующей парадигматической интерпретации фонетических фактов. Предложенный тип описания фонетики диалекта исключает традиционно распространенный дифференциальный подход к явлениям диалекта.

Диалекты исследовались на фоне определенной социально-языковой ситуации. В данном случае это очень важно, поскольку предметом изучения являются восточно-болгарские подбалканские говоры села Кортен (КН) Старо-Загорского района Болгарии и села Кирютня (КЯ) в Чадыр-Лунгском районе Республики Молдовы, жители которого в 1828 г., после очередной войны России с Турцией получили возможность покинуть село Кортен и переселиться в Бессарабию, бывшую тогда частью Российской империи. Фактически речь идет о говоре одного села, жители которого волею исторических судеб почти два века тому назад разделились на две части и оказались в различных социально-языковых ситуациях.

Село КН продолжало существовать в родной стране, окруженное родственными болгарскими диалектами, жители которого затем в определенной мере владели болгарским литературным языком благодаря школьному обучению; в этих условиях могло существовать свойственное балканским этносам дву- и многоязычие, но оно уже не играло существенной роли в стране, где главенствующей была болгарская нация и официальным государственным языком был болгарский литературный язык.

Носители того же болгарского диалекта в селе КЯ оказались в полиэтнической среде наряду с молдаванами, украинцами, русскими,

возможно, и гагаузами (эта лексема не раз встречается в фонетических материалах книги), хотя по соседству проживали и носители других болгарских говоров, переселившиеся в тот же исторический период с родины в Российскую империю. Жителей села КЯ окружала типичная балканская социально-языковая ситуация многоязычия, главенства неродного государственного языка (русского) с возможностью обучения грамоте только на этом языке. Впрочем, все это в принципе соответствовало многовековому укладу балканских этносов, привычному для них, и, следовательно, балканской языковой картине мира. Как отмечают авторы, «практически все носители диалекта КЯ владеют двумя (болгарский, русский) или тремя и более (болгарский, русский, молдавский, украинский) языками. Для КЯ отсутствует контакт с болгарским литературным языком и, соответственно, влияние кодифицированной нормы на диалект» (с. 15).

Обращаясь к синхронному описанию диалекта как языковой системы, авторы ставят задачу определить на фонетическом уровне такие показатели системы, как правила сочетания и чередования звуков и фонематических единиц, правила нейтрализации фонемных оппозиций, распределение фонематических единиц по позиционным наборам. Для структурной классификации славянских диалектов на фонетическом уровне это является актуальной задачей, поскольку подобных исследований в данной области мало и «по существу отсутствует развернутое представление о синхронном структурном сходстве и различии между славянскими диалектами» (с. 11). Конечно, хорошо было бы исследовать синхронную структуру диалектов и на уровне других компонентов системы языка, в частности, на грамматическом уровне, но уже и столь глубокое синхронное исследование диалекта на фонетическом уровне, проведенное авторами книги, дает достаточное представление о системе языка (диалекта). А подобные исследования других современных славянских диалектов могли бы дать при сопоставлении развернутую в пространстве картину их диахронического развития.

Синхронное сопоставление двух болгарских диалектов (КН и КЯ) помогает выяснению вопросов зависимости существования говора от конкретной языковой ситуации, а именно: 1) какие черты звукового строя диалекта являются наиболее стабильными, а какие наиболее подвержены изменениям; 2) какие изменения в говоре являются следствием

воздействия экстралингвистической ситуации, а какие – результатом внутреннего развития. Следует признать очень удачным выбор именно данных болгарских говоров в качестве материала для решения поставленных в исследовании задач.

В работе представлен фонетический, а затем и фонологический анализ. Фонетический анализ проводится в рамках сегмента, соответствующего словоформе, в том числе сочетания словоформы с клитиками. Различие между фонемами определяется не качеством реализующих звуков, а системной оппозицией, в которой фонемы участвуют. Согласно принципам Московской фонологической школы, рамочной конструкцией, в пределах которой констатируется фонемное тождество позиционно различающихся звуков, является морфема. Однако реализованная в работе процедура анализа фонетики диалекта отличается от принципов МФШ, касающихся интерпретации фонематических единиц, включенных в позиционно сокращенные наборы звуков.

Сущность предлагаемой фонологической модели, сводится к следующему: 1) в позиционно сокращенных наборах звуков реализуются фонематические элементы, характеристика которых формируется возможностями противопоставления в данной позиции (с. 20); 2) непротивопоставленность фонетических единиц по некоторым дифференциальным признакам в позиционно укороченных наборах трактуется как результат свертывания (сокращения) характеристики в ДП отдельных фонем и, как следствие этого, особая организация того фрагмента системы, который занят этими фонемами. Нейтрализация трактуется как синтагматически обусловленное устранение разности пересекающихся множеств ДП. Таким образом, нейтрализация приоритетно связана с синтагматическими запретами, а звуковое чередование, т. е. парадигматическое проявление на звуковом уровне, не является обязательным (с. 21–22). В позиции нейтрализации различие между фонемами по некоторым признакам утрачивает релевантность, и вместо двух или более фонем в этой позиции выступает один замещающий эти фонемы элемент, имеющий значение *архифонемы*. В данной работе для обозначения гласных архифонем принят принцип комбинации знаков нейтрализуемых фонем (например, архифонема /e_и/ или /и_е/ с нейтрализацией ДП 'средний подъем' у фонемы /е/ и 'верхний подъем' у фонемы /и/). Этот же принцип принят для обозначения консонантных архифонем, например, /с_х/, /т^н/.

После глав «Предисловие» и «Введение» следуют два главных раздела – «Вокализм»

(автор Т.В. Попова) и «Консонантизм» (автор Л.Э. Калнынь); в конце исследования дается раздел «Заключение».

В начале каждого из этих разделов рассматривается *синтагматика* звуков, т.е. все реальные (конкретные) случаи их употребления, а именно: в линейных сегментах – после паузы, после всех согласных, перед всеми согласными, перед гласными переднего и непреднего ряда, перед паузой; для гласных релевантна также и суперсегментная (надлинейная) позиция, поэтому все указанные сегменты рассматриваются и по отношению к ударению, т.е. в ударном и безударном слогах.

Так, в разделе «Вокализм» указывается, что каждая из перечисленных сегментных позиций имеет свой набор звуков. Например, для ударных гласных в позиции CVC – это звуки *á, ъ, ó / ъó, ú*, для безударных гласных (предударных и заударных) в этой же линейной (сегментной) фонетической позиции CVC – отмечены звуки *a, ъ, o, u*, причем обнаружено, что свободно варьируются друг с другом звуки *a* и *ъ* (*бакър* и *бъкър*, *баба* и *бабъ*), и звуки *o* и *u* (*сълу* и *съло*, *гулъм* и *голъм*). В других фонетических позициях фиксируются уже иные составы звуков (с. 78, 109).

На все особенности синтагматики гласных и согласных звуков обращается специальное внимание. Например, для гласных особо комментируется позиция после мягких согласных (т.е. C'V) и констатируется факт, что после мягких согласных в безударной позиции гласный *o* не употребляется, возможен только гласный *u* (а в предударной позиции и гласный *ü*): *з'умб'ул' / з'үмб'ул'* (но не *з'омб'ул'*), *д'ерт'уw'и, кóз'у* (но не *д'ерт'ow'и, кóз'о*) и т.п. Впрочем, приведенные в книге примеры показывают, что и после твердых согласных в безударной позиции появляется *u*, напр. *градuw'е, сълу*, хотя наряду с *u* возможен и *o* (*градow'е, съло*).

Чтобы понять причину различий в позиционных наборах гласных и согласных в разных позициях (для гласных, например, в ударном и безударном слогах, для согласных – перед паузой и перед гласным переднего ряда), исследуется *соответствие* (*эквивалентность*) *звуковых единиц* в одном и том же линейном сегменте, который входит в разные морфы одной морфемы. Например, в *грѧт* и *гра/ъдъ* отмечается соответствие гласных звуков *á ~ a/ъ* и согласных *t ~ d*; при этом устанавливаются условия, вызвавшие данные различия (в вокализме – это смена ударной позиции на безударную, в консонантизме – смена позиции перед паузой на позицию перед гласным).

При анализе звуковой синтагматики авторы исходят из того, что правила синтагматики

шире ее реализации. В соответствии с этим, незафиксированные сочетания делятся на фонетически допустимые и фонетически запрещенные (с. 17).

Синтагматический этап исследования является основой анализа чередования звуков, обусловленных наличием разных позиций (например, для гласных – позицией по отношению к ударению). При этом берутся одни и те же фонетические сегменты с учетом их принадлежности разным морфам одной и той же морфемы, т.е. вводится уже морфологический фактор (понятие тождества морфемы) для идентификации ударных и безударных гласных (или разных согласных – глухих и звонких, твердых и мягких и др.). Таким образом, путем исследования чередования звуков в разных морфах одной морфемы устанавливается их соответствие друг другу. Этот анализ объясняет, почему максимальный набор звуков, фиксируемый в определенной фонетической позиции, может быть укороченным в другой фонетической позиции. Например, в сегменте C'VC в позиции под ударением употребляются гласные звуки *á, é, ú, ó, ý, ŷ, ě*, а в том же сегменте C'VC, но в безударном слоге – гласные звуки *a / ě, u, ŷ* (реже *y*).

В разделе «Вокализм» чередования показывают: а) функциональную связь между разными звуками (ударными и безударными гласными); б) «исчезновение» некоторых ударных гласных в безударной позиции, где на месте этих ударных гласных употребляется новый «общий» безударный гласный (ср. *'ú : 'é > 'ě / 'a* в *б'ул : с'элу > б'а/ěла, с'а/ěла* – в рамках 'горизонтального' типа редукции; или *'ú : 'é > 'ě / u* в *м'эт : б'ук > м'у/ěдѣ, б'укѣ* – в рамках 'вертикального' типа редукции); 3) наличие фонетической и морфологической обусловленности большинства чередований как в КН, так и в КЯ (с. 110–135).

Раздел «Консонантизм» также начинается с анализа синтагматики согласных в словоформах, при этом особое внимание уделяется сопоставлению диалектов КН и КЯ с точки зрения 1) особенностей артикуляции отдельных согласных; 2) явлений, возникающих в сегментных последовательностях одного типа; 3) правил организации фонетической модели слова как целостной единицы (с. 190–198).

В разделе «Консонантизм» рассматриваются *позиционные чередования* согласных, различающихся участием голоса, затем – твердых и мягких согласных, чередования согласных, различающихся участием голоса и твердостью-мягкостью; чередования согласных одного локального ряда, но разного способа образования; чередования согласных одинаковых способов образования, но разных

локальных рядов; чередования согласных различающихся локальным рядом и способом образования; чередования согласных с нулем звука. Анализ позиционных чередований согласных показывает, что этот раздел консонантизма в говорах КН и КЯ организован сходным образом (с. 198–216).

На основе синтагматики звуков и их позиционных чередований в обоих разделах делаются выводы о фонологическом устройстве системы. Дается *фонологическая интерпретация* звуков и конструируется состав *фонем* и *архифонем* (в соответствии с концепцией, изложенной во «Введении»). Например, для гласных в позиции под ударением релевантно противопоставление гласных по подъему, ср.: *средний подъем : верхний подъем* для нелабиализованных гласных *é* и *ú* и для лабиализованных гласных *ó* и *ý*. В безударной позиции это противопоставление нерелевантно (вместо *é : ú* только *ě / u* или *'a / 'ě*, а вместо *ó : ý* только *o / y*). Таким образом, если в позиции под ударением гласный *é* реализует фонему / *e* / с тремя ДП (это 'средний подъем', 'передний ряд', 'нелабиализованность'), а гласный *ú* – фонему / *и* / также с тремя ДП ('верхний подъем', 'передний ряд', 'нелабиализованность'), то безударные гласные *ě / u* (при 'вертикальном' типе редукции гласных), которые имеют только два общих и для *é*, и для *ú* ДП (это 'передний ряд' и 'нелабиализованность'), реализуют архифонему / *е_л* / (или / *и_л* /): в ней дифференциальные признаки 'средний подъем : верхний подъем', противопоставляющие друг другу фонемы / *е* / и / *и* /, нейтрализованы, т. е.: *м / е_л / т : б / и_л / к > м / е_л / дѣ, б / е_л / кѣ*. Аналогичная процедура проведена и с гласными *ó, ý* и *o / y* (в *к_лум : с_лол* и *кумѣ, султѣ*, фонологически *к / у_л / м : с / о_л / л > к / у_л / мѣ, с / у_л / лѣ* (или *к / о_л / мѣ, с / о_л / лѣ*)).

В разделе «Консонантизм» устанавливаются функциональные признаки фонем, противопоставленных по локальному ряду, способу образования, участию голоса, твердости-мягкости и по назальности (с. 216–225). Затем рассматриваются консонантные архифонемы, нейтрализующие перечисленные оппозиции.

Анализ нейтрализации консонантных оппозиций в КН и КЯ позволил сделать общие выводы о типологической характеристике системы консонантизма. Нейтрализация по признакам твердости-мягкости и по звонкости-глухости распространяется на оппозиции согласных фонем всех локальных рядов; нейтрализация по месту и способу образования происходит в зоне, расположенной после губного ряда, но только у шумных и глухих, при этом из задненебных участвует только / *х* /. Специфика позиционных наборов консонант-

ных фонематических единиц в КН и КЯ оценивается как показатель стабильности и сравнительной простоты структуры консонантизма в этих говорах.

Важно, что как для синтагматического уровня устанавливаются разные позиционные составы гласных и согласных звуков, так и для фонологического уровня также устанавливаются разные позиционные наборы фонем и архифонем.

В «Заключении» авторы делают очень важные и интересные выводы, с которыми нельзя не согласиться: несмотря на различие в социально-языковых ситуациях существования говоров КН и КЯ, кардинальных фонетических различий между этими говорами не обнаружено.

Хотя говор КЯ изолирован от метрополии и подвержен разным иноязычным влияниям (дву- и многоязычие в результате контактов с русской, украинской, молдавской речью), он не является островным говором, поскольку рядом сосуществуют болгарские села, переселившиеся в свое время из Болгарии и представляющие свои различные болгарские говоры. Иноязычных элементов в фонетике говора КЯ авторы практически не отмечают, в отличие от влияний в области лексики в виде русских и румынских слов.

Сопоставление говоров КН и КЯ показывает, что они близки по своей фонетике и по устройству фонологической системы. Фундаментальная общность между этими говорами состоит в построении фонетической системы на основе одинаковых ограничений, регламентирующих начало и конец слова. Особое отношение проявляется к силе шумной артикуляции и распределению сонорности. Общими для КН и КЯ являются два типа редукции безударных гласных и редукция до нуля заударных гласных; лабиализация гласного и под влиянием соседних губных согласных; большая часть изменений в группах согласных и звуковое оформление внешнего сандхи.

Различия, в частности, имеются в артикулировании отдельных звуков, например *ѣ* и *ѓ* (в КЯ произносится *ʲѓ*), а также некоторых согласных. Авторы констатируют, что в КЯ в

фонетической модели слова признак консонантности выражен сильнее, чем в КН; приводятся примеры и других различий (с. 242–244). В КЯ расширена сфера употребления мягких согласных на конце слова за счет более широкого ассортимента согласных, чем это допустимо в КН.

В основных чертах в говорах КН и КЯ сходна модель фонологической системы по своему инвентарному составу и типам нейтрализации фонемных оппозиций. Различия проявляются в составе архифонем, что отражает расхождения между КН и КЯ в правилах сочетания мягких согласных с паузой. Неодинакова также лексическая представленность фонемы / *ъ* / после мягких согласных.

На основе синхронного описания говоров, по мнению авторов, можно считать более старым состояние фонетики, отраженное в говоре КЯ в виде употребления мягкости согласных на конце слова и большей частоте ударного гласного *ѣ* в сегменте *С'VC'*. О причинах конкретных расхождений в фонетике КН и КЯ авторы не говорят однозначно и считают, что «для прояснения ситуации соответствующие явления должны быть проанализированы в контексте динамики диалектных особенностей в рамках определенных ареалов в Болгарии» (с. 245). С этими выводами нельзя не согласиться, но, думается, неплохо было бы еще раз обратить внимание на специфику функционирования говора КЯ в действующей социально-языковой ситуации, в частности, на главенствующую роль русского языка в иерархии многоязычия. Может быть, как раз влияние русского языка могло способствовать мягкости согласных на конце слова (ср. рус. *кроф'* – КЯ *крѣф'*)?

Высказанные замечания не умаляют большой научной значимости и ценности данного диалектологического исследования, и хотелось бы, чтобы подобные исследования синхронного состояния современных славянских диалектов получили новый импульс и дальнейшее развитие.

Р.П. Усикова

Словарь ключевых слов поэзии Георгия Иванова / Сост. И.А. Тарасова. Саратов: Издательский центр «Наука», 2008. 208 с.

Словари языка писателей, созданные в последнее десятилетие, различаются по своим типологическим характеристикам, целеустановке, объему, адресату и т.д. (см. об

этом [Шестакова 2007]). Особое место среди них занимают справочники, материал которых выводит на основные категории художественного мышления описываемого автора.

Именно к ним относится опубликованный в 2008 году «Словарь ключевых слов поэзии Георгия Иванова».

Творчество Г. Иванова, ведущего поэта русской эмиграции, мало изучено в лингвистическом отношении. Нельзя, правда, сказать, что оно не было до сих пор предметом лексикографического описания. Строки поэта находим в писательских словарях сводного типа, строящихся на материале произведений большого ряда авторов. Это такие издания, как «Словарь поэтических образов» [Павлович 1999], «Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв. Вып. I: “Птицы”» [Кожевникова, Петрова 2000], «Словарь языка поэзии (образный арсенал русской лирики конца XVIII – начала XX в.)» [Иванова Н., Иванова О. 2004]. В названных словарях представлена, в определенном объеме, образная составляющая поэзии Г. Иванова (заметим, что источником «Словаря языка поэзии» послужило то же издание произведений поэта, на которое опиралась автор рецензируемого справочника). Однако они, конечно, не могут претендовать на решение задач собственно авторского словаря, в особенности нацеленного на воссоздание художественной картины мира поэта.

Выходу в свет «Словаря ключевых слов поэзии Георгия Иванова» предшествовала публикация его автором монографии «Идиостиль Георгия Иванова: когнитивный аспект» [Тарасова 2003]. Здесь, в отдельной главе «Лексикографическое описание индивидуальной концептосферы», кроме представлений о способах оформления концептуальной информации в словарях языка писателя, дается развернутое изложение принципов, легших в основу словаря ключевых слов Г. Иванова. В более кратком варианте, но с сохранением основных идей, эта часть монографии вошла в словарь в качестве Предисловия.

По своим базовым типологическим свойствам рецензируемый словарь относится к одноязычным дифференциальным авторским словарям. Не будучи полным по словнику (в отличие, например, от Словаря языка Марины Цветаевой [СМЦ] – поэта той же эпохи), данный справочник является полным по представлению значений и употреблений слов, что дает возможность отнести его к толковым писательским словарям. Несомненную новизну справочнику придает использование тезаурусного параметра, вводящее его в пространство словарей-тезаурусов, в которых отношения между дескрипторами и их партнерами представлены в явном виде. Опираясь на понятие лексических функций (описанных в работах И.А. Мельчука, А.К. Жолковского, Ю.Д. Апре-

сяна), И.А. Тарасова впервые в поэтической лексикографии использует их для систематизации семантических отношений в отдельном идиостиле. С применением более чем 30 лексических (тезаурусных) функций описываются семантические связи между ключевым словом и его идиостилевыми партнерами.

В качестве ведущих признаков словаря необходимо отметить и его комплексный характер, определяемый многоплановостью информации об описываемых лексемах. Помимо обычных для объяснительного писательского словаря параметров, в словарную статью включен и параметр словообразовательный. Почти каждая ключевая лексема имеет сопровождение в виде ряда производных, что позволяет говорить о своеобразной реализации в словаре Г. Иванова принципа гнездования. В авторской лексикографии алфавитно-гнездовые словари практически не встречаются, тем ценнее опыт И.А. Тарасовой, демонстрирующий плодотворность названного принципа для описания пласта ключевых слов в авторском лексиконе.

Словарь дифференциального типа предполагает выработку принципов отбора заголовочных единиц. Очевидно, что общая задача описать ключевые слова как семантически и эстетически нагруженные элементы идиостиля включает в себя ряд частных задач. И важнейшая из них – определиться с наполнением самого понятия «ключевые слова». Учитывая общепринятые формально-содержательные характеристики таких единиц, И.А. Тарасова выдвигает на первый план статистический и в особенности семантический их аспекты. Создание вначале частотного словаря поэзии Г. Иванова (который, кстати, послужил бы хорошим дополнением к основному корпусу словаря), сопоставление его с общеязыковыми и авторскими частотными справочниками, формирование предварительного списка ключевых слов и затем скрупулезная работа по их семантической оценке позволили автору выбрать 25 единиц для описания в словаре. Это лексемы: *ад, Бог, весна, вечность, дом, душа, жизнь, закат, заря, звезда, лететь, музыка, нежный, поэзия, рай, роза, Россия, синий, сияние, смерть, снег, судьба, счастье, торжество, черный*. Общий взгляд на список ключевых слов показывает, что его составляет по преимуществу лексика понятийная, категориальная: из 25 единиц только три признаков слова (*нежный, синий, черный*) и одно слово действия (*лететь*). Такой расклад наглядно демонстрирует основные координаты поэтической картины мира Г. Иванова, выделение и рассмотрение их – безусловное достоинство словаря.

Конечно, не может не вызывать вопросы наличие среди ключевых слов ряда единиц общепозитического свойства. Почему, например, в список введены лексемы *заря* и *звезда*? Почему есть слово *душа*, но нет *сердце*? Предвидя такие вопросы, автор специально отмечает, что именно в процессе многоступенчатой обработки лексики были исключены из списка некоторые высокочастотные слова с традиционной семантикой, но оставлены слова средней частоты, подвергшиеся индивидуально-авторским семантическим преобразованиям и переосмыслениям разного рода (с. 4). Возникает и другой вопрос – почему ключевых слов именно 25 и насколько они отражают творчество поэта в целом, в совокупности разных его периодов (для ранней лирики значимым может быть признано, например, слово *ветер*, частотность которого создается повторяемостью как в разных, так и в одних и тех же стихотворениях)? Ответ на этот существенный вопрос в Предисловии к словарю не дается. Вместе с тем он содержится в упомянутой монографии, причем включает очень важное замечание об ориентации словаря на позднее творчество Г. Иванова, в котором, собственно, и сложилась его поэтика: «Ограничение списка 25 словами, конечно, условность. Он вполне может быть расширен, например, за счет таких лексем, как “мир”, “небо”, “друг”, “свет”, “голубой”. Чрезвычайно интересна, на наш взгляд, концептуальная значимость предлога “сквозь”, показателя авторской модальности “может быть”. Это материал для дальнейших исследований. С другой стороны, в Словаре присутствует неявно выраженная установка на отражение концептуальных особенностей идиостиля позднего Г. Иванова. Частотный словарь, отражающий раннее творчество поэта, выдвигает в фокус анализа другие слова-фавориты: “луна”, “ветер”, “любить”, “зеленый”, “милый” и т.д. Однако их семантика, на наш взгляд, более традиционна и, следовательно, менее интересна» [Тарасова 2003: 213–214].

Ядро словника, образуемое ключевыми единицами, дополняется в словаре 169 производными лексемами. Они, в отличие от ядерных, не требовали процедуры отбора – здесь представлены все слова из лексикона Г. Иванова, образованные от ключевых единиц. Последние, по количеству производных (в состав которых входят и авторские новообразования), заметно отличаются друг от друга. Ср.: АД – нет производных, ЛЕТЕТЬ – 16, МУЗЫКА – 1, РАЙ – 1, СИНИЙ – 11, СМЕРТЬ – 14 и т.д. К сожалению, в словарь не включен совокупный список (указатель) производных лексем,

который помог бы пользователю получить представление о составе и типах дериватов, а тем самым – о степени и характере реализации в стихах Г. Иванова словообразовательного потенциала базовых слов.

Как удачную можно оценить общую – разветвленную структуру словаря, выступающую в виде композиции из двух типов статей – базового (макростатья) и вложенного (микростатья) (см. с. 6). Входом в одном случае выступает ключевое слово (заголовочная лексема первого уровня), в другом – производное (заголовочная лексема второго уровня). Заметим, что И.А. Тарасова не вполне традиционно использует термины «макроструктура» и «микроструктура» словаря, соотнося их с совокупностями разнотипных словарных статей. Это, впрочем, едва ли введет в заблуждение читателя, привыкшего к иной отнесенности этих терминов – к понятиям словника и словарной статьи.

Цельность словарю придает единство модели статей первого и второго порядков. По своей общей организации словарная статья ориентирована на достаточно полное представление информации о слове. С этим связана, прежде всего, хорошо продуманная схема словарной статьи, включающая большое число зон. Разные проявления ключевых слов в текстах Г. Иванова показывают зоны статистическая, грамматическая, стилистическая, семантическая, иллюстративная, фразеологическая, зона лексических функций.

Статистический принцип, сыгравший, как отмечалось, важную роль при определении состава ключевых слов поэта, нашел отражение в структуре словарной статьи. Частотный показатель при заголовке статьи сопровождает и ключевые слова, и их производные (кроме слов единичного употребления). Ценность этого показателя многосторонняя. Он демонстрирует, в частности, принадлежность к ключевым словам поэта единиц с очень разной абсолютной частотой – ср.: АД – 10, РОЗА – 77, РОССИЯ – 18, ЧЕРНЫЙ – 51; различные количественные соотношения ключевых и производных слов – ср.: ЖИЗНЬ 70 – жить 24, житься 1, живой 14; ВЕСНА 48 – полувесна 1, осень-весен 1, весенний 10, предвесенний 2, по-весеннему 1. Такие показатели, как ПОЭЗИЯ – 7, поэт – 41; СМЕРТЬ 21 – умереть / умирать 28 и под. ясно высвечивают роль дериватов в вербализации концепта, основным носителем которого является ключевое слово.

Представляется, что общая частота в зоне заголовка могла бы быть дополнена количественными данными при отдельных значениях слов. В особенности это касается больших

и средних по объему статей, раскрывающих семантическую структуру слова в виде целого ряда значений, дробящихся на подзначения и оттенки значений. См., например, статью ДУША (62), в первом из трех значений которой выделен оттенок, в третьем – три подзначения (a, b, c).

Ориентиром при конструировании зоны толкования послужили для И.А. Тарасовой словари горьковской серии (в первую очередь «Словарь автобиографической трилогии М. Горького» [САТГ]), в которых воплотились разработанные Б.А. Лариным принципы детализированного семантического описания авторского слова. Понятно, что наиболее полно в словаре Г. Иванова отражена семантическая информация о ключевых лексемах. Выстраивая статьи по традиционному принципу подчинения более мелких смысловых делений более крупным, производных значений исходным, автор фиксирует случаи диффузности значений (используется помета совмещ.) и, что особенно ценно, эксплицирует индивидуальное осмысление поэтом тех или иных слов. В результате в статьях можно проследить эволюцию словоупотребления Г. Иванова – от прямых и переносных (общезыковых и общепозитических) значений к авторским образно-символическим. Интересные примеры в этом отношении, а также в плане выделения индивидуально-символических значений и переосмысления традиционно-поэтической символики дают сложные по своей организации словарные статьи ЗАКАТ, ЗАРЯ, СИЯНИЕ и др. Например, в первой статье своеобразно противопоставляются традиционное значение 'символ конца, гибели чего-л.' и авторское 'символ возможного счастья, мировой красоты, существующих наперекор смерти и судьбе' (ср.: «Мне все мерещится тревога и *закат*, И ветер осени над площадью Дворцовой; Одет холодной мглой Адмиралтейский сад» – и: «Пожалуй, нужно даже то, Что я вдыхаю воздух, Что старое мое пальто *Закатом* слева залито, А справа тонет в звездах»). Во второй статье выделяется значение 'символ обреченности и конца', включающее оттенок 'символ смерти' («Над белым кладбищем сирень цветет, Над белым кладбищем *заря* застыла, И я не вздрогну, если скажут: «Вот Георгия Иванова могила...»). Значения такого рода, конечно, трудноуловимы, выявляются, как правило, на фоне достаточно широкого контекста, хотя и он далеко не всегда способен подтвердить наличие выделенного символического значения у конкретного слова. В тех же случаях, когда контекст минимален, соотносительность слова с декларируемым символическим смыслом

кажется иногда субъективной. Так, в статье ВЕСНА первой иллюстрацией к значению 'символ смерти' служат строки: «Черные ветки качаются, Пахнет *весной* и травой». Хорошо известно, что смерть и весна у Г. Иванова «странным образом не исключают друг друга, а находятся <...> в каком-то патологическом единстве» [Кублановский 1995: 13]. Однако если и говорить о наличии символического ореола у приведенных строк, то связать его можно, скорее, со словом *черный*. В статье ЧЕРНЫЙ аналогичное значение иллюстрируется тем же примером, но, заметим, в расширенном варианте: «Медленно и неуверенно Месяц встает над землей. *Черные* ветки качаются, Пахнет *весной* и травой». Обращение к другим строкам, данным в рамках значения 'символ смерти', показывает, что у Г. Иванова само сочетание *черные ветки* выступает неким символическим знаком. Ср.: «Так иль этак. Так иль этак. Все равно. Все решено Колыханьем *черных* веток Сквозь морозное окно»; «*Черные* ветки, шум океана, Звезды такие, что больно смотреть, Все это значит – поздно иль рано Надо и нам умереть...». Возвращаясь к статье ВЕСНА, зададимся вопросом, насколько символично само это слово в приведенных строках? Ведь такое его употребление сопоставимо со стихами, выбранными для иллюстрации прямого значения слова *весна* ('время года между зимой и летом'), например: «Как грустно и все же как хочется жить, А в воздухе пахнет *весной*. И вновь мы готовы за счастье платить Какою угодно ценой».

Примеры, подобные приведенным, свидетельствуют о необычайной сложности работы с ключевым лексиконом Г. Иванова, которая предшествовала его собственно словарному оформлению. Сказанное касается и представления в словаре различных видов лексической образности, способы подачи которых в основном восприняты автором из словарей горьковской серии. Имеем в виду, например, использование нескольких видов помет для передачи сравнений, олицетворений и т.д. (см. об этом с. 12–13 Предисловия). Выборка материала по таким пометам – хорошее подспорье исследователю в выявлении у Г. Иванова преимущественных видов образных употреблений поэтического слова.

Давая выше параметрическую характеристику словарю, мы не отметили полноту реализации иллюстративного параметра. Наличие всех контекстов употребления заголовочных слов с указанием соответствующих страниц источника [Иванов 1993] особенно важно для пользователей, нацеленных на применение материалов словаря в собственных

разработках. Дополнительную весомость названному параметру придает наличие послепомет (помет к контекстам) различного содержания. В авторской лексикографии существует определенный опыт использования помет такого рода – как отдельных, так и в сочетании друг с другом (из современных словарей их широко применяет «Словарь языка русской поэзии XX века» [СЯРП]). В словаре Г. Иванова специфическую лингвопоэтическую информацию несут такие послепометы, как **Контраст**, **В сополож.** (в соположении), **В паралл.** (в параллелизме), **Силлепс**, **Иносказ.** и др., например: «Здесь в лесах даже *розы* цветут, Даже пальмы растут – вот умора! Но как странно – во Франции, тут, Я нигде не встречал мухомора» (**В паралл.** **Контраст**); «Нет, смерть меня не ждет и *жизнь* проста И радостна» (**В сополож.**). Не все пометы подобного рода автор комментирует, поэтому в некоторых случаях возникают вопросы по использованию или, чаще, неиспользованию конкретной пометы. Так, многочисленные примеры употребления послепометы **Повтор** показывают, что она выражает, прежде всего, прямой повтор заголовочного слова, повтор его в разных словоформах. См., например, в статье БОГ₁: «Можно вспомнить о *Боге* и *Бога* забыть, Можно душу свою навсегда погубить Или душу навеки спасти – Оттого, что шиповнику время цвести И цветущая ветка качнулась в саду, Где сейчас я с тобою иду» (**Повтор.** **В паралл.**). В этой же статье без пометы приводятся другие контексты: «Родители его были Не бедны и не богаты, Он учился, молился *Богу*, Играл в снежки и солдаты <...> Полюбил водку и женщин, Разучился *Богу* молиться, Жил беззаботно, словно Дерево или птица»; «Пустынна и длинна моя дорога, А небо лучезарнее, чем рай, И яхонтами на подоле *Бога* Сквозь дым сияет горизонта край. <...> Но кажется, устав от дел тревожных, Не слышит старый и спокойный *Бог*, Как крылья ласточек неосторожных Касаются его тяжелых ног». Подобные примеры есть и в других статьях – **ВЕЧНО**, **ДОМ**, **ДУША**, **РОЗОВЫЙ**, **РОССИЯ**. Так, в последней статье в разных значениях приводятся сходные по построению строки из стихотворения «Россия счастье. Россия свет...». В одном случае помета **Повтор** дается, в другом – нет: 2. Советское государство. <...> «И нет ни Петербурга, ни Кремля – Одни снега, снега, поля, поля... <...> Россия тишина. Россия прах. А, может быть, Россия – только страх. <...>» (299); 3. Покинутая родина, существующая в воображении и памяти лирического героя. <...> «Россия счастье. Россия свет. А, может быть, России вовсе нет» (**Повтор**) (299).

Рассмотренные зоны составляют в совокупности концептуальную часть словарной статьи, дополняемую зоной лексических функций – синтагматических и парадигматических. Первые характеризуют заголовочное слово как компонент высказывания (субъект, объект, предикат, эпитет и т.д.), вторые – восстанавливаются на материале макротекста (это синонимы, антонимы, перифразы, символы и т.д.). Данные словаря позволяют выделить определенный набор типовых функций, обнаруживаемых в большинстве статей. Вместе с тем отмечается и ряд индивидуальных функций, свидетельствующих о гибкости автора в подходе к такому измерению материала. Например, в тезаурусной зоне первого значения статьи **СНЕГ** содержатся и характерные для слова функции, и индивидуальная (так называемый «квант»):

Эпитеты: белый (67), морозный (93, 95), <...> привольный (94) <...>

Предикаты (снег – субъект): пожелтел, обтаял (63), покрывает, растает (67) <...>

Предикаты (снег – объект): наполнена урна (72), пололи *снег* (93) <...>

Предикаты (снег – локус): нашла в *снегу* (91), упал на *снег* (125) <...>

Квант (снег – целое): хлопья (161)

Оппозиты: весна (294, 323), таянье (405)

Перифразы: веселый рой (48), снежная, белая, святая краса (480) <...>

Ассоциаты: холод (67, 72, 93), холодно (246); ледяшки (63), <...> мороз (93, 241, 480, 490) <...>

Примеры, иллюстрирующие каждую функцию в отдельности, детализируют тот или иной аспект конкретного ключевого слова, в совокупности же они представляют его многосторонне, объемно, дают возможность установить основные направления ассоциирования слова в авторской поэтической картине.

Реализованный в труде И.А. Тарасовой тип словаря языка поэзии представляется весьма перспективным. Это видно, полагаем, и по нашим наблюдениям, и по небольшим, но показательным фрагментам Предисловия, содержащим лингвопоэтические выводы из описанного материала: «Опыт работы над Словарем показал, что вокруг разных смысловых линий, по которым развивается семантика ключевого слова, группируются разные синтагматические партнеры. Например, “снег” как атрибут вечности сопровождается в поэзии Г. Иванова эпитетами “нетающий”, “почти альпийский”, “девственный”, а “снег” как знак России устойчиво характеризуется определением “русский”» (с. 9). Не вызывает сомнений, что словарь, адресованный, прежде всего, филологам, специалистам в области языка худо-

жественной литературы, лингвистической поэтики, авторской лексикографии, будет содействовать им в дальнейшем изучении наследия Георгия Иванова.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Иванов 1993 – *Г.В. Иванов*. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. Стихотворения. М., 1993.
- Иванова Н., Иванова О. 2004 – *Н.Н. Иванова, О.Е. Иванова*. Словарь языка поэзии (образный арсенал русской лирики конца XVIII – начала XX в.). М., 2004.
- Кожевникова, Петрова 2000 – *Н.А. Кожевникова, З.Ю. Петрова*. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв. Вып. 1: «Птицы» / Отв. ред. М.Л. Гаспаров, В.П. Григорьев. М., 2000.
- Кублановский 1995 – *Ю.М. Кублановский*. Голос, укрепленный отчаянием // Иванов Георгий. Зеркальное дно: Избранное. М., 1995.
- Павлович 1999 – *Н.В. Павлович*. Словарь поэтических образов: В 2 т. М., 1999.
- САТГ – Словарь автобиографической трилогии М. Горького: В 6-ти вып. с прил. Словаря имен собственных. Л., 1974–1990.
- СМЦ – Словарь поэтического языка Марины Цветаевой: В 4 т. / Сост. И.Ю. Белякова, И.П. Оловянникова, О.Г. Ревзина. М., 1996–2004.
- СЯРП – Словарь языка русской поэзии XX века / Сост. В.П. Григорьев, Л.Л. Шестакова, В.В. Бакеркина, А.В. Гик, Л.И. Колодяжная, Т.Е. Реутт, Н.А. Фатеева. Отв. ред. В.П. Григорьев, Л.Л. Шестакова. Т. I: А – В. М., 2001; Т. II: Г – Ж. М., 2003; Т. III: З – Круг. М., 2008.
- Тарасова 2003 – *И.А. Тарасова*. Идиостиль Георгия Иванова: когнитивный аспект / Под ред. М.Б. Борисовой. Саратов, 2003.
- Шестакова 2007 – *Л.Л. Шестакова*. Авторская лексикография на рубеже веков // ВЯ. 2007. № 6.

Л.Л. Шестакова

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Тридцатилетний юбилей Международной конференции по истории наук о языке (ICHOLS)

С 28 августа по 2 сентября 2008 г. в Потсдаме (Германия) состоялась одиннадцатая Международная конференция по истории наук о языке (International conference on the history of the language sciences, ICHOLS), организованная профессором Потсдамского университета Гердой Хасслер. Конференции ICHOLS проходят с августа 1978 года (первая конференция была организована К. Кернером в Оттаве), так что в 2008 году ICHOLS достойно отметила свой тридцатилетний юбилей.

В конференции приняли участие более двухсот исследователей из Германии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Италии, Испании, Португалии, Греции, Великобритании, Нидерландов, Дании, Финляндии, Венгрии, Румынии, Чехии, Польши, Словении, России, Латвии, Эстонии, Грузии, Израиля, Индии, Японии, Новой Зеландии, Алжира, Туниса, Анголы, США, Пуэрто-Рико, Канады, Бразилии и Аргентины. На восьми параллельных секциях докладчики выступали на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках, на которых был издан и сборник тезисов. К сожалению, ограниченный объем этой хроники не позволит нам не только рассказать обо всех докладах, но даже упомянуть всех участников конференции, поэтому мы остановимся лишь на некоторых докладах, показавшихся особенно интересными.

Темы докладов варьировали в широчайшем географическом и хронологическом диапазоне: от древнейших лингвистических традиций до лингвистики рубежа XX–XXI вв.; кроме того, участниками конференции было организовано несколько тематических блоков.

Многие представленные на конференции доклады были посвящены становлению той или иной «национальной» лингвистической

традиции. Ранним немецким грамматикам был посвящен доклад английской исследовательницы Н. Мак-Лелланд. Б. Дюбо (Россия) рассказал о «барочной» немецкой грамматике К. Гвейнца, а пленарный доклад К. Кноблоха (Германия) был посвящен школе «культурной морфологии» (Kulturmorphologische Schule) немецких диалектологов. Г. Руттен (Голландия) выступил с сообщением об «элитизме и национализме» в голландской лингвистике второй половины XVIII – начала XIX в. А. Килги (Эстония) сделала доклад об истоках размышлений об эстонской морфологии у эстонских исследователей, К. Альтман (Бразилия) рассказала об описаниях языка тупинамба в XVI–XIX вв., а А.Р. Тениссен (Голландия) – о японской грамматической традиции в XVIII в. В докладе Р. Эскави-Замора (Испания) речь шла о влиянии идей А. Шлейхера на развитие испанской лингвистики позапрошлого столетия.

Многие доклады были посвящены развитию французской лингвистики – в основном об этом говорили французские исследователи. Так, Б. Буар рассказала о классификациях глагола и понятии *переходности* во французских грамматиках 1660–1854 гг., В. Раби – о методе синтаксического анализа аббата Сикара и его использовании при обучении глухонемых, а Ж.-М. Фурнье сделал сообщение о правилах согласования причастия прошедшего времени в «классических» французских грамматиках. Сообщение Д. Кандель было посвящено прескриптивному подходу к языку науки и техники во Франции в период с 1826 по 2006 гг. Б. Коломба рассказал об использовании французскими лингвистами современных компьютерных технологий при создании корпуса грамматик и базовых лингвистических текстов. В эту же («французскую») тематику вписывался и большой тематический блок, посвященный значению тех

или иных лингвистических концепций в преподавании французского языка. В рамках этого блока М. Бере (Бельгия) и К. Кортье (Франция) рассказали о влиянии идей В. фон Гумбольдта на преподавание иностранных языков (в частности, французского) в середине XIX в.; Ж.-К. Шевалье (Франция) сделал доклад о сторонниках «моно-» и «мультилингвизма» во французской педагогической практике. Французские исследовательницы С. Делезаль и Ф. Мазьер рассказали о французских педагогических грамматиках 1640–1660 гг. Д. Кибби (США) сделал сообщение о дискуссиях вокруг прескриптивных грамматик французского языка в середине XVII в., а С. Гроссе (Германия) – о понятии *нормы* во французских учебниках, написанных в целях преподавания «эпистолярного языка». Доклад Н. Минервы (Италия) был посвящен отражению некоторых идей грамматики «Пор-Рояль» в языковых учебниках, созданных в Италии в XVIII в. А. Калкхофф (Германия) выступил с докладом о преподавании французского языка в Германии в XIX в., К. Санчес-Саммерер (Голландия) сделала сообщение об обучении французскому языку во французских католических школах для девочек в Палестине в конце XIX – начале XX в., а Э. Галацци (Италия) рассказала о П. Делаттре, исследователе в области фонетики, известном и своим вкладом в развитие преподавания французского языка как иностранного.

Отдельно отметим серию докладов, посвященных становлению и развитию лингвистики в славянских странах. В пленарном докладе С. Аршимбо (Франция) затрагивалось понятие *традиции* в истории языкознания применительно к эволюции лингвистической рефлексии в России. Доклад П. Серьо (Швейцария) был посвящен теории *формы* в трудах некоторых русских лингвистов. И. Иванова (Швейцария) выступила с докладом о становлении русской экспериментальной фонетики в свете идеи синтеза наук и искусств, особенно популярной, по мнению докладчицы, на рубеже XIX–XX вв. А. Эржен (Словения/Швейцария) сделала сообщение о влиянии работ И.А. Бодуэна де Куртенэ на становление словенской лингвистики. Доклад Е. Вельмезовой (Швейцария) был посвящен попыткам ранних советских структуралистов изучать междометия, опираясь на понятия *системы* и *структуры*. Н. Керечук (Великобритания) рассказала о работах А.А. Потемни, относящихся к смежным с лингвистикой областям, а А. Соломоновская (Россия) – о переводческих теориях и практике в европейской и славянской средне-

вековых традициях. Сообщение П. Шукча (Чехия) было посвящено кампании против структурализма в Чехословакии в пятидесятые годы прошлого века.

В отдельных докладах речь шла о некоторых важных для истории идей концептах. В. Степанов (Россия) выступил с сообщением о понятиях *динамики* и *динамического* в истории науки о языке, а другой российский исследователь, В. Мажуга, рассказал об истории понятия *индикатив*. Понятию *синонимии* у Аристотеля был посвящен доклад Т. Квадрио (Италия). К. Клиппи (Финляндия) сделала доклад о понятии *социального* в работах по лингвистической географии во Франции на рубеже XIX–XX вв. Истории заимствованного из европейских грамматик в китайскую лингвистику понятия *надеж* был посвящен доклад Т. Пеллина (Италия). Несколько докладов было посвящено понятиям отдельных частей речи в истории идей – так, М. де Бозер (Голландия) рассказала о «междометных» теориях первой половины XX в., а Б. Годар-Вендлен и П. Жоре (Франция) – о попытках некоторых лингвистов включить в состав частей речи понятие категории. В тематическом блоке, посвященном «лингвистике и риторике», приняли участие румынские лингвисты (среди которых были А. Гата и А. Ганеа), рассказавшие о некоторых важных «риторических» концептах (*диссоциация*, *модальность* и т.д.). Ф. Бранденбургом (Пуэрто-Рико) и А. Шмидхаузером (Швейцария) был организован тематический блок, посвященный понятию лица в древнегреческих грамматиках.

Многие доклады были посвящены «роли личности» в истории наук о языке. П. Ларше (Франция) рассказал о работах Ибн Джинни. В сообщении Л. Довев (Израиль) речь шла о «языке, алхимии и трансгрессии» в работах Л. да Винчи; Э. Бьянки (Италия) посвятила доклад рассуждениям В. фон Гумбольдта о лингвистической терминологии; Э. Элфферс (Голландия) рассказала о работах Г. фон Габеленца по общей лингвистике, а П.И. Кирчук (Франция) сделал сообщение о К. Бюлере. Сразу несколько докладов было посвящено Ф. де Соссюру: в сообщении французского исследователя С. Буке (этот исследователь не смог приехать на конференцию, однако его пленарный доклад был зачитан) речь шла о рукописях швейцарского лингвиста, а Дж. Джозеф (Великобритания) обратился к опубликованным воспоминаниям Соссюра, поставив под сомнение некоторые излагаемые в них факты. Об интерпретации соссюрианской дихотомии *язык/речь* в работах Р. Якобсона сдела-

ла доклад А.-Г. Тутен (Франция). А. Павловски (Польша) рассказал о лингвистических концепциях В. Лютославского, а швейцарская исследовательница Ж. Фридрих посвятила свой доклад воображаемому диалогу В. Бенямина с К. Гольдштейном. С. Десси-Шмид (Германия) сопоставила теории языка у Э. Кассирера и Б. Кроче. С. Верлейн (Бельгия) рассказал о теории звуковых изменений в работах Л. Ельмслева и А. Мартине. Доклады двух французских исследовательниц были посвящены Э. Бенвенисту: Э. Брюне рассказала о его «полевых» лингвистических исследованиях в Азии и Северной Америке, а К. Норманн – о преемственности идей Бенвениста и А. Кюльоли. Ж. Леон (Франция) сделала доклад о работах И. Бар-Хиллела и З. Харриса. Л. Руссос (Германия) рассказал о скончавшемся в 2006 г. известном историографе лингвистики П. Шмиттере.

Немецкими лингвистами был организован тематический блок по истории европейской социолингвистики. Здесь были представлены доклады об истории теоретических подходов к социолингвистике в целом (К. Элих, Н. Диттмар), о соотношении лингвистических и социально-политических аспектов знания в испанской социолингвистике (К. Циммерманн), социолингвистике в ГДР (В. Хартунг), сопоставлению социолингвистических теорий, разработанных в США и в Европе (П. Порш).

Более двадцати исследователей приняли участие в тематическом блоке, посвященном «индийским лингвистическим традициям». Здесь выступили американские лингвисты П. Шарф, рассказавший о соотношении этимологии и грамматики в раннеиндийской лингвистической традиции, и Х.Х. Хок, в центре выступления которого было наследие индийской грамматической традиции в современных лингвистических описаниях, а также А. Кейдан (Италия), Ж.Э.М. Убен (Франция) и Й. Бронкхорст (Швейцария), проанализировавшие различные аспекты грамматики Панини. Все эти доклады вызвали большой интерес собравшихся. В этом тематическом блоке также приняли участие М. Лингорски (Германия), М. Кулкарни (Индия), Ж.-Л. Шевилляр (Франция) и другие исследователи.

Отдельный тематический блок был посвящен доструктуралистским описаниям микро-незийских и полинезийских языков – в частности, тагальского [с докладами, среди прочих, выступили Дж.У. Волфф (США) и

И. Верлен (Швейцария)] и чаморро [отметим доклад Т. Штольца (Германия)].

Затрагивались на конференции и некоторые так называемые «вечные» темы, неизменно вызывающие большой интерес исследователей языка: универсальные языки (немецкий исследователь П. Коста рассказал о концепции универсального языка Я.А. Коменского), соотношение «наивных» представлений о языке с научными «парадигмами» в лингвистике (этому был посвящен доклад российского лингвиста В. Кашкина), различия и сходства между языками человека и животных (эта тема затрагивалась в сообщении английского исследователя А. Лифшица, посвященном теориям языка в эпоху Просвещения), проблемы перевода (французская исследовательница Я. Гриншпун рассказала о языке переводов с иврита на французский в XVII в.).

Скорее исключением, чем общим правилом, были доклады, затрагивавшие историю целых лингвистических направлений. Большой интерес публики вызвал доклад французского исследователя К. Пюэша об актуальных сегодня проблемах создания истории структурализма, а также пленарный доклад Д. Крэма (Великобритания) о «традициях» тривиума и квадравиума в философии языка в XVII в. Пленарный доклад Д.Т. Тэйлора (США) был посвящен необходимости «переписать» историю наук о языке в античности.

В заключение хотелось бы особенно отметить безупречную организацию не только самой конференции (пунктуальное соблюдение регламента; своевременное оповещение участников об отмененных докладах; удобное расположение аудиторий и специально составленные схематические планы, позволяющие быстро переходить с одной секции на другую и т. д.), но и досуга ее участников (интересные экскурсии по Потсдаму и Берлину, выставки книг и периодических изданий), за что организатору ICHOLS'a Г. Хасслер и ее помощникам была выражена самая искренняя благодарность всех присутствующих на заключительном заседании.

Прозвучавшие на конференции доклады планируется опубликовать. Следующая конференция ICHOLS должна состояться в Санкт-Петербурге в 2011 г.

Е. Вельмезова
(Москва/Лозанна)